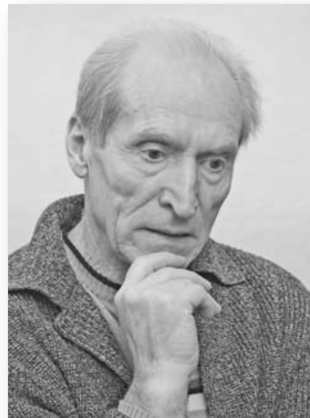


ОЛЕГ ЖДАН

Государыня и епископ

Роман[*]

Пять копеек плюс две копейки

В середине Филиппова заговенья опять примчался нарочный с новым ордером: время прибытия императрицы определилось: выезд из Петербурга намечен на начало января. В связи с этим предписывалось приготовить на каждой станции, где будет ночевать императрица, *три рогатые скотины, три теленка, 15 кур и 15 гусей, два пуда крупитчатой муки, один пуд коровьего масла, 500 яиц, 6 окороков, фунт чаю, полпуда кофе, бочонок сельдей, два пуда сахару, вина белого и красного по три ведра, 50 лимонов, а также пиво.* Имелось к новому ордеру и пояснение: *желательно, чтоб многие съестные припасы, а если можно, и все, кои в хозяйствах дворянских имеются и малого им стоют, не были покупаемы, да и покупать зазорно, а даны б были из домов дворянских безденежно, яко то: волы, птицы, бараны… и все подобное.*

Выполнить сие распоряжение поручили гильдейскому старосте Рогу, чем он оказался весьма недоволен.

— Зачем столько говяды? — ворчал он. — А куры-гуси? А пуд коровьего масла — зачем? А сельди бочку?.. Что они, неделю здесь жить будут?

— Может, и неделю, коли понравится, — сказал Радкевич.

— Куры и гуси для свиты, то бишь для окольных государыни, — предположил Волк-Леванович. — Гляди, свита человек тридцать будет, а может, и больше. Телята тоже для них. Говяда, понимаю, для мужиков. Их много будет, человек по пять на каждого пана-господина, а может, и больше… Селедцы тоже для мужиков. Пуд масла на всех — это не много.

— А кофей? Где я возьму полпуда? А лимоны? Я их в жизни в глаза не видел. В Могилев ехать доведется за кофеем и лимонами.

Кроме того, в знак усердия население уездных городов обязывалось встречать императрицу хлебом, вином и фруктами лучшего вида в сосудах, *к тому нарочно приготовленных и прилично украшенных, а также музыкой, барабанным боем, ружейной пальбой. Богадельни и винокурни, от которых распространяется смрадный запах, перевести в отдаленные от шествия места. Монастырскую братию запереть в кельях, чтобы монашествующие обоего пола по городам отнюдь не шатались, но всяк в своих монастырях при послушании всякой трезвости и исправности пребывание имели, и не сидели в разодранном одеянии.*

Ну, это как где, — решили единогласно, — а наши тупичевские монахи хоть и бедные, но опрятные, вина крепкого не пьют, пускай ходят, где нравится. Это в России Екатерина Алексеевна отняла у монастырей земли и мужи-

[1] Окончание. Начало в № 9, 2012 г.

ков, потому и обветшали вконец монахи, нашей губернии этот указ пока не коснулся.

Да, великая радость посещение города императрицей, великая честь, незабываемое событие, но и огромное волнение, опасность. Все предусмотрено, сделано, выполнено по ордеру, однако какая-нибудь мелочь, которую предусмотреть невозможно, может все испортить, убить, если не физически, то морально. Торжество может враз превратиться в унижение и несчастье.

Но пока все хорошо. Еще в прошлом году ученому, члену-корреспонденту Петербургской Академии наук Карлу Ивановичу Габлицу, автору «Физического описания Таврической области», за которое императрица пожаловала ему осыпанную бриллиантами табакерку, поручили составить путеводитель — полное географическое и историческое описание городов, сел и местечек, по которым будет пролегать путь. В этой связи получил соответствующую просьбу и обер-комендант Мстиславля Родионов. Он тотчас пригласил к себе предводителя дворянства, городничего, собрал священников православных, а также ксендзов иезуитского и кармелитского костелов, — перепоручил такую работу им. Руководителем этой группы назначил Ждана-Пушкина, поскольку учился в свое время в Киеве и считался очень образованным человеком. Путеводитель составили и получили благодарность от академика Габлица.

Вдруг Родионов понял, что людей будет больше, чем предполагали в Петербурге, и в ордер не внесли строительство нового гостиного двора. Где разместить гостей? Но денег уже не оставалось. Не хватало денег даже на крышу трапезной! Призвать к пожертвованиям уездных помещиков?

Увидев Ждана-Пушкина, Родионов так и заявил: «Нужны деньги, Петр Алексеевич. Самое малое — пятьсот рублей. Скорее тысяча». — «Тысяча? — ужаснулся тот. — Шутить изволите, Андрей Егорович! Где я возьму такую сумму?» — «Вы как-никак предводитель уездного дворянства». — «Они меня четвертуют, как Пугачева!» — «Другого выхода нет». Разговор этот так не понравился Ждану-Пушкину, что его роскошные кудрявые бакенбарды повисли клочьями, а синие глаза стали бесцветными. Ущемлять дворян Ждан-Пушкин не мог, да и не хотел: на почетную, хотя и без денежного содержания, должность предводителя его выбрали третий раз, и если будут на него жалобы, получит по выходу звание коллежского советника и двести рублей пенсиона. А не будет — звание статского советника и триста рублей. Конечно, он один из самых богатых помещиков уезда, и все же разница значительная, тем более что и расходы велики. Во-первых, подрастают в семье четверо ребятишек, которым следует обеспечить будущее, а еще двое мальчиков, к которым он тоже совсем не равнодушен, живут в крестьянских дворах. То были грехи, бежавшие и впереди него, и за ним всю жизнь, а бороться с ними он не пытался, знал, что потерпит сокрушительное поражение.

Соблазнять шляхтянок он, конечно, не решался: можно было как пить дать оказаться на дуэли с каким-либо оскорбленным кавалером или кузеном, а вот жизнь без красивых крестьянок просто не представлял. Потому и устроил театр в своем доме: собирал по воскресеньям голосистых девок по деревням, сам ездил за ними на спевки и отвозил их. Здесь и начинались нежные отношения. Супруга его, толстая добрая Марыля, или не придавала слабостям мужа никакого значения, или не знала о них: с удовольствием аккомпанировала девкам на клавесине, а сам он играл на скрипочке.

Нет, настоящий театр, такой, как у Зорича в Шклове или у Энгельгарда в Могилеве, не удался, но народные песни с плясками получались хорошо.

Теперешним его увлечением была Алена из деревни Белищино, никогда еще не было у него такой красивой, веселой и голосистой. А больше всего было по душе, что не понимала его как помещика, запускала пальцы в пушистые рыжие бакенбарды, целовала в лысинку, звонко смеялась и вынуждала подолгу ласкать, добиваться, пока, наконец, измучив, не отдавала ему себя. Правда, немного озадачивало и смущало то, что после каждого свидания она, казалось бы, бескорыстно влюбленная, смело протягивала руку: «Грошики, — требовала, — грошики!» И всякий раз он дарил ей пять, а то и десять рублей. Еще и в том таились беда и счастье, что исполнилось уже два года их близости, а влекло его к ней ничуть не меньше, чем в первые дни.

Так что пенсион в триста рублей был просто необходим.

— Нет, — произнес он. — Пятьсот не соберем. Пишите Энгельгарду. И кто строить будет? Немец уехал.

— Гостиный двор — не дворец. Моше Гурвич построит.

Конечно, у обер-коменданта немало хлопот, и главное — порядок в городе и уезде. Однако он получает жалованье, и немалое, в то время как предводители дворянства не получают ничего, кроме уважения, а еще удовольствия от склок по поводу списков уездного дворянства, от управления жалкой дворянской кассой, от председательства в Дворянской опеке над сиротами, от забот по подготовке уездного и губернского дворянских собраний… Да и много чего еще. У Родионова все же иная жизнь. Он может и приказать при необходимости, а у предводителя дворянства такой возможности нет: попробуй прикажи что-нибудь гонорливому шляхтичу! Только если указ от матушки-государыни или в крайнем случае распоряжение генерал-губернатора, наместника императрицы. Каждый держит в голове, в столе или даже в рамочке на стене Указ о вольности дворянской. Не подходи!

Правда, нет у обер-коменданта имения, он человек служивый, назначенный, но ведь деньги у него есть, захотел бы — купил.

Проблема была еще и в том, что не так давно собирали по тридцать рублей со всей шляхты для устроения уездных балов, покупки табака для мужчин, меда и чая для дам, ну и конечно, для содержания оркестра. Оркестр, составленный из молодых мещан, был невелик — труба, фагот, валторна, барабан с литаврами… Ну и скрипочка. Репертуар у него был невелик, но полонез, менвет, то-есть менуэт, мазурку исполняли славно, а в последнее время разучили и стыдный танец вальс. Надо заметить, что на балы шляхта вносила деньги не прекословя: почти в каждой семье имелись женихи и невесты, требовалось показывать их. Но предложение собрать хотя бы по десяти рублей на общие нужды вызывало раздражение и даже гнев.

Получив письмо от обер-коменданта Мстиславля, Николай Богданович Энгельгард понял, что задача не будет выполнена и нужно срочно добывать средства. Он тотчас разослал приглашения всем уездным предводителям дворянства и, конечно, могилевским чиновникам и шляхтичам побогаче. Однако, догадываясь, о чем пойдет разговор, почти никто, кроме городских чиновников, на встречу не явился. Прислали отписки: у кого-то приключилась лихорадка, у кого-то обострилась «каменистая болезнь», у кого-то подагрическая, кто-то не в состоянии преодолеть тридцать-сорок верст по старости, кто-то выдает замуж дочь или страдает сильным утренним головокружением… Николай Богданович, вообще-то человек добрый, сильно рассердился и повторно послал нарочных, на этот раз с письмами более строгими, даже угрожающими, с обещанием в случае отказа прислать капитан-исправника.

Или внимательнее пересчитать количество крепостных, соотнести их с налогом, выплачиваемым в казну. В этот раз собрались почти все.

Снова зачитал циркуляр из Петербурга с перечислением работ, которые необходимо произвести к приезду императрицы, какие закупить товары.

— Как вы понимаете, господа, город Мстиславль в одиночку не справится с таким заданием, — сказал он. — Мы обязаны помочь тамошнему обществу.

Решили: взимать дополнительный налог по пять копеек с каждой принадлежавшей дворянину мужской души. Кроме того, со всех дворян, получавших жалованье, взыскивать по две копейки с рубля.

Между прочим, щедрее всех оказался Семен Зорич, флигель-адъютант и генерал-майор, бывший фаворит императрицы, которого она отправила подальше из Петербурга, в Шклов, подарив ему в качестве отступного семь тысяч крестьян и город. Что ж, один из богатейших людей в губернии. Он сразу же заявил, что вносит триста рублей. «Благодарим вас, генерал-майор», — прилюдно поклонился ему Энгельгард. Но вообще Зорич был неприятен ему своим вечным фрондерством, кутежами на всю губернию, хвастовством и дуэлями, в которых всегда стрелял в воздух. По слухам, он и при императрице фрондировал, почему она и избавилась от него. Здесь он жил на широкую ногу, устроил благородное училище, сразу же завел театр из крепостных, играли в котором и молодые помещики, держал оркестр, купленный в свое время в Варшаве, и вообще вел себя так, чтобы Екатерина возвратила его в столицу. Энгельгард с удовольствием посоветовал бы Зоричу не ехать в Мстиславль, но тут уж его личный выбор, запретить он ему ничего не может, разве что — осторожно призвать к сдержанности.

Вдруг возникла еще одна задача, о которой, конечно, не подумали ни в Петербурге, отвалив три тысячи рублей, ни даже губернатор Энгельгард, хотя он не раз бывал в Мстиславле. Если въезжать в город со стороны Орши, Могилева или Кричева, дорога проста, ни особенно крутых подъемов, ни опасных спусков. Но со стороны и Монастырщины, и Хославичей, перебравшись через реку, нужно преодолеть высокий и по-настоящему крутой подъем. Причем ширина дороги здесь — только-только разъехаться двум телегам. Что если императрица будет въезжать во время весенней гололедицы? Не раз Родионов видел, как бьются здесь, на крутом и узком подъеме, падая в оглоблях, крестьянские кони. Значит, придется дорогу расширять и углублять. Время было уже осеннее, вот-вот начнутся дожди. Сотни людей нужны для такой работы! Десятки телег вывозить землю.

Тишина в Благочинном управлении стояла мертвая, когда Родионов сообщил о такой задаче. Все молчали, а лица говорили одно: когда это закончится? Сколько можно? Воздвижение Креста Господня на носу, время приводить в порядок поля, а не раскапывать дороги.

— Думаю, это наша последняя задача, — произнес Родионов.

Знали друг друга не первый год и давно научились понимать, с чем можно спорить, а с чем нельзя.

Они расходились из управления по двое-трое и говорили об одном: конечно, мы обязаны встретить матушку-императрицу как следует, но слишком уж старается, придумывает задачи обер-комендант.

Однако возражать никто не осмелился. Через день привезли мужиков с лопатами и носилками со всего уезда.

А когда подъемы в город были расширены, а крутизна срезана, Родионову пришло в голову посадить березы, чтобы шлях выглядел как аллея. Если

императрица будет ехать весной или летом, вид молодых березок произведет на нее благоприятное впечатление. Но если даже версты на три сделать посадки, березок потребуется около половины тысячи. А если — аллея, то есть по обе стороны дороги? Нет, это слишком. Хотя бы на одну версту. Но и тогда, чтобы быстро выполнить такую работу, надо послать в леса несколько десятков мужиков.

Однако все — и Радкевич, и Волк-Леванович, и пан Кочуба, и, конечно, противный Ждан-Пушкин выглядели мрачно. Дескать, кто говорил: все, дорога на подъеме — последнее задание?

— Нет, господин обер-комендант, — первым подал голос Радкевич. — Не одолеем. Мужики ропщут.

Родионов и сам это понимал: ропщут. Но ведь императрица. Такое бывает один раз в жизни.

Сидели в Благочинном управлении и молчали, не поднимая голов.

— Не такая уж это большая работа, — наконец произнес Родионов. — Скажем, по пяти мужиков из ближних деревень… В Зятицком лесу, Святозерском да и в Дуброве березы — сколько хочешь.

Все равно молчали, отводили глаза. Знали, что обер-комендант волен принудить, власти у него достаточно, чтобы устроить какие-либо неприятности любому из них, и потому молчали, так выражая несогласие и протест. Только Ждан-Пушкин шумно вздыхал, покашливал и угукал.

Наконец, Родионов поднялся.

— Пан Радкевич, вы городничий, это и ваше первейшее дело, вы и устроите все что надо, — сказал так, что возразить было нельзя. — А вы, господин Ждан-Пушкин, предводитель дворянства, а не гильдейский староста, так что не вздыхайте. Все свободны! На работу даю три дня.

Ну а люди всегда одинаковы: раз нельзя возразить, будем соглашаться. Утром телеги затарахтели в ближние березовые леса.

Когда расходились, Ждан-Пушкин опять приостановился у доски с Уставом благочиния и громко прочитал бессмысленные для такого случая заповеди:

В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего!

Прислушался: не отзовется ли обер-комендант? Нет, не отозвался.

Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему!

Родионов молчал. Пришлось уйти без удовлетворения.

Известно, если жены бывших друзей не найдут общего языка, расстроится и мужская дружба. Так случилось с Радкевичем и Жданом-Пушкиным. Одна толстуха невзлюбила другую. Портились отношения и у предводителя с обер-комендантом. Но узок круг возможных приятелей в столь малом городе, продолжали встречаться и на уездных балах (то в честь годовщины присоединения к России, то в день рождения императрицы Екатерины Алексеевны, то на двунадесятые православные праздники). Собственные дни рождения или тезоименитств тоже были достаточными поводом и причиной. Так что мужья имели немало случаев наблюдать и своих, и чужих жен. Поначалу семейные встречи ограничивались чаем и кофием, но постепенно стали появляться закуски, а там и вино — и легкое французское, и крепкое хлебное собственного, гильдейского старосты Рога, производства. Первым предложил не церемониться, оставив французское женщинам, Волк-Леванович и часто к концу встречи бывал пьян настолько, что к карете приходилось вести под руки. Родионов пил, быть может, не меньше, но не пьянел: сказывалось военное офицерское прошлое. Городничий Радкевич вообще не пил: были у

него проблемы с желудком. Он приходил, чтобы, выпив чаю, поскорее сесть за карточный стол. Меньше других пил и Ждан-Пушкин, — ну, у него был свой постоянный интерес. Он всегда задумчиво вглядывался в лица женщин, особенно в лицо Теодоры Родионовой, обер-комендантши, словно вопрошал: за что она, такая молодая и хорошенькая, полюбила этого инвалида?

Полюбила настолько, что даже приняла православие, чтобы ходить с супругом в одну церковь.

Этот вопрос волновал его так неотступно, что однажды он даже возбудил его в обществе: за что женщины любят мужчин? По-видимому, вопрос этот интересовал многих, ответы посыпались как из ведра. Впрочем, все отвечали, учитывая присутствие своих мужей. «За любезность», — произнесла супруга городничего Радкевича, на взгляд Ждана-Пушкина, полная дура. «За честь и славу», — заявила супруга Волк-Левановича, опять же, по мнению предводителя, — тупая кобылица. И все посмотрели на Теодору: что скажет она, оказавшаяся в неравном браке. Но Теодора молчала, потупившись и опустив глаза. «Что же вы, любезная Теодора Францевна?» — вопияли лица присутствующих. А собрались они по случаю дня рождения хозяйки дома, и так славно было бы насладиться ее неумелым ответом. «Мой муж герой турецкой войны, — и в самом деле невпопад ответила Теодора. — Как же мне не любить его?» Светлые волосы Теодоры, вьющиеся на висках, особенно волновали Ждана-Пушкина: если вынуть заколки, рассыплются до пояса. Нет, его собственная толстушка тоже была хороша, почти всегда весела, добра, но фигурище ее с каждым годом становилось мощнее. По ночам она уже вытесняла, выталкивала его с супружеской кровати пышным горячим телом, и он подумывал, не перебраться ли на кушетку в другой комнате. Однако в таком случае могли возникнуть неудобства для получения некоторых естественных удовольствий, которые с возрастом он ценил все выше.

Женщины любили Ждана-Пушкина, он привык к этому, и потому было обидно, что Теодора не выделяет его среди других мужчин. Причина тому, казалось, в том, что встречались всегда прилюдно, а вот если бы поговорить с ней наедине, образовалась бы иная картина. Он и забегал порой в их дом в неурочное время под каким-либо предлогом, но Теодора глядела испытующе и равнодушно: что вам угодно, сударь?

Так за что было ему любить и обер-коменданта Родионова? Тем более, что и в общественной жизни ждать от него можно лишь неприятностей.

Утешали его только две женщины: Марыля и Аленушка.

«Как же я люблю тебя, Марылька!» — говорил он, думая о проказнице Аленке. Супруга и в самом деле была хорошая. Его не огорчало даже то, что растолстела, как сорокаведерная бочка, и потому топала, как лошадь.

Когда-то жили в городе две музыкантши-немки, кудряво-седенькие старухи, по-видимому, сестры близнецы, давали уроки детям шляхты, одна на клавесине, другая на скрипке — у них и выучились музицировать. Правда, отучившись, больше ни одной пьесы не разобрали самостоятельно, но до сих пор ежевечерне, после сытного ужина, шли в музыкальную комнату, супруга садилась у клавесина, он брал свою скрипочку, и музицировали на радость себе и детям полчаса, а то и весь час. Поговаривали даже о приобретении входивших в моду фортепиано, но пока откладывали — дорого.

Там, у немок, они и познакомились, решили было ехать в Петербург продолжить музыкальное учение, но передумали, решили, что лучше — пожениться. Так и поступили и до сих пор не раскаялись.

Порой кто-то из наперсниц нашептывал Марыле, что неравнодушен ее супруг к голосистым девкам, однако отвечала она одинаково: «А!» И, взмах-

нув рукой, уходила и от разговора, и от наперсницы. Понять это можно было разно: и — не верю! и — экая важность! Одно было понятно: портить жизнь ни себе, ни супругу она не станет. Ну а супруг и утром, и вечером целовал ее пухлые пальчики и повторял: «Как же я люблю тебя, Марылька!» — даже если думал в эту минуту о том, что денег в семейном бюджете маловато и хорошо бы сегодняшним вечером подарить Аленке не десять, а, скажем, семь рублей: совсем уж он ее разбаловал.

Грех

Известно, грехи на нас валятся быстрее, нежели успеваем исповедаться и покаяться. Но есть такие, от которых не избавиться покаянием. Да и что — покаяние и отпущение? Это тебе — прощение, тебе наука, как жить дальше, но грех, сотворенный тобой, — он никуда не делся, вот он, в душе и сердце. Живи и думай о нем.

Покаяние может лишь на время облегчить душу, пройдет время и ощущение неизбывного греха возвращается, даже усиливается. Такие грехи мучали и его душу. Вдруг вспомнится что-то давнее, почти забытое, и обольется сердце холодной кровью. Как с этим воспоминанием жить?.. На третьем году жизни в Варшаве к нему постучался иерей православного Виленского храма и уже на пороге рухнул на колени. «Помоги, владыко, спаси!.. Помоги, спаси!..» Твердил одни и те же слова, крестился и бил лбом в пол, насилу поднял его, поставил на ноги. Но и потом, объясняясь, все норовил снова пасть на колени.

Оказалось, беда у священника знакомая многим: любимый и беспутный сын. Пристрастился к крепкому вину, подружился с такой же беспутной компанией, а неделю назад устроил драку с униатами, сломал царские врата, сорвал икону Петра и Павла. Сейчас сидит в узилище, и выпустят его только после того, как внесет деньги на восстановление врат, в ином случае не миновать суда магистрата. Сын один-единственный, надежда и опора — пропадет. Определили ему вину в пятьсот злотых на пользу церкви и городской казны, но таких денег в доме нет. Обратился к прихожанам церкви — собрали десятую часть.

— Помоги, владыко, спаси!..

— Как же я тебе помогу? Нет у меня денег.

Несколько дней назад преосвященный отправил очередное письмо Священному Синоду с такой же мольбой: помогите!

— Беден я. Беден, как ты. Только-только и хватает на пропитание.

Но иерей не слышал его слов и по-прежнему бил головой в пол. В конце концов рухнул на бок и замер. Пришлось звать возницу, повариху и сообща тащить на кровать. А пришел в себя и сразу же сполз, свалился с кровати, запричитал:

— Помоги, владыко, спаси!

— Как я тебе помогу?

— Помоги!

— Боже праведный…

Растерянно глядел на него.

Повариха принесла обед — однако есть иерей не стал. Он вдруг замолчал и скоро поднялся. Не прощаясь, пошел к двери.

— Подожди! — остановил его преосвященный. Открыл ящик комода, достал тридцать злотых, отложенных на пропитание себе и корм лошадям. — Возьми!

Но иерей уже закрывал за собой дверь.

Долго глядел ему вслед. Шел иерей медленно, замирая через каждые десять шагов, ни разу не оглянулся.

Не земные поклоны его запомнились на всю жизнь, а то, как уходил.

Ну а грех был в том, что не помог ему, а можно было помочь: продать лошадей, карету. Лошади у него были хорошие, а карета — дорогая, ее подарил преосвященному российский посол князь Репнин. Можно было кинуться к нему, Репнину, — скорее всего, не отказал бы. Что ему пятьсот злотых?

Можно было запрячь тройку и мчаться в Вильню…

Можно было помочь!

Вспыхивал время от времени в душе этот жгучий грех.

Снова побывать в Нежине было постоянным желанием преосвященного, ставшим почти мечтой. Много раз собирался, однажды уже и письмо написал: ждите, выезжаю, но каждый раз что-то мешало, не позволяло оторваться от дел.

На сорок шестом году жизни он получил письмо от отца о том, что мать больна и, если хочет застать ее на этом свете, должен приехать. Он ждал тогда сейма в Варшаве, на котором должен был рассказать о положении православия в королевстве, — слишком много судеб зависело от этого его выступления, и в конце концов, может быть, два-три дня мать продержится, может быть, даже ей станет лучше, если молиться за нее каждый день-вечер.

Но сейм был перенесен из-за болезни короля Станислава Понятовского.

Наконец — состоялся, и он с успехом, почти триумфом выступил, о выступлении его писали и говорили в разных странах Европы. Снова возникла надежда на равноправие униатов и православных, а следовательно, и возвращение к вере отцов тех, кого склонили в инославие обманом или насильно. Он вернулся домой в хорошем настроении, приказал поварихе готовить праздничный ужин и тут увидел конверт на письменном столе. Тотчас узнал твердый почерк отца.

Отец писал о том, что мать не дождалась его.

В юности, когда учился в Киево-Могилянской академии, когда постригался в монахи и думал о смерти, надеялся, что сам сопроводит ее душу на небеса. Мать тоже просила об этом.

Он решил поехать в Нежин к сороковому дню кончины, чтобы лично отслужить молебен за ее душу, но снова не получилось: вынужден был бежать в эти дни из Могилева в Смоленск. Не смог поехать и на годовщину. А еще полгода спустя старший брат сообщил о смерти отца.

Этот грех — грех равнодушия, грех малой любви к родителям и терзал его душу. *Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих*.

Теперь же не было причин откладывать поездку — хотя бы поклониться общей могиле. Не так уж далека встреча с ними в иных уже краях. Может быть, на один грех удастся облегчить душу.

И — выбрался, на почтовых. Почти четверо суток заняла дорога. Когда переезжали Остер, попросил остановиться, вышел. О Боже, неужели он в самом деле купался в этой реке? В самом деле бегал по этим улицам, жил в этом доме?

Стоял перед калиткой и не решался отворить ее. Входить не хотелось, вдруг почувствовал, что без отца и матери его родной дом мертв.

— Кто-то там у нас стоит перед калиткой, — послышался женский голос с сильным малороссийским выговором.

— Есть не просит? — это был голос брата Андрия. — Пускай стоит. — Он всегда во всем находил смешное.

И сразу стало легко и даже весело.

— Если и попрошу, — ответил громко и тоже весело, — то не много. Последнее не возьму.

Тишина была ему ответом, затем калитка отворилась. Старый человек стоял с одной ее стороны, старый с другой. Конечно, узнали друг друга тотчас, а молчали потому, что привыкали к седым бородам, лысеющим головам — к обоюдной старости. Наконец заулыбались, ткнулись друг в друга — в семье не принято было особо сильно изъявлять чувства. Зато Катерина, жена брата, и плакала, и голосила…

На кладбище отправились к вечеру, в тот же день. Шли молча, поскольку кладбище не место для разговоров, и Георгий волновался, словно шел за отпущением грехов. Могила родителей находилась в хорошем месте, недалеко от часовни, была аккуратной, ухоженной, брат и золовка отошли в сторону, понимая его состояние, но что-то мешало душе, как ни крестился и кланялся перед ней. Слишком грешен, так он рассудил и решил о себе, что даже слезы его не принимают родители, не говоря о пустых словах. Грех, несмываемый и неискупимый грех закрыл путь и словам, и слезам. Печально и разочарованно в себе самом возвращался домой.

Поздним вечером, почти ночью, он уже один отправился на кладбище, и тогда, наконец, открылась его душа. Плакал, стоя на коленях, захлебываясь от старых слез.

Они простили его.

На следующий день вместе с Андрием и Катериной посетили третьего брата, Остапа, сестру Машу. Можно было и уезжать.

Но еще один человек жил здесь, которого нужно было и хотелось увидеть, — Вася Гудович, учившийся с ним в Киево-Могилянской академии и перед которым он тоже был виновен, — мальчик, подвергнутый по его, Конисского, предложению наказанию розгами. Экзекуцию производил наставник-воспитатель Крученко, и, похоже, делал это не только добросовестно, но и с удовольствием. Все, кто попадал к нему на узкий топчан, запоминали тот день надолго.

Еще ему хотелось провести литургию в храме, где крестили и отпевали всех родных и близких, в котором крестили и его самого. Выезжая из Могилева, он взял с собой епископское облачение, и приходский священник с радостью и благодарностью уступил ему место служения. Снова разлетелось по городу известие, что в Свято-Троицкой церкви будет служить епископ, — опять людей собралось очень много. С наслаждением, полным архиерейским чином провел он служение, а затем люди пошли к нему за благословением, образовалась большая очередь. Щедро, внятно проговаривая известные слова, благословлял прихожан, когда вдруг что-то знакомое почудилось в голосе: «Благословите, святой отец». Сложив как положено руки, перед ним стоял Гудович.

— Вася? Василий?.. Благословляю во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Вася, подожди меня у паперти!..

Гудович, как положено, прикоснулся губами к его руке и отошел.

Преосвященный продолжал благословения, но теперь беспокойно поглядывал на выход из храма.

Когда, наконец, вышел на паперть, Гудовича уже не было. Значит, не простил.

А ведь еще много грехов, о которых он просто не знает или не подозревает. Сейчас он мечтал поскорее возвратиться в Могилев и обратиться с покаянием к престарелому и мудрому отцу Иоанну.

Юрген приехал!

Визг свиней в тот день — шлахтфэст, праздник забоя скота — раздавался по всей слободе. Никто накануне этого праздника не думал о завтрашнем дне, и даже бедные семьи, складываясь, покупали свинью на две-три семьи. Били свиней как правило ранним утром, к обеду разделывали туши, а к вечеру начинался большой праздник. Люди со всего города приходили поглядеть, как гуляют немцы, и те, кто был голоден, получали хороший кусок кровяной колбасы или жареного мяса с хлебом. Получила и Юлька с братом Федькой, а когда съели, торопливо и жадно, Юрген принес еще по куску. Он смотрел на них во все глаза, особенно на Юльку, когда она впихивала мясо в рот братцу, не обращая никакого внимания на звуки музыки и танцующих немцев. «Зовут тебя как?» — спросил Юрген, когда трапеза заканчивалась. «Юлька», — охотно ответила. «Где ты живешь?» — «Там», — махнула рукой за спину. Почему-то хотелось на нее смотреть. Однако, насытившись, они недолго разглядывали танцующих, отправились домой. А Юрген пошел следом. Оказалось, жили они в старой хатке недалеко от немецкой слободы, стоявшей почти на краю оврага, без изгороди, и дверь ее открылась-закрылась со скрежетом, повиснув на одной петле. Вечером следующего дня он снова отхватил кусок мяса и отправился к оврагу в поисках Юльки и Федьки. А в следующие дни они уже сами исправно являлись на немецкую слободу, не забыв, где живет этот странно щедрый немчик.

Скоро в семье заметили их необычную дружбу. «Что это за дети?» — спросил отец, обращаясь и к Юргену, и ко всем в доме. Но Юрген промолчал. «Дети Тодорки-прачки», — ответила сестра Эльза. «Это которая у оврага живет? Понятно…» — «Очень красивая девочка, — сказала мать, мутти. — Тодорка тоже была красивая, я помню». — «Только я не понял, что это, любовь?» — спросил брат Карл. «Конечно, — сказал брат Фридрих. — Посмотрите на него, разве не видно? Мужчина!.. Будем жениться, да, Юрген?» — «Жалко, невовремя пришла любовь. Надо было раньше. Жениться на шлахтфэст — вот было бы здорово. Да, мутти?» — «А по-немецки она понимает?» — включилась в игру и мама. Дома все говорили по-немецки, а мать и вообще не знала русского. Она считала, что купить хлеба или мяса вполне можно без знания чужого языка. «Нет, мутти, придется тебе учиться русскому. Как на кухне жить двум женщинам, если не понимают одна другую?» — «Ой, ой, ой, — улыбалась мать. — Все это мелочи, главное, чтобы детки у них были хорошие». — «Сколько ей, лет десять-одиннадцать есть?» — спросила Эльза. «Думаю, двенадцать, — сказал Карл. — В самый раз». — «В браке главное спальное место, — сказал Фридрих. — Папа, давай делать кровать, а ты, мутти, готовь две подушки и одеяло». — «Да, — согласился Карл. — Любовь есть любовь». — «Заодно и колыску сделаем», — сказал отец. Вот тут Юрген не выдержал, хлопнул дверью, выскочил в чем был на мороз. Фридрих вышел следом. «Возьми пальто и шапку! — прокричал. — Отморозишь уши! Жениться без ушей не интересно!»

Юрген был уверен, что никогда не простит ни отца с матерью, ни сестер и братьев. Впрочем, носить мясо Юльке перестал, а потому, встретившись с ней, поймал возмущенный, а еще несколько дней спустя равнодушный взгляд. Вскоре они и вовсе забыли друг о друге.

В Кельне, где он учился строительному делу, Юрген снимал комнатку у старых знакомых отца, неких дальних родственников по материнской линии. Дочь их, Клархен, беленькая, пухленькая, с такими круглыми щечками, что невыносимо хотелось потрогать пальцем, каждый вечер сидела за фортепья-

но, недавно вошедшем в моду инструментом, быстро победившем клавесин и клавикорды, и после каждой пьесы она взглядывала на него. Юрген садился так, чтобы видеть ее ручки и шейку, и не столько слушал музыку, сколько думал о том, как хорошо было бы погасить свечи и остаться с ней наедине. Но Клархен знала очень много пьес, а погасить свечи он не решался. Родители Клархен относились к нему благосклонно, расспрашивали о жизни в страшной России, и было похоже, они также подумывают о переезде из Кельна, поскольку разрослась семья, но — на иные земли, на Кавказ или Волгу. Юрген убеждал их, что ничего страшного в России не происходит, вполне можно жить, и тогда родители переводили глаза на дочку, которая тоже внимательно прислушивалась к его словам. Год провел он в Кельне, срок немалый, но когда почувствовал, что жизнь его без пухленькой беленькой Клархен будет бедна и скучна, время полетело с такой скоростью, что невозможно было ни оглянуться, ни посмотреть вперед. А желание свое он однажды все-таки удовлетворил: потрогал пальцем ее щечку, и она не обиделась, не удивилась, а только вопросительно и очень серьезно поглядела на него. Время, однако, уже ушло, поздно было говорить о чем-то важном, если молчал до сих пор, и она попросила: «Напиши мне письмо». И он ответил: «Напишу». Возвращаясь в Россию, он только и думал, как сядет за стол и напишет, и скажет все, что не решался сказать о ненавистном фортепиано и ненужных свечах, но путь был долгий, и на второй день он уже не так много думал о Клархен, на третий еще меньше, а когда прибыл в Могилев, новые заботы отвлекли его от воспоминаний о девушке, и скоро он уже никак не мог вспомнить ее лицо — только щечки, которые хотелось потрогать пальцем.

Фридрих был старший среди братьев, Юрген младший. Наверно, поэтому Фридрих следил за каждым его шагом, по поводу и без повода учил-поучал, подсказывал. Но все же Юрген сильно удивился, когда вскоре после его возвращения из Кельна он сказал:

— Догадываюсь, что тебе нужна женщина.

Юрген покраснел, взглянул на брата — тот деловито пыхтел трубкой, глядя в пространство, словно проверяя свои подозрения-соображения. Ответ ему не требовался, все решения Фридрих принимал сам.

Да, женщина была очень нужна, но как встретить такую, как распознать и предложить? Ему, краснеющему от пристального взгляда девушек, заикающемуся, это было невозможно. Но и Фридрих слов на ветер не бросал.

— Она будет ждать тебя у оврага, — сообщил однажды вечером. — Не смущайся, иди. Вот тебе рубль.

И как ни растерян был Юрген, все же спросил:

— Не мало?

— В самый раз.

— К-когда?

— Когда стемнеет.

— К-как ее зовут?

— Юлька.

Юлька? Но таких имен много.

Однако это оказалась именно она, девочка, которую когда-то он угощал на шлахфэсте. Впрочем, стала рослой, сильной с виду и смелой.

— А я тебя помню, — сказала.

— И я, — произнес он.

— Пойдем? — она кивнула на свою старую хатку, уже почти повисшую за эти годы над обрывом. — Ты не бойся, все будет как надо… Рубль взял?

— Взял, — тихо ответил, сжимая бумажку в потной руке.

У оврага, кроме них, никого не было, но влажный и мятый рублик он вручил ей, словно прилюдно, тайно, из ладони в ладонь. Юлька, однако, сразу же развернула его, разгладила и поднесла к глазам, — удовлетворение и согласие отразилось на лице.

— Ты не бойся, — повторила, — дома у меня никого, одна живу. Маму я похоронила, а брат далеко. В Сибири он, украл у купца валенки, не успел поносить.

Все так же со скрипом и натугой открылась дверь. Пусто и темно было в ее приовражной хатке: единственное окошко слабо принимало лунный свет, печь-грубка, сундук, табуретка, завалившийся на бок топчан. Иконка висела в красном углу, но какая и чья, не разглядеть. Он молча стоял у порога, вглядываясь в тьму.

— Ну что ты? — оглянулась вокруг. — У меня чисто. — Она неуверенно приближалась к нему.

— П-подожди, — хрипло произнес он.

Юлька начала было раздеваться, но Юрген не двигался, и она замерла.

— Ты что? Я уже и сама боюсь. Раздевайся! — она шагнула к нему и стала сердито развязывать пояс, потащила через голову рубаху. Он обнял ее, чтобы она *ничего* не видела, и так, обняв, неуклюже повлек к опасно завалившемуся топчану.

— Тебе понравилось? — спросила Юлька.

— П-понравилось.

— Еще придешь?

— П-приду.

— Я ведь ни с кем. Это брат твой попросил за тебя. Следующий раз принеси мне два рубля, хорошо?

— Хорошо.

Очень стыдно было встретиться с Фридрихом. Однако никакого любопытства брат не выказал. Дом его стоял рядом с отцовским, он поставил его давно, но работы все равно хватало.

— Сегодня буду погреб копать. Поможешь?

— Помогу, — с облегчением сказал Юрген.

О том, что помолвлен с Луизой, вспомнил, но тут же выбросил из головы.

Несмотря на то, что Фридрих уже два года как отделился и жил своим домом, мать по-прежнему готовила обеды для всех каждый день. Завтракали и ужинали отдельно, а на обеды собирались в родительском доме. Наливала мать супы до краев тарелок, так что и ложку не опустить — обязательно прольется. Вот за таким обедом, на другой день после посещения Юльки, Юрген произнес обычную для мужчин фразу, которую каждый когда-нибудь произносит:

— Папа, я женюсь.

Нет, все же фраза была необычной, ведь не каждый день люди женятся или хотя бы собираются жениться, и потому стало за столом тихо и все посмотрели на отца.

А отец опустил ложку в тарелку, не пролив ни капли на стол, и как всегда невозмутимо поинтересовался:

— Кто она?

— Хорошая девушка. Очень добрая. Юля ее зовут.

— Ты ее знаешь? — отец посмотрел на Фридриха.

— Знаю. У оврага живет. Юлька.

— Та самая?

И тут отец, на суровом лице которого даже улыбка появлялась редко, вдруг прыснул замечательным немецким супом из чечевицы на Фридриха, сидевшего напротив, Фридрих на Карла, Карл на Гансика, Гансик на… И так далее, все оказались обделаны жирным и густым супом. Дом Иоганна Фонберга давно, а может, и никогда не слышал такого хохота. Даже мать, не услышавшая разговора, подошла ближе от печи и завистливо спрашивала:

— Что? Что?

А когда услышала — что, не поверила.

— Та самая? — кровь бросилась ей лицо.

Ну а Юрген не выдержал такого испытания, вскочил, бросил ложку на стол и хлопнул дверью.

В тот же вечер он, прихватив два рубля, опять пошел к Юльке и сообщил:

— Я на тебе женюсь.

Но и она вдруг тоже засмеялась, как заплакала, и сказала:

— Кто тебе разрешит?.. Да и не пойду я за тебя замуж! Они меня со свету сживут за один год.

— Кто они?

— Да немцы твои!

— Я у них спрашивать не буду! — заявил Юрген.

— Ага, не будешь, — сказала она. — Иди-ка ты домой, миленький. Отдай мои два рубля и иди.

— Нет у меня сегодня денег, — сказал Юрген.

— Как нет? Тогда чего пришел? Иди-ка отсюда, уходи!

Больше Юрген не приходил к ней. А если доводилось встретиться, Юрген хмурился, она широко улыбалась:

— Приходи жениться, если два рубля есть!

Но все семейные деньги хранились у отца. Не просить же у него или у Фридриха на встречу с Юлькой…

Юрген шагал по немецкой слободе со своим фанерным сундучком, и все, кто видел его, приветственно взмахивали руками, а многие выходили на дорогу, чтобы поздороваться. «Юрген приехал! Юрген приехал!» — раздавались во дворах знакомые голоса. Оказалось, он стал популярен за эти месяцы, что отсутствовал здесь. «Ну как, построил дворец?» Люди знали о нем все — это, конечно, отец и мать похвалились успехами сына, знали и о поездке в Мстиславль Луизы с Ирмой. Многие хотели бы спросить не столько о дворце, сколько о том, что же он думает дальше, как будет с Ирмой, все же помолвленная невеста, лучшая девушка на немецкой слободе, да и нельзя нарушать традиции, сложившиеся за сто с лишним лет. Российская императрица придет-уедет, она и не узнает, кто строил для нее мосты и дворец, а Луиза всегда будет здесь, и нет для нее более важного человека, чем Юрген. Этот возглас «Юрген приехал!» полетел от дома к дому и замер только у Пфеффелей, откуда тотчас вышли ему навстречу все — отец, мать, братья и сестры. Они трясли ему руку, обнимали, а отец крикнул во двор: «Луиза, Юрген приехал!» И она тоже тотчас появилась у калитки и улыбнулась так, словно не только ему невеста, но родная жена, и Юрген подумал: в самом деле, красивая девушка, очень красивая. «Ривка! Ривка! Как мне жить без тебя, Ривка?» Пройти мимо — значит обидеть всю семью Пфеффелей, подойти к Луизе — значит как бы что-то

пообещать, но пока он думал, Луиза сама подошла к нему и поцеловала в щеку — имела право: помолвленная невеста, но Юрген в это время думал: «Ривка! Ривка!» — и не ответил на поцелуй. И то, что не ответил, тоже понравилось Пфеффелям, потому что — мужчина, ни к чему ему целоваться на каждом шагу.

— Как добрался?

— Хорошо.

— Дворец построил?

— П-построил.

— Что там, в Мстиславле?

— Ждут императрицу.

Произносили простые слова, но отец-мать, братья и сестры смотрели на них и улыбались, словно Юрген с Луизой вели важный семейный разговор. И так же смотрели вслед, он спиной чувствовал их взгляды и думал: «Ривка! Ривка!..»

Наказывать публичным истязанием плетьми

Опасность таилась не только в возможных стихийных бедах или в хозяйственном устройстве встречи, но и в людях. Вдруг Родионов узнал, что богатые купцы и среднего достатка поссорились из-за недоимки в одну тысячу рублей и собираются жаловаться губернатору. Но ведь может прийти фантазия пожаловаться императрице!.. Сообщил ему об этом со злорадством бывший, а ныне разгильдяенный купец Бурмихин — не мог простить потери своего звания, хотя наказание заслужил: слово не держал, обманывал, да и пристрастился к вину.

Знал об этом, как выяснилось, и капитан-исправник Волк-Леванович, а также и городничий Радкевич, и предводитель Ждан-Пушкин, и, наверно, многие иные. «Что ж вы молчали?» — рассердился Родионов. Не хватало, чтобы купцы пожаловались Энгельгарду через его голову!

Уже на следующее утро он собрал в Благочинном управлении и всю гильдию во главе со старостой Рогом и главных чиновников. «Миритесь, — приказал он, оперся на локти, низко опустил голову и замолчал. Тихо было в зале для общих приемов. Купцы и чиновники тоже опустили глаза. А когда Родионов снова поднял голову, они увидели его посеревшее от злости лицо с мелко дрожащими желваками скул и глаза, готовые прожечь насквозь любого из них. — Миритесь!» Повторил, встал из-за стола и решительно, по-гвардейски, направился к выходу. Пошли за ним и чиновники.

Уже через час староста Рог сообщил Родионову, что мир достигнут. Недоимку поделили на всех, причем богатые купцы обещали внести *сверху* каждый по пятьдесят рублей. О жалобах больше речи не было.

А если бы приползли с жалобами к императрице мужики? Пришлось бы сечь их, а затем и отправлять в солдаты или Нерчинск. Указ есть указ. Обязаны крестьяне иметь к помещикам своим повиновение и беспрекословное во всем послушание. С теми, у кого послушания не было, следовало поступать как с нарушителями общего покоя, без всякого послабления.

Вдруг Родионов подумал, что перестарался, отдав приказание мостить дороги камнем. Какая тряска будет в карете государыни! Какой поднимется грохот, когда помчатся по булыжникам все сто карет!

Счастье, что дорога будет засыпана снегом.

* * *

Месяц спустя Андрей Егорович Родионов получил новое послание от губернатора Энгельгарда, составленное им самим. Николай Богданович счел, что далеко не все предусмотрено в ордерах Сената, многое следует уточнить и предпринять. Прежде всего, для кареты государыни должно приготовить лошадей ценой не меньше как по пятидесяти рублей, одношерстных, с пристойными хомутами и хорошо одетыми почталионами, то есть возчиками. Причем лошади должны быть не жеребые и завременно приучены ходить цугом. Должно приготовить и запасную четырехместную карету для государыни, и держать в поездке одного плотника и одного кузнеца с инструментами. Три молодых шляхтича, желательно в кафтанах с аксельбантами, должны ехать до Кричева верхом перед главной российской каретой, но если паче чаяния происходить сие будет летом, а не зимою, следует избрать такое расстояние, чтобы не пылить на Екатерину Алексеевну. «Насколько помню, — писал далее губернатор, — дорога к городу и от Пустынок, и от Хославичей весьма крута, и если государыня будет ехать зимой или весной по гололедице, следует держать там несколько сильных мужиков с веревками и крючьями.

Далее, чтобы никто не смел ни в каретах, ни в колясках, ни на дрожках или повозках ехать навстречу императрице, а коли появятся таковые, должно им тотчас остановиться на обочине и выйти для поклонов государыне.

В шинках чтобы никого допьяна не напаивали под страхом неминуемого наказания, а в городе поставить дневные и ночные караулы, *дабы неупустительно блюсти тишину, чистоту и безопасность. Если же явятся такие предерзкие, которые своими прошениями и жалобами утруждать Ее Величество осмелятся, наказывать публичным истязанием плетьми, отсылкою на каторгу или поселением в Нерчинск».*

Конечно, по улицам, где предстояло проехать императрице, следовало исправить заборы и крыши, а над дверями и окнами повесить сосновые венки или хотя бы украсить живыми ветками. Еще следовало *вывесить на улицу какие у кого сыщутся портища, суконные, стамедные, или такие, из чего делаются плахты, равно ковры и пилимы, так, чтобы покрылись призбы, т.е. завалины.*

«А вот если у кого в доме случится оспа, корь и тому подобная прилипчивая сыпь, оным запрещается из дому выходить».

Имелось также уточнение обеденного меню: «Приготовить два ведра сливок, а вино должно поставить французское и водку французскую, а не вашей мерзкой винокурни, и пиво не купцом Рогом сваренное, а настоящее *аглицкое».*

Имелось ко всему этому и добавление, писанное с особым нажимом: ежели кто из господ дворян ослушается, то подвергнет опасности свою честь, жизнь и имение.

Послание это и зачитал Родионов на очередном собрании лучших людей. И немногословное сие добавление произвело особенно хорошее впечатление. Обер-комендант посмотрел в лица и увидел, что не ослушается никто.

И еще один постскриптум имелся в письме губернатора, зачитывать который Родионов не стал. Был он писан иным почерком — мелким и не столь уверенным, по-видимому, им самим.

«Андрей Егорович, есть особливая к Вам просьба. Пятнадцать лет минуло со времени Воссоединения. Это, конечно, немало. А коли учесть, что люди мстиславские никогда не порывали связь — и хозяйственную, и духовную — с Россией, этого срока достаточно вполне, чтобы они почувствовали себя

гражданами великой империи, с ней связывали сегодняшний день и завтрашний. Однако, прямо скажем, велико у нас влияние католицизма, языка польского, а значит и Польши. Есть лица, ненавидящие Россию, и присуще сие прежде всего полякам по вере и рождению. Может статься, найдутся такие и у вас. Есть опасение, что могут они нарушить спокойное течение событий, поскольку поляки и в прежние времена отличались особенным до странности патриотизмом. А лицам, пораженным сим с виду благородным качеством, как известно, не страшны любые наказания. Имейте это, Бога ради, в виду».

Прочитав постскриптум, Андрей Егорович Родионов нахмурился и задумался. Неужели есть таковые в этом тихом городе? Первым побуждением было показать письмо Волк-Левановичу, но тут же подумал, что не зря Энгельгард самолично дописывал письмо, а значит, послание сие — абсолютная конфиденция и показывать его никому не следует. Но и обойтись без такого разговора нельзя.

Речь, конечно, шла не о хлопах или купцах, мещанах, а только о шляхте. Ничего пока не потеряв в положении и имуществе, они чувствовали себя обиженными: пострадал шляхетский гонор даже у тех, кто был беден как последний хлоп. Императрица подтвердила Статут Великого Княжества Литовского, не отменила и сеймики, на которые собиралась уездная шляхта, но все равно большинство чувствовали себя отстраненными от решения важных уездных дел. Что значат дворянские собрания раз в три года, если сеймики собирались не по расписанию, а по необходимости, если перед уездной шляхтой отчитывались депутаты даже вального сейма. Родионов знал в лицо большинство шляхтичей. Кто из них мог бы замыслить устроить беспорядок? Кто мог ради идеи Речи Посполитой пожертвовать жизнью своей и родных, своим пусть и небогатым имуществом? Нет таких.

Но тревога усиливалась.

Когда, казалось, приготовления были закончены полностью, вдруг поздним вечером ворвался в Благочинную управу Ждан-Пушкин.

— Топчаны! — почти панически кричал он. — Кровати! Перины!

Родионов от его крика вспотел в одно мгновение. Забыл, можно сказать, самое главное!

Тридцать два перьевых матраса необходимо для свиты и один пуховый для государыни. Кроме того, надо где-то уложить двести с лишним мужиков обслуги…

— Да бог с ними! — зло крикнул Родионов, утирая платком лицо и шею. — Пускай хоть на полу спят в трапезной!

И в самом деле, строить топчаны было поздно.

Ну и что делать?

Выход виделся только один: разобрать свиту по домам лучшей городской шляхты. Мужиков сопровождения распределить среди купцов и мещан.

Но Екатерину Алексеевну на старый матрас не положишь…

Утром во все концы уезда помчались нарочные добывать куриный и гусиный пух для ложа императрицы.

Покушение на архиепископа

Возвращаясь с вечерни, архиепископ Георгий Конисский услышал сзади торопливые шаги, затем быстрый бег и тяжелое дыхание, хотел было оглянуться, но не успел: кто-то сильно толкнул его сзади, так что он

полетел в сугроб на обочине, сорвал с головы лисью шапку, начал было стаскивать с плеч полушубок, но вдруг, словно испугавшись, бросился прочь. Разглядеть в декабрьской тьме разбойника преосвященный не смог: он тотчас скрылся из виду. Боли поначалу никакой не почувствовал, но и подняться не мог. И холода не чувствовал, хотя было очень морозно, — выручал новый полушубок, что пошил ему шорник Селивон, его прихожанин, добрый человек. Он копошился в снегу, пытаясь встать на ноги, и падал. И помочь было некому: Могилев в такое время город безлюдный. Наконец послышался скрип снега под ногами на другой стороне улицы, преосвященный громко застонал, призывая прохожего, и скрип прекратился, видимо, тот остановился и прислушался. Однако кожушок был светлый, не выделялся на снегу в темноте, и преосвященный снова застонал: здесь я, помогите. Человек услышал, тотчас направился к нему, а наклонившись, чтобы разглядеть, охнул: «Владыко?» Именно шорника Селивона и подарил ему случай и Господь. Селивон подхватил его за подмышки, поставил на ноги. «Можешь идти, владыко?» Нет, самостоятельно идти не получалось: не слушалась правая нога. Сообразив, Селивон подхватил его за поясницу, преосвященный обнял его шею — кое-как потащились. Впрочем, идти было недалеко, меньше полуверсты, а Селивон знал, где дом епископа, — бывал у него не раз: то дров помогал наколоть, то снег разбросать, калитку покосившуюся перевесить, заборчик поправить — сам епископ был в этих делах неловок. Шли медленно, с остановками и почти не разговаривали: боль в ноге усиливалась. Поняв, что отец Георгий замерзает, Селивон напялил на него свою драную шапку — лучше, чем ничего. «Кто ж тебя, владыко? За что?» Но и сам понимал, что ответа не будет, а вопросы задавал для сочувствия. Впрочем, оба могли предполагать, кто и за что, но не пойман — не вор.

В боковушке дома жила баба Агата, помогавшая отцу Георгию по хозяйству, она вышла на стук двери и тотчас заголосила, запричитала, так что Селивон должен был прикрикнуть: «Стихни, баба! От твоего крика всем легче…» Они вдвоем раздели отца Георгия, помогли лечь на кровать, укрыли полушубком, поскольку все же замерз, пока добирались, аж трясло его. «Щец поешь, батюшка? — плачущим голосом спросила Агата. — Горяченьких? Не?.. А я думала, придешь — поешь. Как раз как ты любишь, с брюквой, морковкой, со свининою!..» Отец Георгий протестующе взмахнул рукой и отвернулся к стене: Агату не останови, будет до утра молоть языком.

Вышла вместе с Селивоном. Узнав от него подробности, опять запричитала: «Они, они, езуиты проклятые!» — «А шапку чего сорвали?» — «Как — чего? У них тоже уши мерзнут!» — «Не, — возразил Селивон. — Воры». — «Жалко, — опять захныкала Агата, — добрая была шапка, лисья. Это ему в Мстиславе подарили». Конечно, жалко, но сейчас есть поважнее вопросы: как он, владыко Георгий? Встанет утром или нет?

Встал, да еще как! Правда, на одной ноге, но прыгал, как заяц. В хорошем настроении поел, что Бог послал и Агата приготовила, а потом задумался: что дальше? Было о чем подумать.

Слух о нападении на преосвященного Георгия разлетелся быстро. Уже к середине дня стали подходить прихожане, но в дом не просились, во дворе ждали, когда выйдет Агата, расскажет, что знает, а главное, как он, их батюшка. Но и рассказала — не уходили. Селивон опять был здесь, стоял в толпе и, захлебываясь от возбуждения, в который раз рассказывал, как он владыку Георгия, можно сказать, спас. Пришлось преосвященному на одной ноге прыгать на крыльцо, показаться: вот я, жив и почти здоров. Главным вопросом у

людей был, конечно, *кто?* Опять они, иезуиты? Или униаты? Были причины подозревать и тех, и других. Что просто воры — не верил никто.

Беда, или по меньшей мере большое огорчение, была еще и в том, что очень скоро он должен быть в Мстиславле, когда через город будет проезжать любезная его сердцу императрица Екатерина Великая по пути в Таврию. Ничего дурного в хромоте, конечно, нет, но он намеревался встретить ее в Смоленске и оттуда вместе со свитой прибыть в Мстиславль. Что же, станут его носить следом за императрицей или будет он ковылять на костылях? А встретить ее необходимо, чтобы сказать о любви и благодарности всех православных Могилевской губернии да и всея православной Белоруссии.

О том, что императрица поедет знакомиться с вновь приобретенным полуостровом, поговаривали давно, в Мстиславле, к примеру, уже полгода ровняли дороги, свозили булыжные камни с округи — строили каменный шлях в сторону Смоленска, садили молодые березки по обе стороны дороги, а нынешним летом рядом с православным храмом подняли дворец, в котором ей предстояло провести ночь. Почему-то считали, что поедет императрица летом, а вот пала зима, грянуло Рождество Христово и примчался нарочный с ордером: выехала!

Выехала она через Великие Луки в Смоленск, а оттуда до Мстиславля сто верст. Но и от Могилева до Мстиславля сто верст, так что выезжать следовало заранее, всякое может случиться в пути.

С императрицей Георгий Конисский встречался не раз: во-первых, присутствовал на ее коронации в 1762 году. Исполнилось ему тогда только сорок пять лет, ну а императрица была совсем молода, чудесных тридцать три года расцвело перед ней. Накануне коронации он встретился с бывшим своим преподавателем латинского, польского, греческого и других языков в Киево-Могилянской духовной академии Симеоном Тодорским, который нынче был наставником государыни в православии, а уж тот позаботился, чтобы имя Конисского оказалось в списке просящих аудиенцию. Он попал к императрице на третий день по коронации, волновался и не сказал половины того, что хотел и приготовил. Но все же рассказал, в каких церквах-сараях молятся православные и как трудно собрать достаточное количество денег на ремонт, тем более на строительство нового храма; о малограмотных священниках, не знающих силы Закона Божьего и даже имен Святых, так что пришлось открыть в Могилеве семинарию и небольшую типографию, в которой он уже напечатал «Катехизис» Феофана Прокоповича. Но главное, зачем приехал на коронацию, почему добивался встречи с ней, он, конечно, высказать не мог. *Надежда избавления нашего веселит нас… Не посрами нас в чаянии нашем! Спаси нас десницею твоею, и мышцею твоею покрый нас!* Яснее он, епископ заграничной епархии, выразиться не имел права.

Второй раз встретился Конисский с государыней императрицей в Могилеве, в 1780-м, когда она приезжала, чтобы увидеть, как живет столица Белоруссии, проверить, как живется народу в составе Российской империи, есть ли школы и богадельни, замирились ли православные и католики. Присутствовала она и при заложении храма во имя праведного Иосифа, где Конисский не только сказал благодарственные слова, но и напомнил о своих нуждах. Покидая Могилев, императрица подписала новый указ, в котором распорядилась Коллегии экономии ежегодно отпускать на содержание православной семинарии по две тысячи рублей. Большего и желать было невозможно. Преосвященный сразу же начал реорганизацию семинарии. Открыл новые классы — богословских и философских наук, ввел преподавание латыни,

древнееврейского, греческого и польского языков. Преподавали в семинарии бывшие студенты знаменитой в те времена Киево-Могилянской академии.

Теперь же, в Мстиславле, Георгий Конисский хотел рассказать императрице, что после ее рескрипта, позволяющего униатам при их желании и если вдовствует храм, то есть отсутствует священник, принимать православие, — за три неполных года возвратились в веру отцов и дедов более ста тысяч верующих.

И вот эта история с нападением и падением… Первые три дня если и принесли облегчение, то незначительное. Конечно, молился и утром, и днем, и вечером, и после каждой молитвы казалось — боль утихает, но скоро возвращалась опять.

На третий день посетил архиепископа Николай Богданович Энгельгард, губернатор. Агата в лицо его никогда не видела, но по уверенной походке, по крупной стати, начальническому виду, сообразив, что большой человек, умильно глядя на него, повела в спальню преосвященного. Раздеваться губернатор не стал, пожал руку, сел в большое бархатное кресло, которое суетливо подтащила к кровати Агата, и почти сразу поинтересовался, есть ли у него подозрения касательно нападавших. «И думать не хочу об этом, ваше превосходительство, — отвечал преосвященный. — Внутри зло погасим, дабы наружу не вылилось, говорит апостол Павел». — «И бес замолкнет в нас — ведь мы же его не кормим!» — продолжил Николай Богданович, широко улыбаясь. Был он высок, крепок, и улыбка очень шла его лицу. Агата растерянно выглядывала из другой комнаты, не зная, как следует поступить: предложить чаю или не предлагать? Одно дело, если гость духовного звания, совсем иное — большой губернский начальник. Опять же, шубу не снял, значит, не задержится, но судя по тому, как взволновался отец Георгий, надо оказать возможное внимание гостю. Она побежала на кухню, проверить, есть ли достаточно горячая вода в печи, а чай был заварен с утра, поскольку преосвященный не начинал день без чая, а теперь и вовсе требовал каждый час. Но тут услышала, что высокий гость прощается. «Поправляйтесь поскорее, — говорил губернатор. — Через неделю, самое большое две, императрица будет в Мстиславле. А это ваша епархия, нужно быть». — «Да я только о том и думаю, — отозвался Георгий. — Надеюсь, Господь наш поможет мне». — «Поедем вместе, даст Бог. Вы не против?» — «Счастлив буду, Николай Богданович», — отозвался Конисский. «Возьмем с собой Богуш-Сестренцевича, Лисовского… А может, и Ленкевича». Некоторые имена озадачили преосвященного Георгия, например, иезуита Ленкевича, да и униата Лисовского, но слово было сказано, придется ехать в такой компании. Поговорили еще минуту о трудностях зимней дороги, и губернатор простился: убедился, что состояние архиепископа удовлетворительное.

Ну а к вечеру того же дня, когда совсем стемнело, пришел навестить архиепископ Богуш-Сестренцевич. Был он, как всегда, в очень дорогой шубе, но, сбросив ее на руки Агате, в одежде оказался цивильной и без своих многочисленных наград от российского императорского двора и польского королевского. Подошел, сочувственно пожал руку, сел рядом на табуретку, подставленную Агатой. Табуретку подставила, но поглядела недобро: католик и главный священник всех могилевских и белорусских католиков.

Преосвященный Георгий Богушу-Сестренцевичу тоже обрадовался: встречались редко и никогда — дома. Причина его визита тоже была понятной: не подозревает ли кого-либо из католиков? Не так уж давно установился между католиками и православными мир.

Происходил он из литовских дворян, но образование получил в Германии, во Франкфуртском университете. Несколько лет воспитывал детей князя Радзивилла, но повлекла стезя духовная, и в 1763 году был посвящен в ксендзы. Ну а далее его судьбой руководила сама жизнь: настоятель в Гомеле и Бобруйске, каноник в Вильне, сан епископа-суффрагана. После присоединения Белоруссии к России назначен епископом Белорусским, и наконец — архиепископом.

Богуш-Сестренцевич тоже собирался ехать в Мстиславль встречать императрицу: и он многим был обязан ей, и она благоволила к нему.

Вопроса о том, не подозревает ли в нападении католиков, не задавал: по лицу преосвященного Георгия, по встрече стало ясно: нет, не подозревает.

А еще навестил его совсем уж неожиданный гость: раввин Ицхак Леви. Понятно: случись открытый конфликт между православными и католиками или униатами, достанется и евреям.

Поскольку улучшения отцу Георгию не было, Селивон с Аграфеной привели бабку, которая лечила от всех болезней наговорами и травами. Она и специальное питье от опухоли приготовила, и натирку особенную для утоления боли. Аграфена предупредила ее, что отец Георгий заговоры не признает, только молитвы, но бабка все же пошептала немного, так, чтобы он не заметил. То или другое, или все вместе стало помогать: опухоль начала спадать, а боль утихать. К тому же Селивон выстругал удобный кий, опираясь на него, вполне можно было ходить.

Едет!

Тревожное состояние Андрея Егоровича Родионова усиливалось с каждым днем. Декабрь выдался снежным, замело-завалило все дороги, и нынче он каждый день объезжал город, проверяя, как мужики расчищают их, а особенно шлях, по которому императрица приедет-уедет. Одна мысль звенела в голове: скорей бы, скорей! Казалось, все готово к встрече, каждый знает, что делать, но ведь всякое может случиться! Вот рухнет липа на дорогу при въезде в город, опасно накренившаяся минувшей осенью, и что тогда? Что скажет императрица или хотя бы губернатор? Спиливать ее поздно, да и нет такой пилы, чтобы одолеть двухвековое дерево. Надо было осенью подкопать корни, обрубить и помаленьку разделать. А теперь земля закаменела, сколько людей надо, чтобы аккуратно положить ее не поперек, а вдоль дороги. Если метель падет на город, как в декабре, тоже мало радости. Но слава Богу, каждый день лучше другого, сияет солнце с утра до вечера, словно и на небесах решили способствовать императрице. А могут быть неприятности иного рода. В минувшем году ни с того ни с сего на Рождество Христово схватились в дикой драке три соседних деревни: Саприновичи, Печковка и Яновка. Вспыхнула драка, как пожар в сушняке; несколько дней бушевали, ломая другу другу кости, бились кольями, оглоблями, дугами, до тех пор, пока капитан-исправник не выпорол всех на съезжем дворе, поворачивая на четыре стороны света, да не пересажал в холодницу. Как объяснить императрице, что это вовсе не пугачевский бунт? Что молодые схватились из-за девок, старые за землю, да еще и паны-соседи Чубарь и Радкевич, которые терпеть не могли один другого, подзуживали хлопцев и мужиков.

Были и другие заботы. Слава Богу, люди в Мстиславле послушные — и мужики, и шляхта. Как только бирючи-скороходы объявили сбор назначенных лошадей, тут же и привели их. Пятьсот пятьдесят коней ржали, били

копытами мерзлую землю! Тут-то и выявилось, что коновязи, а их поставили пятьдесят штук, расположены слишком близко. Лошади в тесноте, как и люди, начинают злиться одна на другую, и, как и у людей, все это может закончиться плохо. Приказал немедленно и с умом распределить, разнести коновязи. Снова пришлось долбить мерзлую землю…

Чуть ли не за неделю до приезда императрицы потянулась в Мстиславль окрестная шляхта, желавшая повидать ее. Гостиные номера и комнаты пристройки были давно заполнены и переполнены, корчма Семена Баруха не справлялась кормить гостей, и все обделенные удачей шли к нему, обер-коменданту, с претензией: как так? Почему не предусмотрели хоть каких-то удобств для гостей? Вы что, не понимали, что вся шляхта губернии приедет к вам?

Знали, опасались этого, но за какие деньги построить еще один гостиный двор? Лошадей ваших тоже мы должны кормить? Конечно, а как же? Не голодать же им!.. Слава Богу, капитан-исправник Волк-Леванович заранее составил списки мещан, согласных взять на постой гостей. Потому и билось в голове: скорей бы, скорей!

И еще одно письмо получил Родионов от Николая Богдановича Энгельгарда.

«Милостивый государь Андрей Егорович!

Я нисколько не сомневаюсь, что подготовка к встрече Екатерины Алексеевны проведена успешно и наказы Правительствующего Сената выполнены. А причина моего письма в том, что какая-нибудь мелочь, на которую в обыденности мы не обратим внимания, может произвести неблагоприятное впечатление. К примеру, всяческие инвалиды, древние старики и увечные. Публика эта, как известно, чрезмерно любопытна и стремится появиться там, где ей быть не следует. Посему избы, в которых оне проживают, следует взять под особливое наблюдение. И напротив, хотя в ордере Сената сказано, что костры следует зажигать через каждые тридцать шагов, не следует запрещать мещанам ставить плошки перед своими домами, ежели оне того пожелают.

Опять же, нет в ордере Сената указания, что следует иметь алое сукно в достаточном количестве, дабы наслать от двери кареты императрицы до двери почивального дворца. Надеюсь, Вы эту необходимость понимаете.

Вряд ли Екатерина Алексеевна задержится в Мстиславле дольше одной ночи, скорее всего, обеспечить следует лишь только ужин и завтрак, но тут надо иметь в виду, что столовое белье всякий раз должно быть новым. О публике встречающей мы уже писали. Однако слишком большой толпы тоже не надобно. «И медведя смотреть кучами собираются», — произнесла однажды Екатерина Алексеевна.

Желаю Вам успеха в ежедневных трудах Ваших.

Надеюсь, Вы не забыли, о чем я писал Вам прошлый раз.

С совершенным почтением имею честь быть…»

Андрей Егорович улыбнулся: в Мстиславле императрица будет в полной безопасности. Все сколько-нибудь подозрительные лица накануне ее приезда окажутся в холоднице.

Пожар на Мышаковке

Вдруг Конисский решил ехать отдельно от Богуша-Сестренцевича и, значит, Энгельгарда. Причина была проста: ему сообщили, что некий могилевский мещанин перешел из православия в католичество, — случай в тепе-

решние времена редкий, и причастен к этому архиепископ. Конечно, склонял мещанина к вероломству не Богуш-Сестренцевич, а некий рядовой ксендз, но с его ведома и согласия! Один верующий — не велика потеря, но хотя бы сказал ему, Конисскому, что есть, есть козлище среди его овец! Так много потрачено сил на восстановление православия в епархии, что даже единичная потеря казалась обидной.

Он сам рукоположил во священство на униатские церкви двух православных дьяконов, поскольку села оказались униатскими и не готовы были возвратиться к православию. Не поспеши он с рукоположением, тотчас в этих селах появятся иезуиты. А в это же примерно время бывшего униатского священника Григория Сулковского на Пинщине, перешедшего в православие, судили консисторским судом как вероотступника, приговорили к наказанию ста ударами розог, а на прощание еще и побрили по униатской традиции.

За день до отъезда произошло неожиданное: ночью загорелся дом на Мышаковке, около кладбища. Начался он с хаты коновала, известного пьяницы Савки Кумара, но дул ветер, и огонь скоро разнесло по улице. К утру Мышаковки почти уже не было. Летние пожары от грозы гасят квасом, молоком, куриными яйцами, зимой бросают в огонь белых голубей, ходят с иконами вокруг огня — пустое, пожар разгорался все сильнее, и пламя было таким яростным, что горели даже деревья вдоль улицы.

Мышаковка была православным приходом, поездка в Мстиславль опять оказалась под вопросом.

Утром Конисский и Энгельгард встретились у огромного едко дымящегося пепелища. Погорельцы, черные от сажи, закутанные кто во что, ходили вокруг пожарищ.

В тот же день и преосвященный, и Богуш-Сестренцевич, и униат Ираклий Лисовский провели в своих храмах службы, обратились к пастве с призывом о помощи. Немалое участие принял во всем этом и генеральный викарий ордена иезуитов Ленкевич. Главным было разместить погорельцев по людям. Однако времени не оставалось, и Энгельгард предложил, оставив хлопоты на старост, городовых и квартальных, ехать. Добрых чувств к униату Лисовскому, как и к иезуиту Ленкевичу Георгий Конисский не питал, но делать нечего, надо ехать вместе хотя бы экономии ради. Тем более что они призвали свою паству помочь его погорельцам.

Встретились у дома губернатора, а когда подлетела карета с молодым возничим и можно было садиться, какой-то мужичок-с-ноготок, вдруг кинулся к ним и рухнул под ноги Георгию Конисскому, так что губернатор отпрыгнул в сторону, а Богуш-Сестренцевич, словно защищаясь, вытянул перед собой руки.

— Прости, батюшка!.. — возопил мужичок, валяясь в ногах у Конисского, обнимая и целуя его валенки. Возможно, хотел стать на колени, но свалился на бок и теперь цеплялся за его полушубок, пытаясь подняться. — Прости и помилуй!.. Бесы меня попутали! Вон они, вон, стоят, ждут! Много их, толпа целая!.. Это они хату мою подожгли, они огонь разнесли по улице!

— Кто ты? Что тебе надо?

— Савка я, Кумар! Коновал с Мышаковки! Я это, я!..

— *Что* ты? — начал сердиться архиепископ.

— Я тогда налетел на тебя, шапку твою сорвал! Не узнал тебя впотьмах, шубу твою забрать хотел!.. Наказал меня Господь огнем, пожаром! Шапка твоя тоже сгорела...

— Какого прихода? — спросил Георгий.

— Марии Магдалены, батюшка! Наказал меня Господь, наказал!

— Пойди сегодня к отцу Иоанну, исповедуйся во грехах.

— Ходил уже, батюшка! До храма дойду, а в храм — не могу, бесы дорогу занимают, не пускают. Надо, чтобы ты, батюшка, простил!

— Прочь с дороги! — сказал Георгий, поняв, что Савка и есть виновник городского пожара.

Он шагнул к карете, следом направились и Энгельгард с Сестренцевичем, Лисовский и Ленкевич. Карета тронулась, но еще долго сзади слышали они безумный вой.

Ехали молча. У всех не шел из головы мужичок-с-ноготок. Однако чувствовал себя виноватым, ниже других клонил голову Георгий Конисский: отказал в прощении человеку. Но разве безгрешен сам? Разве прощение не один из главных камней христианства? Ужаснуться, впасть в отчаяние можно, вспомнив свои малые и большие прегрешения. Но ему-то всякий раз отпускает грехи духовник, старый священник Иоанн! Что ж он отказал в добром слове этому несчастному Кумару? Вот едет он в удобной карете в город Мстиславль встречать императрицу, то есть спешит за радостью, за удовольствием, позабыв все иные хлопоты, всю свою православную паству, не говоря уже о погорельцах, мыкающихся сейчас по чужим домам, — разве это уже не есть грех?

Будь один в карете, повернул бы обратно.

И только к полудню ему стало легче. Принял решение: вернется — отыщет Савку Кумара, позовет на исповедь, а также исповедуется сам священнику Иоанну.

Лошади для императрицы

Поначалу Ждан-Пушкин испытывал огромное воодушевление. Увидеть императрицу, а может, и сказать ей несколько слов — разве не счастье? Но вдруг начало нарастать беспокойство. Во-первых, будет много именитых гостей и ему не дадут возможности назваться и представиться. Во-вторых, он может просто не понравиться ей. Женщина своенравная, одно слово — императрица, и по слухам, даже тех, кто был мил вчера, может отправить из Петербурга, как поступила с генерал-майором Зоричем… Еще опасность исходила от своей же шляхты. Ей явно был не по душе последний сбор на строительство, и если пожалуются на предводителя государыне... Как знать, что она ответит и скажет.

И конечно, очень жаль, что государыня решила ехать зимой. Почему-то думалось, что это случится в пору цветения липы, мечталось, что она пожелает посмотреть какое-либо мстиславское поместье, и тогда он провезет ее к своему дворцу в Лютненском черемуховом лесу по липовой аллее, которую насадил, как только вступил в наследство.

Императрица приближалась. Приближение ее Ждан-Пушкин чувствовал и сердцем, и просто кожей: вдруг беспричинно стала чесаться спина. И долго терпеть это было невозможно. Он бросался в первое попавшееся укромное место и со стоном отчаяния и наслаждения начинал зверски чесаться о стену, дерево, дверь. А если такое случится перед императрицей?.. Позор, позор! В последние дни он даже перестал играть на скрипочке и сердился, если супруга садилась к клавесину. Какая еще музыка? При чем тут Глюк или какой-то Моцарт, если на карте судьба?

Похожие тревоги терзали и Андрея Егоровича Родионова. Что Ждану-Пушкину да и всей Мстиславской шляхте? Они свободны. Но он, начальник

города и уезда, может показаться и императрице, и губернатору Энгельгарду случайным человеком. И дело, конечно, не в пятистах рублях, которые ему положил Энгельгард, и опасности их потерять, а в офицерской чести.

Наверно, от волнений, стала опять ныть раненая нога, но это мелочь, он офицер, то есть солдат, и перетерпеть может любую боль.

Андрей Егорович Родионов чувствовал, что при всей его любви к императрице он не хочет, чтобы она приезжала в Мстиславль. Не нужна ни ему, ни городу эта слава. Ехала бы через… Да мало ли дорог в великой России! Только не через Мстиславль. Кто разработал ее путь в Крым и предложил остановку в Мстиславле? Академик Габлиц? Смоленский губернатор? Еще какой-нибудь страстный любитель и знаток географии?

Все надо держать под рукой. Несколько дней тому он приказал капитан-исправнику проверить порох и пушки для салюта. Порох оказался сырым. Какова могла случиться конфузия? Да и пушки, хранившиеся в городе со времени Унии, давно, а может, и никогда не стреляли. Насушили пороха, выкатили пушки ко рву вокруг Замковой горы и — для пробы — бабахнули по разу из каждой. Ахнуло как следует, эхо понеслось, заметалось по рвам и оврагам. Все тотчас повеселели: выстрелы были, конечно, холостыми зарядами, но показалось — боевыми, и не в белый свет, а по врагам России.

Проехал по всем улицам города, даже по таким, куда никак не могла попасть государыня. Приостановился у реки, глядя, как мужики вырезают из льда Крещенский крест. Зима выдалась морозная, лед был в аршин толщиной, но дело подвигалось успешно. Сперва пробили неширокую полынью, к одному концу двуручной пилы привязали пудовую гирю, а за другой конец крепкий молодой хлопец таскал ее вверх, опускал вниз. Потом крест возьмут на веревки, вытащат и поставят рядом, а после Крещения распилят на большие куски и развезут в ледники самых уважаемых людей города.

Очень многие гости приедут на собственных тройках, а кое-кто и цугом, потому следует подумать о запасе хорошего сена. Опять же, нужна площадка для гостевых лошадей, необходимо добавить несколько коновязей.

Вчерашним днем он поехал поглядеть на приготовленных для императрицы лошадей и ахнул. Нет, в большинстве кони были хорошие, укормленные, гладкие, но были и одры, со сбитыми копытами, торчащими от старости ребрами, тощими хвостами, которые не то что до Новгород-Северского, до Кричева не дойдут, даже мужицкие кони бодрее и чище. И это для кортежа императрицы. Он тогда впервые за эти дни по-настоящему рассердился, взорвался и, кажется, к стыду своему закричал и затопал ногами:

— Чьи? Чьи кони?

Оказалось, шляхтича Кондрусевича, известного скупердяя, занимавшегося извозом, — самых изношенных, сработавшихся коней и привел на двор.

— Как это понять, господин Кондрусевич? — возмущался Родионов.

Но медлительный, словно сонный Кондрусевич всегда был спокоен.

— Хорошие кони, — отвечал он. — Не выездные, а настоящие рабочие кони. Сильные и послушные. Доходят до Могилева в один день.

Родионов приказал забрать их, увести со двора, чего, собственно, и хотел Кондрусевич. Этот шляхтич был из тех, кто никаким образом не зависел от обер-коменданта, и потому мог позволить себе такую явную дерзость. Недоимок за его мужиками не было, тягловую повинность выполняли — ни с какой стороны его не возьмешь. Он подружился с купцами, занимавшимися извозом, и сам теперь выглядел и вел себя как купец.

Число лошадей было по ордеру — пятьсот пятьдесят, это, понятно, с лихвой, так что десяток Кондрусевича не имел значения. Тем не менее приказал

сейчас же недостающих десять пригнать. Конюхи и возничие прибежали поглядеть и послушать, как ругается главный начальник города, и, по-видимому, получили полное удовольствие. Улыбались, переглядывались, разводили недоуменно руками, дескать, хитер пан Кондрусевич, а на самом деле посмеиваясь и над Родионовым.

Пан Чубарь тоже привел своих рабочих коней, а породистых пожалел.

Единственное, что приносило настоящее удовлетворение, — дворец императрицы и мосты через Вихру. Молодцы немец Юрген Фонберг и еврей Моше Гурвич, молодцы и мужики-плотники. Дворец на солнце среди пышных снегов сиял, как в сказке. Императрица будет довольна — теплый, уютный. Его понемногу протапливали с начала зимы, а недавно Родионов послал переночевать во дворце свою супругу — проверить, достаточно ли удобно ложе, и она подтвердила — царская постель.

Прикинув, когда императрица должна приехать в Смоленск, Родионов отправил туда двух скороходов на легких санях, с тем чтобы вовремя сообщили, когда ее ждать в Мстиславле. Скороходов выбрал из молодых крепостных мужиков, принудил тщательно расчесать-распушить мягкие бороды, дал каждому новый, хорошо выделанный овчинный полушубок и шапку. Дал и деньгу на пропитание. Наказал в заведения «под метлой», то есть в корчмы смоленские, не ходить, кормиться хлебом и салом, которые, опять же, вручил на дорогу и возвращение. В противном случае — каждому на конюшне тридцать розог.

По расчетам Родионова, императрица должна была прибыть 9—10 января. Однако не появилась и 11-го. Весь ужас состоял в том, что 12 января выпало на воскресенье, на престольный праздник Богоявленского храма и, как водится, уездную ярмарку. Купцы-продавцы, перекупщики, местичи и крестьяне со всего Мстиславского уезда явились в город купить-продать, поглазеть, выпить хлебного вина, а потом пойти в церковь. И что если бы императрица прибыла именно в этот день? И что если несколько тысяч любопытных ринутся к почивальному дворцу государыни? Ярмарка — это шум, гам, визг, вой. Поросята, телята, коровы, лошади, а следовательно, загаженная базарная площадь, что совсем недалеко от почивального дворца. Однако убираться в праздничный день грешно. Грязи, мусора после ярмарок бывало столько, что дворники едва справлялись убраться и за следующий день.

Слава Богу, императрица задерживалась. Но к вечеру Волк-Левановичу и Радкевичу донесли, что слух о ее скором приезде разнесся по ярмарке, как огонь по соломе, и очень многие решили заночевать в городе, а поскольку в номерах мест нет, ходят по городу в поисках приюта. Прокормить людей тоже нет возможности, Семен Барух не справляется обслуживать людей, не помогает и временная корчма в старом сарае, потому некоторые жгут костры просто на базарной площади, греются и варят кое-какую еду.

С наступлением темноты, однако, площадь опустела. А на следующий день, к обеду, гости стали разъезжаться. Теперь прошел другой слух: неправда, что государыня едет в Мстиславль, что ей здесь делать, это Семен Барух придумал, чтобы заработать на дураках.

А скороходы исчезли в Смоленске на всю неделю. Оказалось, что захворал кто-то из свиты императрицы, и пока лейб-медик Роджерсон лечил его, в губернаторском дворце на втором этаже гремела музыка и ездили по городу туда-сюда богатые экипажи. А еще говорили люди, что у всех, даже у матушки-царицы, текут слезы от сияющего снега и солнца, и доктор Роджерсон капает ей в глаза какие-то капли. Обо всем этом им рассказали в корчме Авербуха, что на базарной площади, и Авербух клялся, что сам видел и матушку-

царицу, и ее доктора. Вернулись мужики в Мстиславль в одном полушубке на двоих, сильно холодно все же, если в рубашке. Дело в том, что захотели они увидеть если не матушку-царицу, то хотя бы карету, в которой едет, перелезли ночью через забор губернаторского двора, подобрались к карете, Семен даже голову сунул в дверцу, и тут получил такой удар плетью по спине, что полушубок лопнул. Матвей тоже получил, но по ногам, ну а лапти и обмотки плети не боятся. Эту лопнувшую шубу и занесли Авербуху. А что касается матушки-царицы, так едет она уже в Мстиславль, мчится и будет у нас завтра, не позже. Все это они сообщили обер-коменданту и сразу же пошли на конюшню — возвратить лошадку и получить расчет плетьми за полушубок. Знали: чем скорее рассчитаешься, тем скорее заживет.

Платье с воланами и другие наряды

Корчма Семена Баруха — вымытая, вылизанная в каждом углу — шумела. В помощники он взял несколько половых, блюда они подавали быстро, но гости торопиться не желали, посему у входа образовалась сердитая очередь. Впрочем, утолив голод, все снова приходили в замечательное расположение духа. Повышенному настроению способствовало также решение ночного отдыха гостей: чиновники пригласили чиновников, шляхта шляхту. Для местных людей это была дополнительная приятность. Одни получили возможность заработать немного денег, другие — поговорить с новыми людьми, гостей же радовали и скромная цена услуг, и общее внимание к каждой персоне. Радовало гостей и то, что храмы в городе имелись любого исповедания, причем все богатые, даже синагога оказалась просторнее и выше, чем в Могилеве. О синагоге Моше Гурвичу рассказал могилевский раввин Ицхак Леви, который приехал в Мстиславль не только поглядеть на императрицу Екатерину, но и по особенной просьбе Гурвича: сосватать его дочку Ривку и столяра-краснодеревщика Давида.

Супруги городских чиновников в последние дни перед приездом императрицы были заняты исключительно своими нарядами: прошел слух, что государыня красоте женщин придает большое внимание. Все они — даже те, кто плохо переносил друг друга, — почти каждый день собирались то у одной, то у другой: примеряли платья, советовались. Что ни говори, а женщины — лицо города, какими запомнятся Екатерине Алексеевне женщины, такими и мужчины, и город. Белорусские гости — из Могилева, Шклова, Полоцка, Орши, русские — из Смоленска, Хославичей, Брянска, тоже должны запомнить. Ну и свои мужчины должны знать, какими они могут быть.

О том, что такая проблема возникнет, Андрей Егорович мог бы догадаться, а догадавшись, понять, что она приведет к скандалу, который поставит под вопрос его благополучную семейную жизнь. За несколько дней до приезда императрицы супруга предстала перед ним в одном из платьев, приобретенных летом в Могилеве, а в Могилев привезенном из Петербурга.

— Как тебе кажется, понравится такое государыне?

— К…кому?

— Я слышала, у нее отменный вкус. Красоте женщин она придает большое значение.

— К…красоте? В…вкус?

Она охорашивалась перед зеркалом и не слышала сейчас никого, кроме себя.

— Могу надеть то, с большими воланами, которое тебе нравится. Но там слишком много белого, а сейчас зима… Нужно что-то теплое. Может, то, что мы купили с тобой в Смоленске? Сейчас я надену его.

— Подожди… — неуверенно начал Андрей Егорович. — Дело в том, что…

Но она уже вышла в свою спальню, где поджидала ее девка Агрипка, помогавшая управляться с переодеванием. Процесс перемены наряда длился довольно долго, по крайней мере, обер-комендант Родионов успел дважды вспотеть, сообразить, что он должен сказать, и начисто забыть — что. Когда она вошла в платье, действительно придававшем ей особую стройность и привлекательность, Родионов почувствовал ненависть к женской красоте вообще.

— Послушай, Теодора, — сказал он, — дело в том, что… Я не знаю… Вместе с государыней будет ее ближайшее окружение… иностранные гости, фрейлины Двора… Приедет губернатор Энгельгард, архиепископ Конисский... Все будут в мундирах, а женщины в ординарках… — Понимал, что говорит не то и не так, как следовало бы, но переменить ничего не мог. — Есть указ от 1784 года… Северной полосе России положен голубой цвет, средней — красный, нам вишневый… Что ты расфуфырилась?

Счастливая улыбка постепенно сошла с лица Теодоры, румянец побледнел, и вдруг очень ярко очертились ее прекрасные длинные и тонкие брови.

— Ты хочешь сказать… — произнесла она. — Ты хочешь сказать…

И вдруг бросилась из комнаты вон.

«Какой же я дурак, — говорил Родионов себе через несколько минут. — И в самом деле, почему не представить государыне наших женщин в том виде, в каком они хотят? Разве они — не самое главное и лучшее, что есть в нашем городе? Как же я мог так обидеть свою Теодору?»

Она лежала на кушетке лицом вниз, плечи ее вздрагивали, а он стоял на коленях и целовал ее руки.

А вот супруга предводителя дворянства Марыля поначалу вообще отказалась показываться императрице. «Толстая я, — сказала она. — Не понравлюсь ей». Впрочем, каждый день открывала шкаф и долго рассматривала свои наряды.

Возник подобный разговор у Ждана-Пушкина и с возлюбленной Аленкой. Последнее время собирать девок на репетицию он отправлял на паре лошадей своего возчика Степана, а после репетиции сам садился на облучок и брал вожжи. Карета была тесновата, на четыре места, но он сажал сразу всех своих девок и развозил их, шумных, поющих, визжащих, по деревням, продумывая дорогу так, чтобы последней оказалась Аленка. В Дубровенском лесу съезжал на обочину, привязывал лошадей и пересаживался с облучка в карету. Хватал Аленку за руки, раз за разом целовал в ладони, а она смеялась и отбивалась, прятала руки, поскольку были они шершавыми и мозолистыми. «Хочешь, я тебя заберу в дом? — предлагал не раз. — Руки будут чистые, мягкие». — «Не, не хочу, — отвечала. — Мне замуж надо, а кто там меня возьмет?» — «Найдем жениха, возьмет». — «Тогда и пойду к тебе».

Последнее время он уже по десяти и даже по двенадцати рублей дарил ей за свидание и любовь.

Хороша была Аленушка, вот только поговорить с ней не о чем. Наверно, даже не понимала, с каким человеком встречается. «Ты знаешь, кто я?— спросил однажды. — Я предводитель дворянства!» — «Кто?» — «Предводитель». — «Ну да, знаю. Главный пан в городе. Грошики у тебя есть!» — одобрительно чмокнула в ухо. «Не называй меня паном. Лучше — барин. А еще

лучше — Матвейкой. Матвеем меня зовут». — «Матвеем? — и вдруг залилась развеселым смехом. — Матвейка!..» Так весело хохотала, что даже обидно стало предводителю дворянства. «Чего ты хохочешь?» — «Так деда моего зовут!» — «Ну и что?» Хохотала, дурочка, на весь лес. И все равно до сих пор ни разу не назвала по имени. «Нравится тебе жить в России? — поинтересовался в другой раз. — Или под польским королем лучше?» — «Нравится, лучше», — ответила. Скорее всего, даже не поняла вопроса. Да и откуда ей знать? Она и родилась-то незадолго до присоединения губернии. А может, и поняла, но интересовало ее иное. «У нас тридцать злотых осталось от Польши. А купить на них ничего нельзя. Поменяешь мне злотые?»

Ах, если бы уговорить ее пойти в дом. Вот было бы счастье.

— Правда, что императрица едет? — спросила Аленка на последнем свидании.

— Правда.

— Вот чудо. И мы будем плясать перед ней?

— Конечно.

— Может, она нам и денежек даст? У нее много денег, правда?

— Да есть, как же. А хочешь, я тебя представлю государыне? — предложил и испугался: вдруг скажет — хочу.

Задумалась Аленка.

— Не, — ответила. — Не надо. Что я ей скажу? В чем покажусь? Наряд нужен хороший. Купишь мне такой наряд? — рассмеялась.

Теперь он промолчал. Но получилось хорошо: он предлагал, она отказалась.

Подвозил Аленку просто к отцовской хате. Денежки, что давал на прощанье, вполне удовлетворяли ее родных. А предводитель чувствовал себя счастливым: красивая была Аленка. Голосистая. И плясала лучше всех. Да и все девки хороши. Есть что показать государыне.

Ночная ваза для государыни

За день до приезда императрицы Андрей Егорович Родионов снова собрал всех чиновников и крепких шляхтичей. «Что мы могли забыть?»

Достал прошлогодний ордер Сената, прочитал по строчкам.

— Почивальный дворец и трапезную с поварней и хлебней построили, посуду приготовили, повара ждут распоряжений. Колодец вблизи дворца выкопали, дороги без ям и рытвин устроили, плошки для костров приготовили, две избы вдоль дороги, которые наводили зрению неприятное безобразие, разобрали. Лошади числом пятьсот пятьдесят приготовлены. Что еще? По этому сенатскому ордеру все сделано, давайте по второму.

Задания второго ордера были поручены гильдейскому старосте Рогу. Он поднялся со своего стула, но молчал.

— Что молчишь? — спросил Родионов.

— А что говорить?

— Все выполнил по ордеру или нет?

— Лимоны не выполнил. Ни в Могилеве, ни в Смоленске нету.

— А вино?

— Есть вино.

— Какое?

— Моей винокурни.

Все молчали.

— Да-а… — пропел Родионов, держа в руке ордер. — Думаешь, государыня станет пить твое вино?.. Может, ужин устроить у Семена Баруха?..

Рог уныло молчал.

— Так… Что дальше? Пиво!

— Не будет пива, котел лопнул… Зато гусей забили тридцать. Хорошие гуси, каплуны.

— Зачем тридцать? Сказано — пятнадцать!

— Пускай будет. Заместо пива.

— Понятно, — прошипел Родионов. — Иди с глаз долой. Ищи котел где хочешь, но чтоб пиво было!

Когда двери за старостой Рогом закрылись, Родионов еще минуту молчал, приходя в себя.

— *…подносить императрице хлеб, вино и фрукты лучшего рода в сосудах, к тому нарочно приготовленных и прилично украшенных,* — глухо продолжил чтение ордера, *— а также музыкой, барабанным боем, ружейной пальбой.*

— Пальба будет как надо, — уверенно заявил Волк-Леванович. — Пушки приготовлены.

— Музыка? — спросил Родионов и посмотрел на Ждана-Пушкина.

— Девки мои будут петь, — ответил тот.

— Так, дальше про богадельни и винокурни, про монахов, чтоб по городу не шатались.

— Игумена предупредил, — заявил Волк-Леванович, — сказал, никого не выпустит.

— Кто его послушает? — воскликнул городничий Радкевич. — Императрица едет! Главное, чтоб пьяных в городе не было.

— Увижу кого пьяным, — сказал Волк-Леванович, — хоть монаха, хоть шляхтича — по шее и в холодную!

— Ну, держитесь, братцы, — вдруг мягко, просительно произнес оберкомендант. — Готовились долго, а испортить можно в один момент.

Все было готово к встрече, каждый знал, что делать, и, наверно, все чувствовали себя более-менее спокойно, все, кроме него. На случай, если императрица будет въезжать в город ночью, заготовлены дрова для костров по обе стороны дороги — на длинную версту перед городом через каждые тридцать-сорок аршин. На рассвете мужики начнут забивать телят и молодых бычков, бить гусей и кур, а повара возьмутся готовить праздничные блюда. Единственно, не приготовили лимоны для императрицы, но если она так любит их, могли бы повара возить с собой, поскольку, в самом деле, — где в Мстиславле лимоны? Без пива свита государыни обойдется, а вот хорошее французское вино будет: еще летом закупил в Могилеве двадцать бутылей французского вина да десять отжалеет скупердяй Ждан-Пушкин. Приготовят повара и гостинцы в дальнейшую дорогу: свежие хлеба, яйца, мясо, твороги и сметаны. Не столь уж долог путь до Новгород-Северска, где предусмотрена очередная остановка и новая перемена продуктов, но мало ли что может стрястись в дороге, пусть будет такой надежный запас.

Печи и грубочку сложил замечательный городской печник Максим Кабанец, украсил немецким кафелем, — а вдруг захочет погреть косточки, не так уж молода она, хозяйка земли русской, хотя думать так, а тем более говорить, нельзя — во-первых, императрица, во-вторых, женщина, а у таких особ возраста нет. Печи уже дважды хорошо протоплены, испробованы на жару и дымность, свежее постельное белье еще раз просушено, кровать императрицы украшена кружевами, матрас и подушка положены пуховые. Не все,

однако, удалось решить к общему удовольствию: к примеру, нужно ли, точнее, можно ли поставить у кровати императрицы ночную вазу? С одной стороны, она — человек, тем более, женщина, с другой — как бы не оскорбить таким вниманием, может быть, есть в ее свите люди, занимающиеся такими вопросами, есть и соответствующая положению ваза. С ней, с вазой, возникла было некоторая проблема. Принес ее городничий, хорошо вымытую, беленькую с синим ободком и цветочками, но ведь — пользованную! Родионов ту вазу отверг с презрением, чем если не оскорбил, то обидел и городничего, и его супругу, но и другие вазы — супруг Ждана-Пушкина, Волк-Левановича, ксендзов и православного батюшки, даже собственной супруги Теодоры — не подошли. Причем обсуждали достоинства и пригодность все вместе, отвергали тоже сообща, и когда Родионов предложил собственную, то есть Теодоры, — редкое было единодушие. Каждый отомстил за себя. В конце концов выбрали две ксендзовские, одна была хороша размером, другая надежностью — днище было широким, и следовательно, устойчивым, с удобными ручками.

Мужиков и баб города и окрестных сел известили, чтобы оделись как можно лучше, стали по обе стороны шляха и кланялись императрице низко, чтобы пели песни, а молодые чтоб и плясали.

Ну и главное — лошади. Одна группа, та, которая привезет кортеж в Мстиславль, будет распряжена и, отдохнув, налегке отправится в обратный путь, в Смоленск, а мстиславские повезут Екатерину в Новгород-Северск. Уже два дня они стоят под попонами на нарочно устроенном огороженном загоне с края города, кормленные сеном с клевером и овсом.

Гостей понаехало как никогда много. Три архиепископа, два помощника губернатора, губернский капитан-исправник со своим помощником, председатель губернского Совестного суда, три могилевских городничих, а кроме того около десяти богатых помещиков, которым хотелось взглянуть на императрицу, чтобы потом всю жизнь рассказывать об этом событии детям и внукам, ну и несчитано мелкой шляхты… Все считают себя важными птицами, требуют внимания и заботы. Городничие даже успели поссориться между собой и со Жданом-Пушкиным: ему было поручено устраивать гостей, и предводитель предложил им купеческие дома, но жить с купцами гости были совсем не согласны. Пусть в более бедных домах, но — у шляхты. Меньше всего хлопот оказалось у архиепископов: они устроились у своих священников. Не оказалось в Мстиславле униатов, и потому не было священника, но и его приютил ксендз-католик.

Приехал неожиданно губернский прокурор Иван Голынец, чем и обрадовал, и озадачил Ждана-Пушкина. Связывало их некое приключение, случившееся в минувшем году. Голынец приезжал в Мстиславль с инспекцией по жалобе шляхтича Гусинского, вины никакой за предводителем не нашел, помирил их в Совестном суде, а перед отъездом в Могилев Ждан-Пушкин пригласил его на пикник в Лютненском лесу, привез и своих голосистых девок. Нет, ничего особенного на пикнике не случилось, ну разве что, увидев Аленку, Голынец сильно загрустил, даже затосковал. Весь день заикался: хотел что-то сказать, а не мог. Но наконец все же прошептал: «Отдай мне Аленку». — «Ну что вы, — ответил Ждан-Пушкин. — Как можно? Нет, Иван Сергеевич, не отдам». — «Отдай! Не драться же нам на дуэли из-за холопки!» — «Какая дуэль! Засмеют нас и в Могилеве, и в Мстиславле…» Впрочем, протрезвев, Голынец больше об Аленке не говорил, но как-то уж очень подозрительно и упорно молчал. Не за ней ли приехал теперь?

При встрече обнялись, коснувшись друг друга бакенбардами, взглянули в глаза друг другу, и Ждан-Пушкин понял: не ради Екатерины Алексеевны прибыл в Мстиславль тоскливый прокурор. Глазами же и ответил: не отдам, хоть застрели меня, не отдам.

Проснулся Андрей Егорович рано, подскочил, словно его подбросило, словно ударило снизу, стоял у кровати, придерживая руками панталоны, не в силах уразуметь, что случилось, что он должен делать.

— Спи, рано еще, — пробормотала супруга, и он упал на кровать, рухнул, почувствовав, как устал за эти дни, и облегчение, что может еще поспать.

Что же его подняло? Ах да, привиделся сон, и прескверный: будто Волк-Леванович с городовыми готовит покушение на императрицу. «О боже, — подумал он. — Какая глупость!» Рухнул на кровать с желанием закрыть глаза и спать, спать, спать, но бились в тяжелой голове мысли, трепетали в глазах какие-то картинки, и сон уходил, отлетал, уплывал. Он поднялся, осторожно, чтобы не беспокоить супругу, вышел в другую комнату, умылся и скоро почувствовал прилив энергии, бодрости, желание куда-то мчаться, распоряжаться, действовать.

Вышла и Теодора следом, на ходу расчесывая волосы, она всегда поднималась почти тотчас за ним и не казалась сонной. Показалась в двери и Агрипка: «Барин, чай подавать?» И эта, всегда сонная по утрам девка нынче была уже умыта, причесана и бодра. В детской послышались голоса: «Государыня, матушка, императрица!..» Что ж, значительный день для всех.

— Ты беспокойно спал, — сказала Теодора.

— Видел во сне Волк-Левановича.

— Кого?

— Будто бы готовил покушение на государыню.

Теодора рассмеялась. Смех у нее был негромкий, но звонкий, смеясь, она запрокидывала голову, лебединая шея изгибалась — Родионов глядел на нее и чувствовал, что не в силах отвести взгляд.

Ответственный день, а может, и судьбоносный. Рассчитывать на внимание императрицы, конечно, не приходилось, но приедет губернатор, Николай Богданович Энгельгард, который и послал его обер-комендантом в Мстиславль несколько лет назад, и если встреча пройдет без сучка и задоринки, может опять измениться его судьба. Пятьсот рублей выплачивает ему казначейство, совсем неплохо, значительно больше, нежели он может истратить в Мстиславле, и город этот нравится и ему, и супруге, и авторитет у него образовался высокий, но родина его — Могилев, он бы с радостью возвратился, тем более что, по всей видимости, Николай Богданович вот-вот отправится в Петербург, и, возможно, там ему потребуется кто-то из верных людей. Почему не он?

Он отправился в управу благочиния и увидел, что уже явились сюда Радкевич, Волк-Леванович и, конечно, противный Ждан-Пушкин, хотя этот вполне мог бы еще и поспать. Всегда лезет под руку со своими бакенбардами, мнениями и сомнениями, но и прогнать невозможно: шляхтич. По виду городничего и капитан-исправника было понятно, что тоже не выспались, а Ждан-Пушкин, напротив, отлежал бока, тщательно расчесал бакенбарды, замаскировал и пригладил лысинку и теперь, весьма довольный, улыбался, выглядел сытно и красиво, как добротный пасхальный кулич. Что ему? Если что-то непредвиденное — не ему отвечать. Городничий и капитан-исправник тоже улыбались, но с волнением, и городничий даже потянулся навстречу и обнял его, не то поздравляя с важным событием и достижением, не то выражая сочувствие.

— Ну что вы так рано, господа? — с заметным раздражением от того, что пришли они раньше его, спросил Родионов.

— Как же, — ответил за всех Ждан-Пушкин. — Великий день!

Рыжие бакенбарды его пылали ярче обычного — вот-вот вспыхнут живым огнем.

«Великим днем он станет завтра, когда все будет позади, — подумал Родионов. — А сегодня — трудный».

Вспомнил ночной сон и взглянул на капитан-исправника: выглядел он так, словно спать ему не довелось ни минуты.

— Неважно выглядите, капитан, — сказал он. — Плохо спалось?

— Да вовсе не довелось, Андрей Егорович. Всю ночь собирал с городовыми подозрительных. Натолкал полную холодницу.

«Ну и глупо», — подумал Родионов.

Он и прежде относился к Волк-Левановичу с подозрением: должность исполнял хорошо, но любви к новой великой родине в нем не чувствовалось. Пятнадцать лет прошло, а он по-прежнему говорит с сильнейшим акцентом, пишет по-польски, приходится его переводить. Тоже и Радкевич, его явный союзник и друг. Семьями ходят и на воскресные прогулки, и в костел. И русского слова от них — когда они вместе — не услышишь. Даже дети их говорят по-польски. Взглянул на Радкевича:

— Вам тоже не спалось?

— Да уж какой сон! — радостно воскликнул тот, словно в этом была заслуга.

Нет, видно, напрасные его терзали сомнения. Все смотрят в глаза, все задачи выполнены, все должно быть хорошо.

Только один вопрос еще беспокоил обер-коменданта: где ему находиться? При въезде в город встречать государыню или у почивального дворца? Решил так: при въезде, а затем сесть в легкие сани и мчаться следом, чтобы оказаться у дворца в нужный момент.

В карете императрицы

— Ну, что дальше? — спросила Екатерина Алексеевна.

— Обед в Хославичах у графа Салтыкова, потом — Мстиславль, — ответил Безбородко, гофмейстер, граф Священной Римской империи, постоянный секретарь императрицы. — В Мстиславле представление чиновников губернии, ужин и отдых.

— Там тоже будет такое солнце? Если бы не доктор Роджерсон, я бы ослепла. А снега, снега!..

До Мстиславля от Смоленска примерно сто верст, потому, поднявшись как обычно в шесть, скоро и выехали. Толпа провожавших собралась изрядная, но простились быстро: за шесть суток, что провели в Смоленске из-за болезни Дмитриева-Мамонова, все успели сказать государыне и она им.

— Как ты думаешь, мы им надоели за неделю?

— Как можно, Екатерина Алексеевна?

— Еще как. Гости хозяевам надоедают скорее, нежели хозяева гостям. А мне они надоели до чертиков. Особенно дамы.

В свою карету она пригласила кроме Безбородко и де Линя двух фрейлин, Браницкую и Скавронскую. Хорошо знала, что мужчины без женщин скучны, а женщины без мужчин глупы. По той же причине и тасовала их каждый день в своей карете.

— О, дамы невыносимы! — воскликнули фрейлины.

— А мужчины? — улыбнулась Екатерина Алексеевна.

— По крайне мере, танцуют если не лучше, то старательнее, нежели петербуржцы! — заявила Скавронская.

Балы смоляне давали почти каждый день-вечер, так что составить мнение о тамошних кавалерах можно было вполне.

— Нет, все же танцевать всю неделю — скучно, — заметила Браницкая.

«Конечно, — хотелось сказать Скавронской, — особенно, когда все кавалеры — мои».

Обе они готовы были взять разговор на себя, но государыня снова обратилась к Безбородко:

— Ну а что пишет о Мстиславле Карл Габлиц?

Безбородко достал из дорожной сумки довольно толстую рукописную книгу, тщательно исполненную.

— Основан смоленским князем Ростиславом. Из особо значительных князей Симеон Лугвений, сын его Юрей, Михаил Жеславский по прозванию князь Мстиславский.

— Все литовцы?

Ответа Безбородко не знал и промолчал.

— Два православных храма, три православных монастыря, — продолжил чтение. — Есть иезуитский монастырь и костел кармелитов.

— Откуда столько монахов? Или, как сказал царь Петр: не молиться бегут, а хлеб есть?

Вопрос пояснений не требовал, и Безбородко опять промолчал.

— Униаты тоже есть?

— В городе нет, но в уезде сохранились две-три униатских церкви. Переход к России люди восприняли одобрительно.

— Откуда известно?

— Православный город, государыня.

Екатерина Алексеевна согласно кивнула, такой ответ ее удовлетворял.

— Бывал в Мстиславле царь Петр. Молился в Тупичевском монастыре перед сражением в Добром.

Императрицу это сообщение заинтересовало, а вот голубоглазая и рыжеволосая красавица Скавронская поморщила носик: что за разговор? Браницкая тотчас насмешливо взглянула на нее, словно хотела сказать: тебе, милая, поговорить бы о платьях типа «фурроро-форме», о бантиках, о кружевах и фижмах. Для Скавронской стал, конечно, большим огорчением указ императрицы о введении мундиров и жакеток для чиновников и дворян с дворянками «...к сбережению собственного их достатка на лучшее и полезнейшее и к отвращению разорительной роскоши». Впрочем, возможность для фантазий сохранялась. По крайней мере, продолжала надевать туфли с красными каблучками, что указывало на знатность.

— Из природных древностей Замковая гора, Девичья, — продолжал Безбородко. — Река Вихра, неподалеку Сож. Озер мало, самое крупное — Святое озеро. Говорят, вода в нем лечебная.

— Вот если бы лето! — воскликнула Скавронская. — Обожаю купание на природе!

— Да уж! — неопределенно отозвалась Браницкая.

— Нет, в самом деле! Что может быть приятнее?

— Особенно, если рядом фавны.

— Ох, ох, ох! — отозвалась Скавронская. Дескать, во всем ты, старая перечница, видишь срам.

«Перечнице» было тридцать три года. И Екатерина Алексеевна считала, что она умнее всех ее фрейлин разом. Зато Скавронская была красивее всех. Что важнее — большой вопрос. Впрочем, не для всех. К примеру, для Безбородко, судя по тому, как — пусть и вскользь — он поглядывал на Скавронскую, такой вопрос не существовал. Но куда там Безбородко! Три принца из свиты — де Линь, Луи Сегюр, Фиц Герберг — ухаживали за ней.

— Кто сегодня начальники города? — спросила государыня.

— Обер-комендант Родионов, предводитель дворянства Ждан-Пушкин, городничий Радкевич, капитан-исправник Волк-Леванович.

— Городничий и исправник — ляхи?

Безбородко молчал.

— Да нет, мне все равно, — произнесла государыня и передернула плечами. Кому было адресовано это движение, Безбородко или «ляхам», осталось неясным.

Безбородко знал, что государыня верит в любовь народа к себе, но понимает, что поляки, особенно теперь, после раздела Польши, любить ее не могут. Впрочем, на тех, кому была не мила, государыня не обращала никакого внимания.

— Если город основал князь Ростислав, значит, земля была русской, не так ли? — вдруг произнесла Екатерина.

Задавать вопросы в форме ответов было обычным для нее, и Безбородко ждал следующего. Женщины тоже молчали: не их касается. Однако по глазам Браницкой было понятно, что имеет какое-то свое мнение, а вот Скавронская отвернулась к окну: терпеть не могла умные разговоры, даже если говорила императрица.

— Что же тогда Крушинский? — последовал новый вопрос. — Вольтер писал мне, что Крушинский считает всю Могилевскую губернию, да и Смоленскую, Брянскую, литовской, а значит польской. Как вам нравится?

— Да, я знаю его мнение, — отозвался Безбородко.

Глаза Браницкой говорили, что она готова вступить в разговор, а Скавронская опять с едва заметной иронией наморщила носик: о, Вольтер! Все нынче, от титулярного камергера до действительных тайных советников и даже императрицы, при каждом удобном случае поминают это имя.

— Хотя понятно. Крушинский друг не только Вольтера, но и Понятовского. Поляк есть поляк.

Вот теперь все дружно закивали, заулыбались: польский патриотизм — и простых панов, и бывшего короля Станислава Понятовского — был притчей во языцех. Все готовились вступить в разговор, обсмеять поляков, но Екатерина Алексеевна вдруг к этой теме потеряла интерес.

На изгибах дороги, на поворотах, Екатерина Алексеевна выглядывала в окошко и, увидев растянувшийся на версту поезд среди заснеженных полей и лесов, улыбалась.

— Красиво, — говорила она.

Все кивали: конечно, красиво. Семь лет назад Безбородко сопровождал государыню в Могилев на встречу с императором Францем Иосифом, и государыня также с любопытством выглядывала в окно, а порой даже просила приостановиться: все же то были вновь присоединенные к России земли. «Возвращенные», — говорили при Дворе. Поездкой и встречей с императором Екатерина Алексеевна была довольна: речь шла о будущем Польши, пусть и далеком, и, конечно, о турках. Доволен был и Безбородко. Со своей задачей советника он справился хорошо, и вскоре государыня наградила его титулом графа Священной Римской империи. Но не только в почетном титуле дело: отныне все дела, касающиеся иностранной коллегии, шли через него.

Порой мужики сопровождения вдруг поднимали пронзительный свист, тогда все выглядывали в окна и видели то зайца, несущегося через дорогу, то семейку легких косуль, то огромного лося, замершего на опушке.

А вообще было скучновато. В полдень Екатерина Алексеевна предложила сыграть в карты, и так провели время до Хославичей. Обед у графа Салтыкова был скорый, хотя наготовлено было празднично много, а чтобы граф не обиделся, Екатерина Алексеевна два раза — до обеда и после — улыбнулась старику, поговорила с ним о красоте нынешней зимы на Смоленщине и пригласила прокатиться с ней до Мстиславля. Однако граф благодарно отказался, был стар для таких скачек. Что касается мужиков сопровождения, их на обед не позвали, для них столы не накрывали, но всем дали по хорошему куску хлеба и говядины.

После обеда государыня и Безбородко, и Браницкую со Скавронской отослала в свои кареты, намереваясь почитать, — везла в карете небольшую дорожную библиотеку — да и подремать: предыдущая ночь оказалась короткой.

«Яко жених из чертога своего!..»

Накануне Родионов приказал пушки выкатить по обе стороны дороги при въезде в город. Наготове должны быть и звонари. Капитан-исправник выставил конный пост у деревни Саприновичи, чтобы знать, когда появится кортеж императрицы.

Пост этот, однако, не послужил: в пятом часу два скорохода из кортежа императрицы прискакали в город, сообщив, что ждать государыню следует самое позднее через час. Сразу же помчались гонцы с факелами зажигать костры вдоль дороги. Еще два скорохода прискакали за полчаса до появления кортежа. И, наконец, показались передовые всадники на холме за рекой.

Андрей Егорович почувствовал, как сильно забилось сердце. Вот он, может быть, самый исторический в его жизни час.

Когда всадники проскакали мимо переднего поста и карета императрицы, запряженная тридцатью лошадями, тоже поднялась на городской холм, по знаку капитан-исправника ударили обе пушки, зазвонили колокола всех храмов, взлетели ракеты фейерверка. Люди — мужики, бабы, служивые люди и шляхта — стояли вдоль всей дороги до самого опочивального дворца.

Карета государыни была огромной, с двумя окнами на каждой стороне, украшенная фамильным вензелем и российским гербом, с бархатным подножием. Сани, на которые ее водрузили, тоже впечатляли: высоко загнутые широкие полозья, подбитые полосами тонкого железа; на облучке в теплом российском армяке с красным кушаком восседал бородатый кучер, два форейтора в треуголках с косой высились на первой паре коней.

Девок своих в новых полушубках и цветных платках Ждан-Пушкин поставил недалеко от входа во дворец, и как только открылась дверь кареты и показалась государыня императрица, по его знаку девки запели-затанцевали. Государыня, по-видимому, не ожидала, приостановилась, заулыбалась, и это еще более вдохновило девок, уж так пели-вертелись, как никогда прежде. И Ждан-Пушкин, конечно, улыбался: попал в цель, удивил, угодил. Наконец государыня удовлетворилась их песнями, обернулась к людям, толпившимся вокруг, помахала им рукой. «Матушка, государыня наша, Екатерина Алексеевна, со счастливым прибытием!..» — слышалось здесь и там. Ей определенно нравилась встреча, и хотя свита, тоже улыбаясь, уже стояла у дверей дворца, предоставляя императрице войти первой, она не торопилась.

Пользуясь паузой, гофмейстер Безбородко сообщил Энгельгарду, а Энгельгард Родионову, что императрица отправится на отдых в девять вечера,

а посему костры должны быть к этому времени погашены, всякие песни прекращены. Поднимется она в шесть утра, совершит туалет в течение тридцати минут, примет его, Безбородко, с делами, позавтракает, простится с хозяевами города и людьми, а в девять утра продолжит путь.

Точно в девять!

Накануне приезда императрицы возник вопрос: кому сказать приветственное слово? В какой очередности? Конечно, должны были произнести недлинные речи три архиепископа: Конисский, Богуш-Сестренцевич, Лисовский. Также многие иные, не знаменитые, желали бы поклониться Екатерине Алексеевне, показаться ей на глаза, хотя лично для себя никто не ждал каких-либо благ или наград, кроме, конечно, права гордиться перед современниками и потомками.

— Думаю, первым следует говорить вам, Ваше Святейшество, — обратился Николай Богданович Энгельгард к Георгию Конисскому. — Город Мстиславль в основном православный, царица наша тоже православная... Вы старейший из нас, вам и говорить.

Конисский согласно кивнул. Он очень хотел сказать слово Екатерине. Это будет, конечно, последнее его обращение к ней, поскольку короток срок пребывания на земле человека — и архиепископа, и царицы. Хотел передать и свое, и всего православного люда восхищение и любовь, передать так, чтобы она почувствовала его.

Пришло время думать о главном. Собственно, с самого раннего детства он никогда не забывал об этом, знал, что *придет час*, менялись только слова, которые хотел произнести на прощание. Сперва едва не со слезами на глазах: «Если Ты бессмертен — сделай бессмертным меня!» Потом — «Спаси, Господи!» Еще позже — «Продли!» То было время несогласия и себялюбия. Но уже давно пришло время смирения. Он давно знал, что скажет, когда придет час: «Спасибо Тебе за жизнь. Прости, что не оправдал надежд».

Вечером он долго молился о завтрашнем дне, благодарил Бога и Матерь Божью за возможность выступить перед царицей, и хотя примерно знал, о чем будет говорить, просил убедительного слова, ясного ума, сильного голоса.

* * *

— Оставим астрономам судить, солнце ли около нас ходит, или мы с землею около него обращаемся. Наше солнце около нас ходит! — Голос у него был сильный, несмотря на возраст, а старые глаза сияли, как пятьдесят лет назад, во время пострижения. Он знал, что произнесет хорошую речь, она запомнится и царице, и всем присутствующим. — Исходиши, премудрая монархиня, яко жених исходяй из чертога своего! От края моря Балтийского до края моря Евксинского шествие твое, да тако ни един укрыется благодетельныя теплоты твоея. Тецы убо, о солнце наше, спешно! Тецы исполинскими стопами! — Он не просто приветствовал и славил Екатерину, он прощался, зная, что больше не увидит ее. Не только его, но и ее великая жизнь поворачивала к вечности. Как продлить ее? — К западу только жизни твоей не спеши, ибо воскликнем мы, как Иисус Навин: стой, солнце, и не движися, донеже вся противная намереньям твоим победиши!..»

Закончить речь ему не удалось: слезы брызнули из глаз старика. Повлажнели глаза и у несентиментальной императрицы. С нежностью и доброй улыбкой глядела она, как он утирает глаза большим мятым платком, затем обратила лицо к принцу Карлу де Линю, который с удовольствием исполнял в

ее свите роль казначея, и едва заметно кивнула. Де Линь тотчас запустил руку в сундучок, где хранились кошельки для подарков встречающим, положил его на серебряное блюдо и с поклоном протянул архиепископу.

— Тысячу рублей дарит вам милостивая императрица, — на ужасном русском языке произнес он.

Но даже если бы эта фраза прозвучала без всякого акцента, или на латинском, немецком, польском, греческом, древнееврейском, которыми преосвященный Георгий хорошо владел, не знал бы, как поступить. Он отшатнулся в первое мгновение, поскольку никак не ожидал подарка, тем более столь щедрого, и тут же услышал уже настойчивый голос принца де Линя:

— Возьмите, Ваше Преосвященство.

Он взял подарок и стоял, склонив голову, чувствуя, как дурно выглядит с кошельком в руке, но и не решаясь опустить его в карман. А ведь столь щедрый подарок был кстати: всю жизнь он мечтал и копил деньги на свою мечту: построить храм во имя своего небесного покровителя Георгия Победоносца. И вот теперь стоял, вытирал о кошелек внезапно вспотевшие ладони. Выручил Богуш-Сестренцевич.

— Всемилостивейшая государыня Екатерина Алексеевна! Нет в Европе более популярного монарха, нежели Вы, наша Российская императрица! Завидуют нам и немцы, и французы — все, кто знает или хотя бы слышал о Вас. — Легкий польский акцент вызывал у присутствующих особенный интерес и внимание. — Мы гордимся тем, что живем с Вами в одном времени, счастливы тем, что можем лицезреть Вас. Христиане всех конфессий молятся и благословляют Вас. Как много разрешилось проблем по Вашей высочайшей воле. Все мы: православные, католики, униаты ныне спокойно смотрим друг другу в глаза, понимаем, что молимся одному Богу. Будьте же счастливы в великих делах Ваших!

Сказали слово и униатский архиепископ Лисовский, и генеральный викарий иезуитов Ленкевич.

Наконец и обер-комендант, господин Родионов, дождался своей очереди.

— Ваше Императорское Величество! Есть светлые минуты в жизни каждого человека, но есть светлые минуты во всеобщей жизни людей. Вот они, эти минуты, часы и дни. В середине минувшего года пришла благая весть о том, что Вы проедете через наш город. Исполнились наши ожидания: Вы здесь, в древнем городе Мстиславле! Самые далекие потомки наши будут удивляться и радоваться за нас. Судьба благосклонна к нам! Не передать словами, как мы ждали Вас! «Дождемся ли?» — вопрошал и стар и млад. Но минуло томившее всех ожидание: Вы с нами! Как доказать Вам нашу любовь и преданность? Не обильны, быть может, наши закрома, но сильны и богаты чувства. Выразим же, сограждане, свою радость и ликование: ура!

Видно, и в самом деле всех присутствующих томил восторг, потому что грянули единодушно. Конечно, императрица слыхала и более вдохновенные слова, но, видимо, витало здесь, в Мстиславле, что-то необычное, и некое особенное чувство, сродни благодарности, запечатлелось в ее лице, она снова обратилась к де Линю и что-то шепнула ему на ухо. В лице де Линя, которому вообще-то не было никакого дела до города Мстиславля, опять отразилось удовольствие. Он снова взял серебряное блюдо, положил на него кошелек.

— Преславному городу Мстиславлю! — картаво произнес он.

Обер-комендант — не архиепископ Конисский, не отшатнулся, ни на малое мгновение не смутился — цапнул кошелек, словно ждал такого подарка и опасался, что кто-нибудь, например, шустренький Ждан-Пушкин, его опередит.

— И триста рублей Государыня Императрица жертвует Тупичевскому монастырю!

Ага, значит, не зря в описании города, сделанном в минувшем году для академика Габлица, они упомянули Тупичевский монастырь и сделали приписку о его бедственном положении.

И тут сразу, как по команде, а может, и дал знак предводитель, любитель музыки и народных плясок, мечтавший устроить театр в городе, как устроил Энгельгард в Могилеве, или Зорич в Шклове, да кишка тонка, — в смысле кошелек тощ, — опять запели и затанцевали девки, закружились, заголосили. Горели шесть костров вокруг площади, тени метались по белому снегу, и на лице императрицы отразилось явное удовольствие. Она даже вынула руки из теплой меховой муфты и похлопала девкам, конечно, тотчас захлопали все. А громче всех Ждан-Пушкин, как будто это он пел и плясал.

— А теперь просим, Екатерина Алексеевна, на скромный ужин! — произнес Родионов и простер руку к дворцу.

Столы были уже накрыты, но тут Безбородко сообщил Энгельгарду, а Энгельгард, как обычно, Родионову, что императрица ужинать будет на своей, привезенной посуде, так что возникла минутная суета с переменой.

Зорич, разумеется, тоже появился здесь, но добиваться права сказать свое слово не стал, ему это было ни к чему: Екатерина Алексеевна сама заметила его, улыбнулась и подозвала к себе. Говорили они вполголоса, никто не расслышал о чем. А когда прощались, на лице государыни ничего нельзя было прочитать, а вот Зорич казался сильно воодушевлен. Все, конечно, слышали об их когдатошней нежной дружбе, слышали и о том, что быстро государыня утомилась от лихого генерал-майора, а избавилась от него, подарив Шклов, потому и глядели на них во все глаза. Глядели, да ничего не выглядели: поговорили, улыбаясь друг другу, и простились. Не то было, когда приезжала Екатерина Алексеевна в Могилев и в Шклов. Что ж, доходы теперь у Зорича не те. Бывало, держал кадетское училище для неимущих дворян, открытый стол — входи и наслаждайся, императрицу в Шклове встретил иллюминацией, шумным маскарадом, устроил и театральное представление. Мстиславль для него чужой город, да и задача перед государыней иная, зачем ей сейчас маскарад? Маскарады будут уже в Тавриде, и устраивать их станет сам князь Потемкин.

Царица согласно кивнула и шагнула к почивальному дворцу. За ней охотно повалила вся ее изголодавшаяся свита. То были принц австрийский Кобенцель, французский Луи Сегюр, английский Фиц Герберг, принцы Карл Иосиф де Линь и Карл Генрих Насау-Зинген, добрых два десятка своих придворных, ну и конечно, стайка роскошных дам: фрейлины Браницкая, Скавронская, Протасова, Чернышева… В общей сложности в кортеж императрицы входило тридцать два высших чиновника.

Вместе с белорусскими гостями и самыми значительными лицами города за столом оказалось около пятидесяти человек, и все с любопытством изучали закуски.

Ни у пяти поварех, которых в самом деле Родионов привез из Могилева, придав им в помощницы своих поварят, ни у городничего, ни у Ждана-Пушкина, ни у самого Родионова или даже у Энгельгарда не было представления, что такое царский ужин, и повара наготовили столько, что хватило бы и лакеям, и форейторам, парикмахерам, камердинерам, музыкантам, скороходам и прочим — всего было за двести человек. Этих гильдейский староста Рог повел в большую трапезную.

Императрица, вошедши, на минуту задержалась, оглядывая столы, и направилась в центр, свита тоже недолго топталась у порога, видимо, места каждого

были изначально расписаны, а вот хозяева — три архиепископа, обер-комендант Родионов, городничий Радкевич, предводитель Ждан-Пушкин, капитан-исправник Волк-Леванович и несколько помещиков, которых никто не приглашал, однако прорвались, столпились при входе. И тогда Безбородко сделал им знак рукой, показав на десяток свободных мест с краю столов, дескать, смелее. Тотчас они шумно направились к свободным стульям и, наверно, правильно сели, потому что Екатерина Алексеевна поощрительно улыбнулась, и Безбородко тоже кивнул лысеющей головой. Наконец все уселись, и все были довольны, а если недовольны, то выяснится это потом, позже, когда пройдет время и все вспомнят, кто на что мог претендовать и что получил вместо желаемого и ожидаемого. Самое неприятное для Родионова было в том, что прорвался на ужин пан Чубарь, хотя пожалел для императрицы своих породистых лошадей.

Однако прежде ужина произошло представление императрице самых известных людей губернии и Мстиславского уезда. Губернатора Энгельгарда Екатерина знала и помнила — она редко забывала тех, кто однажды появлялся перед ее глазами, тем не менее, видимо, по протоколу, его все же представил Безбородко, а далее знакомство вели Энгельгард и обер-комендант Родионов. Каждый из представленных делал шаг к императрице, кланялся, а когда дошла очередь до Ждана-Пушкина — этот не утерпел и сделал два шага, а поклонился глубже и преданнее других, махнул рыжей шевелюрой так, что пламя свечи возле государыни заколебалось. Уши у него от удовольствия и волнения горели и, наверно, светились бы в темноте.

Почувствовав по заминке, что представление закончилось, Екатерина Алексеевна сделала удивленный вид:

— Это все, господа? А ваши дамы?

И все присутствующие посмотрели на Родионова, а Родионов на свою супругу. Теодора тотчас шагнула вперед, сделала глубокий реверанс, поймала улыбку государыни и бережно понесла ее обратно, к другим дамам, ожидавшим своей очереди.

— Госпожа Родионова, моя супруга, — не без смущения объявил обер-комендант.

— Браво, — негромко произнесла Екатерина Алексеевна.

Так же негромко повторили «браво» и дворцовые фрейлины Протасова, Скавронская, Браницкая, Чернышева…

Затем выступили супруги городничего, предводителя и капитан-исправника, и всякий раз государыня произносила «браво».

Екатерина ела мало, как шепнули Родионову, она и вообще чаще всего не ужинала, обойдясь стаканом воды с каким-нибудь соком или фруктами. Так же и теперь — взяла стакан молока. Этим она немало смутила хозяев, которые поначалу сочли это за пример поведения, и только увидев, как охотно ужинает свита, позволили и себе пододвинуть тарелки.

Прощание.
Посуда на память, горсть золотых монет

Поднялась императрица как обычно в шесть утра, выглянула из дворца, поглядела на звезды от края до края неба, каких, конечно же, не бывает в сыром Петербурге, зябко повела плечами и возвратилась во дворец.

Завтракала она в одиночестве и мало: выпила несколько чашек очень крепкого кофе да съела гречневую кашку с маслом. Два раза в неделю она постилась, хотя вообще любила мясные жирные блюда. Зато свита и мужики сопро-

вождения отъедались в трапезной на всю оставшуюся жизнь. «Зачем столько всего приготовили, если следующая остановка в Кричеве, через тридцать пять верст?» — спрашивал себя Родионов, глядя, как мужики грузят окорока, масло, несут бочонок с сельдями в сани, нарочно для такой цели приготовленные. Хотя, возможно, Кричевский обер-комендант не был озабочен такими приготовлениями, возможно, приказ из Сената Мстиславлю — особая честь и милость… Еще и тем был огорчен обер-комендант, что императрица не выказала желания посмотреть город, следовательно, не оценила его усилий. Кто теперь расскажет ей о том, как строили мосты, дворец, как раскапывали и мостили дороги, как сушили порох и катили пушки, как ездили за фейерверками в Смоленск, как собирали лошадей по всему уезду, как отбирали к высокому столу кур, гусей, телят и бычков… Хотя понятно, что рассказывать обо всем этом, Родионов не стал бы: иные у Екатерины Алексеевны заботы. Она возвратилась во дворец и вместе с Безбородко занялась чтением писем, догнавших ее в пути.

В восемь утра у дворца началась суета: во-первых, возницы выстраивали в ряд кареты и просто рабочие сани с кибитками — четырнадцать и сто шестьдесят четыре, поругивались между собой, требуя места; во-вторых, опять стали собираться люди, и старые, и малые, чтобы еще раз взглянуть на императрицу, проститься с ней. Явились, конечно, и первые дамы города в лисьих, беличьих, песцовых шубах, прибежали девки Ждана-Пушкина, плясавшие и певшие вчера для императрицы. Впереди колонны вертелись на сытых нетерпеливых лошадях два скорохода. То были лошади Радкевича, и он с удовольствием и беспокойством поглядывал на них.

Простые мстиславские кони в сверкающей сбруе царских конюшен и подседельные лошади для форейторов выглядели хорошо. Появилась и стать, и осанка. «Бедные наши лошадки, — наверняка думали жители города, глядя на них. — Никогда больше вам не иметь таких праздничных одежд…» Кучеры и форейторы императорской тридцатки были очень важны, даже неприступны для местных мужиков и ребят. И в самом деле, не так просто подогнать упряжь, правильно, с равномерной нагрузкой на гужи запрячь цугом тридцать лошадей. Позади кортежа стояли кибитки, битком набитые веселыми местными мужиками, которым предстояло ехать до Новгород-Северска, а там забрать лошадей и вернуться в Мстиславль. Следующий этап путешествия обеспечит тамошний обер-комендант.

Немалое удивление у жителей вызвали два императорских арапа. Впрочем, именно в этом — удивлять простых людей — по-видимому, и состояла их роль: улыбались, демонстрируя крупные белые зубы, смешно таращили глаза, показывая белки.

Отъезд был назначен на девять утра, но до девяти оставались минуты, а императрица не выходила из дворца. Свита сопровождения знала, что Екатерина Алексеевна требует выезжать точно в назначенное время и всякое промедление портит ей настроение, — и встревожилась. Озабочены были и городские чиновники, и гости из Могилева. Оказалось, пользуясь всеобщей спешкой и суетой, к императрице, скорее всего, через кухню, прорвалась-таки известная в городе мещанка, соломенная вдова Кукуриха (муж сбежал сколько-то лет назад в белый свет от крикухи и ругательницы), рухнула на колени, заплакала-зарыдала и начала жаловаться на всех: на обер-коменданта, на городничего, на сбежавшего супруга, на предводителя, на капитан-исправника, и горько плакалась до тех пор, пока императрица не приказала дать ей немного денег. В одиночестве стоял губернатор Энгельгард, поглядывая на часы, — ему предстояло сопровождать императрицу до Новгород-Северско-

го; не слишком близко друг к другу замерли три архиепископа, ну и неподалеку от входа-выхода из дворца толпилась свита, чтобы поприветствовать императрицу и отправиться к своим каретам. Еще и потому ждали, что знали: матушка не любит путешествовать в одиночку, карета у нее на восемь человек, имеется небольшой кабинет с библиотечкой, игорный стол, а попутчиков на каждый участок пути она приглашает сама. И это будет для кого-то очередной радостью, а для кого-то — разочарованием. Впрочем, иной раз, утомившись от досужих разговоров, она выставляла из кареты всех.

Отдельной группой стояли городские чиновники.

— Интересно, обратно государыня снова поедет через Мстиславль? — озабоченно пробормотал Радкевич.

Все заинтересованно посмотрели на обер-коменданта, поскольку он был ближе всех к губернатору, а губернатор — к императрице.

— Нет, насколько я знаю, обратно поедет другим путем, — ответил Родионов, и все тотчас повеселели. Оно и понятно, очень любим матушку-императрицу, но так много забот-хлопот вызвал ее приезд, да и расходов, что пусть она, любимая, едет иным путем. Надо же и другим людям повидать ее, подивиться, порадоваться.

И вдруг Родионов охнул и кинулся к Безбородко. Посуда! Императорская посуда осталась на столе. «Не волнуйтесь, — ответил Безбородко. — Это на память городу».

Но вот и появилась — в суконном кафтане на меху, со шнурами впереди, в высокой собольей шапке — императрица. Восхищенный ропот пронесся вдоль улицы. Минуту постояла на крыльце, позволяя себя рассмотреть и запомнить, и наконец шагнула к карете. Тут-то и грянули девки песню — так, что императрица заулыбалась и приостановилась на одну минуту, а принц де Линь вдруг сыпнул на них горсть золотых монет. С визгом кинулись девки поднимать их, смяли песню. Но тут снова зазвонили колокола, ударили обе пушки, взлетели ракетки. И это был самый счастливый момент: все закончилось благополучно. Все хлопоты и тревоги позади. Больше на нашей жизни не повторятся. Великое событие, но — больше не надо. Теперь будем вспоминать и рассказывать — детям, внукам, правнукам, но переживать такое еще раз — не хотим, не надо. Слишком велика честь.

Освободившись от обязанности опекать Безбородко, к Родионову подошел Энгельгард.

— Все хорошо, — шепнул он. — Государыня довольна.

А минуту спустя приблизилась Теодора. Судя по лицу, была она сильно взволнована.

— Молодец, — сказала она. — Я тебя люблю.

И тотчас исчезла. Походка у нее была легка, как у подростка. Разве может такая женщина любить его?

И Родионов подумал, что ни мнение сотен гостей, ни мнение губернатора, ни даже самой императрицы не так важно для него, как мнение этой маленькой женщины, его жены. И если счастье может иметь вид или звучание, то вот оно, только что мелькнуло перед ним.

18 января в 9 часов 15 минут, растянувшись на полверсты, императорский кортеж двинулся в сторону Кричева. Разъехались и почетные гости города: архиепископы, помощники губернатора, предводители дворянства губернии, заседатели Совестного суда, священники ближних и дальних приходов, торговые депутаты, старшины купеческих гильдий… Кто на почтовых, кто на собственных тройках.

И еще, говорили, один человек исчез из города в тот день: Ривка. Будто бы приезжал поглядеть на императрицу немец-розмысл, но не на почтовых, а в собственной двухлошадной кибитке, и увез Ривку. Но было ли это? Как тогда соединить два факта: осенью в Могилеве и Мстиславле состоялись две свадьбы, одна — на немецкой слободе, шумная, с песнями и плясками, другая в Мстиславле — на еврейской, тоже шумная, на весь город. Говорили, что очень красиво танцевали райген Луиза и Юрген, а хромоножка Ривка будто бы перетанцевала своего жениха Давида, столяра-краснодеревщика. Свадьбы и должны шуметь, оповещая, что создана еще одна семья, и быть ей, счастливой или несчастной, до конца дней.

Что касается кибитки — было и такое. Выехали за город, к реке Вихре, поплакали и простились. Возвратились к своим родным, к отцу-матери, братьям-сестрам, к своим песням-пляскам, к своей национальной жизни. Важнее этого и в самом деле ничего нет.

В середине лета пришла весть, что императрица благополучно добралась до Крыма, что губернатор Энгельгард забирает обер-коменданта Родионова в Могилев, предводитель дворянства Ждан-Пушкин вышел в отставку, получив звание статского советника с пенсионом 300 рублей, архиепископ Конисский при большом скоплении православных заложил на свои средства храм во имя Георгия Победоносца.

Мосты через Вихру простояли много лет, почивальный дворец служил памятником императрице, а когда исчез с лица земли — неизвестно, скорее всего, сгорел от удара молнии: страшные грозы били в те времена над Мстиславщиной.

Ну а предание о посещении императрицей Екатериной города живо до сих пор. Не забыто также имя Святителя земли Белорусской архиепископа Георгия Конисского.

ИЗЯСЛАВ КОТЛЯРОВ

Там, где равные — Слово и Бог...

* * *

Кто умеет стрелять в пустоту,
поражая незримые цели?
Ю. Кузнецов

Эти строки почтеньем прочту,
меж глубин оглянусь, среди мелей…
Я умею стрелять в пустоту —
в ней немало мне видимых целей.
Слово, знаю, стреле — не чета,
но оно вдруг становится мною —
понимает, что и пустота
не бывает для нас пустотою.
В ней — обида, сомненье, укор,
в ней все то, что любовь разменяла.
В ней себя осознавший позор
и конец, обращенный в начало.
В ней все то, что меня заберет,
если слово душою устанет.
В ней царевна-лягушка живет,
хоть царевною так и не станет…
Вот опять осознаю вину,
ибо новое — вовсе не ново.
Горизонт, словно лук, натяну
и пущу непреклонное слово.
В пустоту…

* * *

Я словно им, куда не знаю, взят.
Стою… Тропа исчезла под ногами…
У ворона — какой-то вещий взгляд.
Смотрю в него слезливыми глазами.
Глубок и вязок, вязкостью глубок
взгляд ворона, в котором исчезаю…
«Не каждый вещий все-таки пророк», —
сказал мне кто-то или сам я знаю.

Неужто впрямь земного нет пути?
Я остановлен силою наитий…
Чтоб дуб, где этот ворон, обойти,
мне как-то надо, да, из взгляда выйти.
Ах, ворон, ворон, дай мне позабыть,
что самый черный ты на белом свете,
что, может, Ноем ты наказан быть
нам символом и дьявола, и смерти.
Отдай мой взгляд, а свой возьми в моем,
тропу ногам верни — она исчезла…
Я не пойму: там блещет водоем
или тобой обещанная бездна?

* * *

Вновь какая-то в мыслях беспечность,
и подумал, как думал давно:
если словом становится вечность,
то и слову быть вечным дано.
Синева обрастет облаками,
чтобы взгляд или душу скрывать,
и попробуй земными словами
так, чтоб вечными стали, сказать.
Поделили и землю, и небо,
даже воды смогли поделить,
но глядятся убого, нелепо
все шлагбаумы наших границ.
Их ни ветры, ни бури не знают,
тучи тоже их не признают…
Безграничные птицы летают,
бесцензурные песни поют.
А душа моя тоже, как птица, —
я бескрылость ее превозмог
тем, что больше уже не таится
там, где равные — Слово и Бог.

* * *

Возле… около… во мне…
Сквозь меня и мною —
в этой мерзлой тишине
и за тишиною
что-то чистое, как свет,
что-то нежное, как жалость,
из моих ушедших лет,
из того, что мне осталось.
Ни окликнуть, ни позвать,
самому не отозваться…
Слухом пробую узнать,
взгляду взглядом показаться.

Иней кружево плетет
на ветвях и на ограде
там, где тенью мать идет
и в моем проходит взгляде.
Встала (или ветра взмах?)
мама тенью из могилы…
Мне б навстречу сделать шаг —
а ни мужества, ни силы.

* * *

Живу своим, а стану общим веком,
все не пойму: мирюсь или мирю?
«Поэт — весь мир, объятый человеком», —
уже своим признаньем повторю.
И все-таки останусь виноватым,
когда пойму, что выбор мой жесток:
объять весь мир иль миром быть объятым? —
лишь в этом и начало, и итог.
Внимает он? Нет, я ему внимаю.
Смотрю вперед, а кажется, назад.
И слава Богу, что не понимаю:
объял весь мир иль миром я объят?
Молчу, молчу… Нельзя, нельзя об этом…
Мне память даже вечностью не врет:
не станет все же истинным поэтом,
кто сам себя поэтом назовет.

* * *

Лечат жизнь, а смерть совсем не лечится, —
смерть неизлечимая для всех…
Знаю я, что ради человечества
умирает каждый человек.
Что-то в этом жертвенное все-таки
или благородное всегда…
Вот уже и мысли стали кроткими:
«Я потом не буду никогда…»
Мудро это? Или… Не кощунствую…
Может, и не велено мне знать.
Только то, что я словами чувствую,
и словами даже не сказать.
Быть всего мгновеньем во мгновении?
Неужели все для всех умрут?
Это лишь безумцы или гении
скорбным пониманием поймут.
Тускло мне себя в себе разглядывать.
Мало, что ли, к ближнему любви?
Этой сути лучше не разгадывать…
Ладно, человечество, живи!

* * *

Задумчиво пространство замолчало, —
его сумел я все же обрести, —
но вот пришел, а это лишь начало
невидимого, мудрого пути.
Боюсь простором жизни задохнуться,
хоть сам себя как будто превозмог.
Прийти в начало иль в конец вернуться…
И это называется — итог?!
Слезится взгляд, иль солнце мне мешает?
У Ницше опечаленно спрошу, —
уж он-то о конце начала знает,
а я своей обидою грешу.
И слышу в начинающемся утре:
«Ах, милый мой, пойми и не забудь:
где путь свой начинает тот, кто мудрый,
там тот, кто глупый, завершает путь…»

* * *

Родина — не воздух, это — Дух.
Он векам, он Богу лишь подсуден.
Родина — боюсь об этом вслух —
это мы, живущие в ней люди.
Да, она такая же, как мы,
здесь, где я, где вы… не знаю, где-то…
Тьма ее — она из нашей тьмы,
свет ее — из нашего же света.
У нее не время — времена,
у нее не жизнь — а наши жизни…
Господи, и наши имена,
может, станут именем Отчизны?
Что мне запредельный горизонт,
хоть запрета нет уже в запрете?!
Но везде живущий — не живет,
вовсе не живет на этом свете.

ТАТЬЯНА МУШИНСКАЯ

Верочка

Рассказ

В коридоре воняло карболкой. К ней примешивались еще какие-то запахи, из которых и возникает крепкий и непобедимый дух казенного заведения. На носилках, стоявших на полу, лежал грязный, одетый в какое-то рванье мужчина — то ли пьяный, то ли без сознания. Входные двери без конца хлопали — туда-сюда, туда-сюда... До Веры то и дело долетали волны морозного, студеного воздуха. Что поделаешь, если тут — проходной двор!

Все ее чувства были придавлены тихой, неодолимой тоской. Что хорошее тут можно увидеть и услышать? Наконец двери, у которых она стояла вместе с сыном, открылись.

— Кто следующий? Заходите! Быстренько! — выглянул в коридор доктор.

Заведующий отделением сегодня был явно не в духе. Следующей как раз оказалась Верочка. Держа Алешу за руку, она вошла.

— Давайте свои бумаги! — недовольно скомандовал врач.

Женщина суетливо открыла сумочку, быстренько вынула приготовленные справки и направление. Заведующий долго их изучал. «Мы пришли уже третий раз, — думала она. — Сначала не было мест. Потом случился ремонт. Неужели снова какой-то подписи не хватает или печать не такая? Если мы будем так долго собираться, наш баллон кому-нибудь отдадут. Где его потом найдешь? По всему городу искали...»

Верочка очнулась от голоса доктора:

— Что тут написано? — заведующий ткнул пальцем в свежую справку, которую она буквально вчера брала в детской поликлинике.

— Не знаю, это наша участковая написала… — растерянно ответила женщина.

— Чем ваша доктор думает? — заведующий был явно раздражен.

«Все! Ничего не будет, сегодня снова не положат», — с тихой безнадежностью подумала она.

— С такой справкой, но без заключения диагностического центра, мы вас не возьмем. Вы понимаете, это не шуточки?! Это — операция! И достаточно сложная... Как только возьмете заключение, тогда и приезжайте. Сразу положим. Места есть...

— А остальные справки не устареют? — Верочке очень не хотелось, чтобы заведующей отделением отказал им еще раз.

— Зовите следующего!

«У них тут конвейер... А мы на нем — винтики и гаечки». Пока никто посторонний не вошел в приемный покой, Верочка решила спросить. Ведь потом, при чужих, это будет уже невозможно.

— Скажите, а баллон наш хотя бы на месте? — она чувствовала, что начинает краснеть, будто вспомнила о какой-то своей провинности. Заведующий наконец-то улыбнулся:

— На месте. Не волнуйтесь. Ваш, именной!

Вместе с Алешей они вышли в коридор. Так… Значит, они снова «пролетели». Теперь с двумя огромными сумками надо ехать домой. Через весь город, с двумя пересадками. С ребенком, в переполненных троллейбусах. Черт побери этих докторов! Как будто измываются… В следующий раз выяснится, что опять чего-то не хватает. Ей-богу, персональную выставку сделать легче, чем ребенка положить на операцию.

* * *

Верочка была художницей. Наверное, так и должно было случиться. Ведь родилась она в творческой семье и выросла в мастерской отца. Запах масляных красок и скипидара, навсегда связанный в сознании с образом папы, Верочка запомнила еще в раннем детстве.

Все знакомые называли ее именно Верочкой. Небольшого роста, шустрая, с хвостиком светлых, стянутых резинкой волос, мелкая, чем-то похожая на птичку, даже в свои тридцать она выглядела как девочка.

Верочку любили. Сначала в художественной школе, где она училась, потом в училище и художественном институте. Любили одноклассники и однокурсники, любили друзья отца. За веселый, легкий характер, за дружелюбие. За работы, экспонировавшиеся на выставках и хранившиеся пока что в мастерской. Иногда Верочка подозревала, что все вокруг относятся к ней с какой-то припрятанной, затаенной нежностью потому, что любят ее отца, талантливого художника и педагога, у которого столько учеников. Конечно же, она гордилась дорогим и любимым папочкой, но считала, что если бы она существовала сама по себе, а не как дочь известного художника, то и оценки ее работ другими живописцами и графиками оказались бы более строгими. И им можно было бы доверять в большей степени.

Верочка писала в основном натюрморты. Писала сирень, пионы, георгины, розы, флоксы. Ландыши, лесные колокольчики, ромашки, васильки, листья папоротника, гроздья рябины. Писала маслом, акварелью, гуашью, использовала сочетания самых разных техник. Из художников молодого поколения, наверное, никто не умел воссоздать на холсте или бумаге цветы так, как она. С такой звонкой радостью, с таким счастьем и восхищением, с такой любовью к каждому листику, каждой травинке — проявлениям божественной красоты. Казалось, колористическая щедрость работ незаметно переходила в то пространство и тот воздух, который существовал вокруг картин. Природа была ее храмом, ее миром, который можно было с радостью постигать всю жизнь, да так и не постигнуть до конца. Верочкины картины, хотя она сама и никогда о том и не думала, воспринимались порой как молитвы ее собственному богу.

В ее жизни все складывалась как-то счастливо, само по себе, без горьких слез, страданий, без драматических потрясений. Ее всегда понимали и всегда любили. Родители ее не требовали того, чего не надо требовать, сочувствовали и поддерживали в трудные минуты жизни. И в собственной семейной жизни Верочке тоже повезло. Ее Митя, архитектор по образованию, в свободное время немного рисовал для себя, а главное, преподавал в двух учебных учреждениях, чтобы прокормить семью. Он понимал, что жена его — талант, а талант надо беречь.

* * *

Отдаленные раскаты грома прогремели вскоре после того, как у Верочки родился Алеша. На второй или третий день после родов в палате, где лежали молодые мамы, появилась детский доктор, ярко накрашенная блондинка с длинными шикарными серьгами в ушах. Словно не на работу собралась, а в театр или на банкет. На фоне бледных, осунувшихся рожениц в больничных халатах — облезлых, застиранных, а часто и порванных («девочки, мы как после допроса в гестапо!» — смеялись они тогда над собой), докторша выглядела достаточно броско. И… как-то нелепо. Верочке она почему-то сразу не понравилась. Хотя, казалось, для этого не было никакого повода.

Доктор начала поочередно характеризовать новорожденных. У кого-то — кривошея, у кого-то — косолапость, у кого-то при рождении выявились еще какие-то физические недостатки, мелкие или существенные. «Какая тактичность! — изумлялась про себя Верочка. — Все — вслух! Все говорится при всех...»

У ребенка Тамары, соседки Веры по палате, также оказалось не все благополучно. Расстроенная Тамара громко заохала, заахала, залилась слезами. Соседки тут же бросились ее утешать. Вера знала: ничего страшного в таком диагнозе нет. За полгода одолеют — мама вместе с ребенком.

Сама она с нетерпением — как божьего суда — ждала, что же скажет ей эта накрашенная докторша. Верочка чувствовала, что сейчас ей станет плохо. Комок стоял в горле. Все чувства казались приглушенными каким-то непонятным страхом. Докторша говорила долго, все больше медицинскими терминами. Может, и хорошо, что именно так? Ведь в палате никто ничего не понял. А Вера не хотела отвечать на чьи-то расспросы. Чем дальше говорила докторша, тем больше приходила к молодой маме уверенность, что заботы ее соседок с собственными младенцами — мелочь по сравнению с тем, что ожидает ее. Вслед за доктором она вышла в коридор.

— Скажите мне без медицинских терминов, что нас ждет? Хватит лечения в поликлинике? Или в конце концов это больница и операция?

— Понимаете, ваш ребенок сейчас очень маленький. Ему всего несколько дней. Утверждать сейчас что-то однозначно очень сложно…

«У нее хорошая дикция, — почему-то подумала Верочка. — Ей бы на телевидении или на радио работать…»

— Когда вашему сыну исполнится два месяца, сделаете обследование, вам все скажут. Точно и обстоятельно. Если консервативное лечение не поможет, возможно, понадобится и операция. Мама, я не хочу вас пугать, но если диагноз подтвердится, то лечение вашего ребенка может занять годы… — И помолчав, добавила: — Простите, я спешу, меня в соседней палате ждут...

Деловая! А ей что?.. Она работает в родильном отделении и констатирует, у кого что не так. Теперь дети без патологии почти не рождаются. Она что, над каждым плакать будет? Тогда никаких слез не хватит...

Докторша повернулась и пошла. Ее каблучки звонко цокали в тишине больничного коридора, и в такт шагам покачивались эффектные серьги. То, что она сейчас сказала, могло изменить всю будущую Верочкину жизнь. Но эти слова так плохо сочетались с видом доктора, что одно из них явно было неправдой. Или потому, что докторша ей не понравилась, или просто Верочка хотела надеяться на лучшее и потому сознательно отбрасывала худшие варианты, но смысл сказанных слов как-то не сразу дошел до нее.

На следующий день в этом же коридоре Вера встретила свою одноклассницу, которая работала тут же, в родильном отделении, детским доктором и

наверняка успела уже осмотреть ее мальчика и прочитать все, что написано в его истории.

— Ну, что? Поплакала уже?.. — в голосе одноклассницы Вере послышалось сочувствие.

Молодая мама пожала плечами. Конечно поплакала. Но не будет же она объявлять о том на весь мир?

— Что заранее плакать? Может, все еще обойдется...

* * *

К сожалению, не обошлось. Маленького Алешу от рождения и до двух лет все лечили и лечили. В надежные руки докторов он попал надолго. Когда Вера, растерянная и несчастная, спросила у Натальи Викторовны, доктора с короткой стрижкой, которая лечила Алешу, — почему такой диагноз, с чем он связан? — та с невеселой улыбкой ответила:

— Понимаете, такие дети рождались всегда. На тысячу человек — два-три. Иногда — пять. Но раньше их было намного меньше. А теперь все больше и больше. С каждым годом... Если ваш ребенок родился после Чернобыля, чего же вы хотите? Подумайте, что мы едим, что пьем, чем дышим?..

Вера вспомнила, что когда утром она выходила на балкон в том районе, где они с Митей снимали квартиру, в воздухе стоял такой запах, будто кто-то разлил в большом количестве медицинский спирт. Вокруг было расположено много заводов, а ветер чаще дул именно с той стороны…

— Понимаете, — продолжала доктор, — во время беременности закладывается программа будущего развития ребенка. Программа на всю жизнь. Когда должны появиться зубы, когда он начнет ходить, а когда разговаривать... Такие глобальные катастрофы, как Чернобыль, разрушительно действуют на всех. А на беременных — в особенности. В генной программе вашего сына заложена ошибка. И потому все развитие идет не так как надо, наперекосяк… И наша с вами задача — постепенно исправить то, в чем ошиблась природа...

Но легко сказать — «исправить»! Все деньги, которые зарабатывал Митя, и те, что получала Верочка, вынужденная время от времени продавать свои натюрморты, шли на бесконечное лечение. На такси, чтобы ездить на консультации из одного конца города в другой. На сеансы бесконечного массажа, от которого Алеша кричал криком, а его мама в это время стояла рядом, держала ребенка и молча глотала слезы. Деньги шли на дорогие заграничные лекарства.

За два года Верочка, маленькая и щуплая, похудела и, казалось, совсем зачахла. Как художница она за это время ничего не написала, хотя время от времени, оставив малыша на бабушку, вырывалась в свою маленькую, едва повернуться, мастерскую, которую делила с подругой. Но что ты сделаешь за два часа? Только сосредоточишься, только полотно загрунтуешь, уже надо домой собираться. Она понимала, что намертво привязана к ребенку и его болезни.

Несмышленое дите, из которого еще неизвестно что вырастет... А сколько забот всей семье! Алеша был явно не детсадовский ребенок, при нем все время должны находиться мама или бабушка.

Вера понимала, что ни она, ни Митя, ни сам Алеша не виноваты в том, что случилось. Но обида, что вытянула она в жизненной лотерее именно такой, а не иной билет, начинала временами нестерпимо донимать ее. Однокурсники, с которыми она заканчивала институт, пишут и пишут. Растут как

художники, участвуют в выставках, оформляют книги, ездят по стране и миру. В конце концов, могут видеться, поговорить, ходить в гости. Ощущают себя людьми. А она? В кого превратилась она? В няньку? Домохозяйку? Уборщицу? Повариху? Когда, наконец, она сможет работать в мастерской изо дня в день? Когда у нее появятся новые работы? Вопросов оказывалось много, ответов на них не было.

Когда сыну исполнилась два года, Верочке показалось, что сплошной и густой черный цвет окружающей действительности начал понемногу превращаться в серый. А потом и постепенно светлеть. На горизонте наконец-то взошло солнце. Она впервые почувствовала себя человеком, вспомнила, что она женщина и художница. А все потому, что прогноз врачей обнадеживал. Теперь сколько-то времени можно было обойтись без посещения поликлиник, консультантов, докторов-профессоров и вообще людей в белых халатах, которые вызывали у Веры стойкую аллергию. Как человек, долгое время живший впроголодь, а теперь набросившийся на еду, так Верочка набросилась на работу. О своих путешествиях за город, об этюдах, работе в мастерской в течение целого дня она и мечтать не могла, пока Алеша был совсем маленьким. А теперь возвращалась к своим любимым натюрмортам и букетам. И комнатные цветы в мастерской ожили, радостно и бурно пошли в рост — то ли от присутствия хозяйки, то ли от ее забот.

* * *

Те мучения, в которые превратились два первых года Алешиной жизни, начали постепенно отдаляться во времени и забываться. Но гром прогремел снова — ближе и более грозно. Сыну исполнилась пять лет, когда он начал жаловаться, что ножки болят. Их врач Наталья Викторовна недовольно проговорила: «Что-то мне это не нравится!» — и отправила на консультацию к какому-то именитому профессору. Но разве она сама ничего не может решить?

Надо ехать. Хоть и жарким летним днем. На окраину города. В транспорте, заполненном потными, разгоряченными телами. Ехать с несколькими пересадками.

Она все это понимала. Но в мастерской ее ждала новая, недавно начатая и на удивление удачная работа. Она манила, звала к себе. И Верочка уже знала, какой он будет, этот ее новый натюрморт. Картина во всех подробностях стояла у нее перед глазами. В таком случае надо все бросать и буквально бежать, на крыльях лететь в мастерскую, чтобы не растерять нужное настроение. Неужели обстоятельства, будто назло, снова складываются так, чтобы помешать ей?..

Отстояв два часа в большой очереди таких же бедолаг, которые ждали приговора того самого медицинского светила, Верочка вместе с Алешей наконец зашли в кабинет, где консультировал профессор, бодрый и живой седой старичок, к которому все окружающие обращались очень почтительно. Подняв буквально на мгновение над головой Алешины рентгеновские съемки, он решительно заявил:

— Только операция! И никаких других вариантов. Чем быстрее ее сделаете, тем лучше для вас и для него. Чем ребенок старше, тем операция тяжелее и дольше по времени...

Ошеломленная, еще не веря такому приговору, Верочка спросила:

— А разве его самого вы смотреть не будете?

Профессор рассмеялся:

— Ой, мамочка! — Вера заметила, что во всех медицинских учреждениях ее называли одинаково. — Я за свою жизнь стольких людей проконсультировал и столько диагнозов поставил, что мне и смотреть его не надо...

Вера никак не могла сразу примириться с тем, что сказал профессор:

— Скажите, а если мы откажемся от операции, что тогда будет?

— Если вы желаете добра своему ребенку, то не откажетесь. Раньше или позже он станет инвалидом, прикованным к постели. И вы будете сидеть при нем. А так у вас остается хоть какой-то шанс...

Картина, нарисованная профессором, перечеркивала жирной черной краской все Верочкины планы и мечты. И все ее натюрморты, уже нарисованные и будущие. Но она не могла сразу сдаваться.

— Доктор, а какая гарантия того, что операция пройдет удачно?

— Женщина, гарантии не дает даже господь Бог. А вы хотите получить их от людей... Я и так уделил вам много времени. Сестра, зовите следующего! А вы, — он обратился к Вере, — становитесь на очередь. И повторяю: чем скорей, тем лучше. Ведь у вас не одна, а две операции. А потом, возможно, и третья. Между ними должны быть перерывы хотя бы по полгода... Вам надо ребенка к школе на ноги поставить.

Алеша был еще совсем маленький, и больше, чем слова профессора, его интересовали веселые сказочные животные, нарисованные на стенах приемного покоя. «Нарисованы они плохо, — невольно отметила про себя Вера, — пропорции в фигурках нарушены». Но ее мнение как художницы тут никого не интересовало.

Когда Вера вместе с Алешей вышли из корпуса больницы, она была поражена тем, что солнце светило точно так же, как светило, когда они еще ехали сюда, и в глубине души она надеялась, что, может, все обойдется, их лечащий врач в поликлинике просто перестраховывается. И потому послала сюда, на окраину города, в клинику, что боится все решать сама. Как и утром, стояла жара. Наверное, через несколько часов зной будет еще большим. И трава оказалась такая же зеленая, и запыленные деревья все так же шелестели под ветром. По улице шли троллейбусы, люди спешили по делам. Ничего в мире не изменилось оттого, что на Верочку свалилось такое несчастье. Вместе с Алешей они шли от клиники к остановке, Верочка смотрела и не видела ничего вокруг: ни этой травы, ни деревьев, ни людей. Что-то в ней словно окаменело, и через эту окаменелость не пробивались больше впечатления реальной жизни.

Жаль, что Митя сегодня занят, принимает зачеты и не смог поехать вместе с ними сюда, в институт. Может, если бы они вдвоем услышали эту новость, то ее тяжесть, разделенная на двоих, не придавила бы ее так безжалостно.

«Становитесь на очередь...» Таких умных, как мы, тут не пересчитать. Если доктора будут каждому сочувствовать, где того сочувствия наберешься? Я понимаю, но как смириться с такой новостью? Как согласиться с тем, что Бог пометил тебя каким-то знаком, крестом? Почему именно она, Верочка? В чем она провинилась? За что Бог наказал ее? Самое дорогое, что есть в ее жизни, — это Алеша, Митя и ее цветы, ее натюрморты. Но писать — ни сегодня, ни завтра — после того, что услышала, она просто не сможет.

Своими руками отдать единственного ребенка под нож? Кто знает, что там может случиться? А вдруг операция пройдет неудачно? А если... Верочка не могла даже в мыслях произнести то, что пришло ей в голову.

Верочка понимает, что она не Дева Мария, а сын ее — не Христос. Но почему получается так, что человек приходит в этот мир не для радости, а для

страдания? Почему мать в муках рожает ребенка, чтобы он подрос, повзрослел и выпил полную чашу того горя, которое ему предназначено? Может, потому и воздействует религия так сильно на человека, что история Христа повторяется потом во множестве судеб обычных людей, которых распинают другие люди и сама жизнь...

* * *

Так прошло все лето, а потом и осень. Алешу положили на операцию только в начале декабря, когда Верочке казалось, что у нее не хватит никаких сил, чтобы в бесконечной бетонной стене, которая называется отечественной медициной, отыскать хоть какую-то дверь. Сначала врачей очень долго не устраивали Алешины анализы крови. Гемоглобин надо было повышать, а все остальные показатели понижать. Но человек ведь не прибор! Им так легко невозможно управлять! Потом в больнице не было мест. Когда, наконец, они появились, выяснилось, что нет самого главного — баллона с наркозом, которого должно хватить на два, а может, и на два с половиной часа операции.

— Женщина, а что вы хотели?.. Календарный год заканчивается, весь наркоз выбрали, — объяснил ей заведующий отделением. — У нас уже две недели делаются только легкие операции, где много закиси азота не надо. Баллоны с наркозом нам поставляет Харьковский завод. Но после развала Союза теперь все поступает с перебоями. Наверное, кто-то договор забыл подписать, вот и не хватило к концу года. У нас человек десять, а может, и пятнадцать детей ждут плановых операций. Некоторых, кто из областей приехал, домой отправили. Так что не вы одна! Надо подождать...

Но от этого Верочке не было легче. У каждого из детей есть родители, пусть они и думают... Интересно получается! На операцию надо приходить со своим баллоном. Скоро и набор медицинских инструментов — типа скальпелей и всего остального — тоже искать будешь... Но где же найти этот злополучный баллон с закисью?

Знакомая врач взялась ей помочь. Если бы не она, вообще ничего бы не получилось. За тот баллон Вера потом и коньяки носила кому нужно, и «зелененькие», которые остались от последней продажи картин. А что удивляться или возмущаться? Доктор — тоже живой человек, он тоже у кого-то просил, ему тоже с кем-то рассчитаться надо...

* * *

Алешу положили в больницу в пятницу, перед выходными. Операция была назначена на следующий четверг. И Верочка молила Бога, чтобы за эти дни, до четверга ничего не случилась. Чтобы не заболел никто из бригады хирургов. Чтобы ни у кого из них не было скандальной жены, которая с утра испортит настроение. Чтобы никто не забрал их баллон с наркозом. Чтобы не сдвинулся график операций. Чтобы вдруг, срочно не привезли в операционную какого-нибудь ребенка. Чтобы на Алешу вдруг никто не кашлянул, не чихнул... И эти «чтобы» были бесконечными.

...В густом декабрьском тумане больничный корпус, из окон которого падают столбы света, кажется огромным кораблем среди темного моря. А в каждой каюте — горе, боль и беда. Почему она, Верочка, никогда не задумывалась о том, сколько в мире больных людей и больных детей? Казалось,

сам воздух вокруг больницы действует угнетающе на каждого, кто проходит рядом. Будто страдания, которые пережили больные, сменяя друг друга в палатах через какое-то время, пропитали все — стены, пол, потолок, коридоры, палаты, перевязочные, процедурные. Пропитали и навсегда, на корню, уничтожили радость.

Чем меньшее расстояние оставалось до хирургического корпуса, тем сильнее какая-то нечеловеческая сила заставляла Верочку повернуться и не идти, а бежать назад. Как можно дальше от этого корабля страданий и слез. В уютное, ласковое, обжитое пространство квартиры или мастерской... Подальше отсюда! От этого бездушного строения, разрушительного биополя! Разве больница не похожа на тюрьму? Только надзиратели — в белых халатах. И на окнах — решетки. И всюду — «нельзя», «нельзя», «запрещено»... Но что бы она делала без той «тюрьмы»? За границей такая операция стоит не десять и не пятнадцать тысяч долларов. За всю жизнь не расплатилась бы! Хоть бы и все картины продала. Верочка спохватилась: «Боже, до чего доводит фантазия! Корабль, тюрьма... Какой бред! Все очень просто: Алеша в больнице, и он ждет свою маму…»

* * *

Накануне, в среду вечером, Верочка выпила приличную дозу снотворного. Знала, что иначе не уснет. Выпила втихаря от Мити, поскольку он бы этого не одобрил. Но, наверное, и Митя втихаря от Верочки делал то же самое и не говорил ей, чтобы не волновать. Потому что утром на кухне подозрительно пахло сердечными каплями. Снотворное, наверное, хорошо подействовало: поднялась она с какой-то пустой головой, ничего не чувствовала и ни о чем не думала. Собралась и поехала в больницу. Знала, что ничем не поможет. Но верила, что если будет рядом, пускай на другом этаже, операция пройдет лучше. Алеша все равно, даже под наркозом, будет ощущать, что мама близко.

В списке на операцию он первый. Значит, заберут около десяти. Еще в палате сделают укол, чтобы постепенно засыпал. Хорошо, если медсестра попадется отзывчивая, успокоит, пожалеет, а не какая-нибудь бесчувственная фифа. Потом, уже сонного, его положат на каталку. По гулкому больничному коридору повезут к операционному блоку. Потом двери в операционную закроются. А может, и лучше, что Вера этого не видит?

Потом, за время долгого нахождения в больнице, она привыкнет видеть женские фигуры под дверями операционной. Стоят во все дни, кроме субботы, воскресенья, понедельника. Несчастные матери... Стоят — как часовые. В белых халатах, наброшенных сверху на обычную одежду. Кто слезы платком вытирает, кто молча держит под языком валидол. Так и седеют за это время. Стоят, по сути, ради одной минуты, чтобы увидеть своего ребенка, еще спящего, когда его из операционной повезут в реанимацию. И еще, чтобы у хирурга, уставшего от трех, а то и пяти часов работы, запинаясь, спросить дрожащим голосом: «Доктор... ну, как там?» Спросила и Верочка. И была до глубины души поражена спокойным и даже беззаботным голосом хирурга:

— А-а, все нормально! Не волнуйтесь… Сейчас уже зашивают. Потом загипсуют. Что нужно, то и сделали. Завтра увидите его уже в палате...

А может, действительно, все не так страшно, если хирург после стольких часов работы у операционного стола рассказывает другому доктору анекдоты и улыбается, будто на пикник собрался? Может, это Верочкина фантазия работает теперь против нее, рисуя картины, которые не существуют на самом деле?..

* * *

Утро. По пустому и гулкому больничному коридору грохочет тележка, на которой стоит полнехонькое ведро пшенной каши. Маленькие и большие пациенты знают: это едет завтрак. А впереди тележки идет по палатам санитарка баба Наста с двумя огромными чайниками в руках. Чайники попали в больницу вместе с «гуманитаркой».

Двери широко распахнулись. Кажется, в палате сделалось светлее. Потому что вначале появилась улыбка бабы Насты, а потом она сама.

— Хлопцы, подставляйте стаканы!

Ей уже за шестьдесят, она давно на пенсии, но с больницей распрощаться никак не может. Каждый год решает, что хватит, достаточно! Будет сидеть дома, варить еду своему деду, ездить к дочкам, растить внуков. Но получается иначе.

Наконец баба Наста подходит к Алешиной тумбочке, наливает в стакан бледно-желтый чай и, хитро подмигивая парню, произносит:

— Ну что, Ляксей? Не грусти! Красавец ты мой... Подрастешь, ой будут девки за тобой бегать! Оборвут телефон...

— Оборвут! — со счастливой улыбкой соглашается Верочка.

Достаточно посмотреть хоть раз на бабу Насту, чтобы убедиться: никаких серьезных проблем в жизни не существует! Все будет хорошо, а иначе просто не бывает!

Наверное, доброжелательности ее одной хватило бы на множество докторов отделения. Словно в подтверждение этой мысли в палату не входит, а буквально влетает палатный доктор. Вера видит его впервые, но подростки из палаты говорят, что обход длится обычно ровно две минуты. Вслед за доктором в палату вплывает важная и объемная медсестра с блокнотиком в руках.

— Есть будете потом! — приказывает врач. — Овсейцев, почему повязка такая грязная? — обращается он к десятилетнему Антону. — Подойти не мог к медсестре?

Верочка знает, что Антон подходил. Только у медсестры или бинта свежего не было, или времени. Но справедливость тут никого не интересует. Антон виновато молчит. Медсестра тоже не признается.

— Запишите ему перевязку, — врач обернулся к медсестре. Потом перешел к Алеше.

— Как дела? — отбросил одеяло, посмотрел.

— Хорошо...

Через полчаса губы сына начнут кривиться от боли, и Верочка побежит на пост, чтобы медсестра уколола обезболивающее, которое снимает нечеловеческую боль. И ребенок уснет на несколько часов. Но это будет позже, а пока доктор остановился на секунду в дверях палаты.

— Женщина, а что вы делаете в хирургическом отделении? Вы кто?..

— Я — мать... — растерянно начала Верочка.

— У вас разрешение есть? Заведующего или старшей медсестры?

— Но старшей медсестры в выходные не было, а заведующий... — начала объяснять Верочка. Но доктор не слушал ее и не дал договорить:

— Если разрешения не будет, чтобы я вас завтра тут не видел.

Через мгновение его уже не было в палате.

«Какое красивое лицо! И какая безжалостность… — думала Вера. — Интересно, у него свои дети есть? Наверное, нет. У кого есть, они не смогут так разговаривать... А если бы с его ребенком такое случилось, как с Алешей, и с его женой разговаривали, как он со мной? Как бы он себя чувствовал? Тоже героем и судьей в последней инстанции?»

Старшая медсестра оказалась более милостивой. Договорились, что Вера будет каждый день мыть свою палату и половину больничного коридора. Поскольку одна из санитарок отделения пошла в отпуск. А также присмотрит за теми детьми в палате, которые сами не ходят. На таких условиях она может остаться.

И все равно Вера находилась в больнице на птичьих правах. Трезвый, холодный ум подсказывал, что надо делать. Идешь к главному врачу больницы, представляешься, что ты — художница. Что такому замечательному лечебному учреждению, о котором идет такая хорошая слава, нужно, ну просто необходимо, подарить ряд картин. (Конечно, совсем не важно, что ложки, вилки, стаканы в больницу надо приносить свои. Что простыни порванные, что пеленок, чтобы подложить ребенку под спину, нет. Как нет анальгина с димедролом — поскольку дефицит. Но это же мелочи!) А еще можно пообещать, что она пригласит художников, те придут, пускай позже, и распишут стены. Хотя бы в одном детском отделении. Так ли уж важно, что там они уже расписаны?

Заодно можно сказать главврачу о некоторых своих проблемах. Например, что ее ребенку сделана операция. Что она должна находиться рядом с ним целые сутки — столько, сколько нужно. Договорились бы одним телефонным звонком — главврача заведующему детским отделением. Но все это можно и нужно было делать не в том состоянии, в котором сейчас находилась Верочка. Надо было соответственно одеться, подкраситься. Привести с собой нескольких художников. В хорошем настроении, с шуточками...

Но сейчас Верочка могла только сидеть около Алеши, кормить его, поить и читать, не очень понимая смысл строчек, которые возникали перед глазами. Жалкое, распростертое на кровати тельце — нет возможности пошевелиться или повернуться, свободны только руки. Нельзя ни встать, ни сесть... Кто, в каком безумном сне мог придумать такую муку?

Как только сын засыпал, Верочка могла выйти из палаты. Он не хотел отпускать ее ни на минуту. Наверное, пережитая боль навсегда связалась в его сознании с тем, что рядом нет мамы. Приходила бабушка, и Вера тихонько одевалась за ее спиной и так же тихонько пробегала больничным коридором к выходу. Моля Бога, чтобы не встретить никого из докторов — в хирургическом отделении нельзя ходить без халата.

В ближайшем магазине она покупала сок, апельсины-лимоны и новую книжку-раскраску для сына. Потом смотрела на часы. Ее отпустили на два часа, а прошло всего тридцать минут. За стенами больницы все сделалось неинтересным. Ни магазины — с их отечественными и импортными товарами, ни кооперативные киоски — с яркими, как павлиний хвост, витринами, ни люди, ни здания. Верочка чувствовала себя, как зек, которого почему-то ненадолго отпустили из тюрьмы. Но он знает, что свой срок еще не «отмотал». А потому его теперешняя свобода какая-то ненастоящая, он еще не заработал ее. И потому должен возвращаться назад. И она возвращалась раньше, чем надо. В больницу, в свою палату, к привычному запаху хлорамина — запаху казенного учреждения, который пропитывал в больнице все: матрасы, белье, полотенца, даже воздух.

Вера иногда задумывалась: почему здесь, в палате, ей легче, чем там, за больничными стенами? Там озабоченные люди шли по своим делам. Шли, не понимая, какое это счастье — быть на свободе и шагать куда хочешь. Они не представляли, как это замечательно — идти самому! Просто двигаться и каждое мгновение ощущать собственную жизненную силу. Они идут, а ее ребенок в гипсе от колен и почти до подмышек, прикованный к кровати, повернуться

не может. А в палате ты — такой же бедолага, как и другие. Вдобавок кому-то сейчас еще хуже, чем тебе... И это, как ни странно, тоже утешало.

За стенами, на свежем воздухе возникало много вопросов, иногда совсем ненужных. Например, что с Алешей и самой Верой будет дальше? А в палате можно было вообще ни о чем не думать, ведь все время надо было что-то делать.

Жизнь в больнице шла по однажды и навсегда определенному распорядку. И ты был частью этой системы. Утром просыпались, ждали завтрака и утреннего обхода. Обсуждали, из какой палаты кого сегодня возьмут. Какой врач и кому будет делать операцию, у кого из докторов какая специализация. Потом ждали обеда. После тихого часа ждали, когда придут родители, родственники или друзья. Вечером ждали, когда начнется новая серия очередной «мыльной оперы». Потом ждали «отбоя»…

Так и проходили больничные дни. Верочка за это время уже сделалась специалистом по многим болезням. И сама успокаивала несчастных, растерянных мам, которые впервые оказались тут вместе со своими детьми.

* * *

Сегодня вечером у Верочки было отличное настроение. А все потому, что наконец-то удалось раздобыть дефицитную кушетку. Что только не придумывали изобретательные родители, чтобы легально или нелегально остаться на ночь около любимого ребенка, которому недавно сделали операцию. И матрасы надувные приносили, на них на полу укладывались, и раскладушки из дома притаскивали. Это уже потом Верочка о многом догадалась, и в пятый или шестой раз собиралась в больницу со списком нужных вещей в руках. А в первый раз можно было рассчитывать только на кушетку. Днем они тихо и мирно стояли в коридорах. На них сидели дети, отдыхали немолодые санитарки. Но под вечер кушетки потихоньку растаскивали в палаты мамы. Особенно, если на ближайшую ночь не имели определенного спального места. Стоило вовремя не позаботиться, как дефицитный топчан оказывался в распоряжении более шустрой, чем ты, женщины. Как замечательно, когда всю ночь можно спать как человек! А не поперек небольшой детской кроватки, свернувшись калачиком, как собачка...

Веру уже начал одолевать крепкий сон, когда дверь палаты решительно открылась и на более светлом фоне коридора темным силуэтом возникла чья-то фигура.

— Так! — грозно проговорила фигура. — Мамаши, кто забрал из коридора кушетку? — Верочка узнала голос медсестры Лены, которая дежурила сегодня ночью. — Быстренько подъем и кушетку — в коридор! — приказала она.

— Сестричка, милая! — пыталась улестить ее Верочка. — Там же еще одна кушетка стоит. Такая самая. Какая вам разница? Возьмите ту... Мой ребенок так плохо спит...

Вера знала, что если она перебьет сон, то до утра уже больше не уснет. А завтра — целый день на ногах, и не присядешь...

— У той кушетки изголовье поломано! — категорично заявила медсестра. — А в этой целое! Зачем вы целую кушетку взяли? Эти родители уже совсем обнаглели. И зачем только заведующий отделением позволяет ночевать? Скоро и диван из сестринской вынесут, лишь бы только поудобнее устроиться...

Вера скрутила свой матрасик, освободила кушетку и, подняв ее, вместе с медсестрой понесла в коридор. Она шла и вспоминала все лучшие, самые выразительные и сочные нецензурные слова, какие только знала. Но она не могла сказать их вслух. Удар медсестры был рассчитан абсолютно точно. Стоило Верочке открыть рот, как завтра спозаранку эта молодая стерва напишет докладную заведующему отделением, что мать ребенка такого-то вела себя по-хамски и унижала медперсонал. В итоге Веру выгонят отсюда ровно за одну минуту. Она должна молчать и терпеть, прикусив язык. Ведь в другой, не теперешней реальности, она была художницей, каких мало. А тут она была просто несчастная мать с больным ребенком на руках. А таких, к сожалению, — много.

Кушетку они принесли в сестринскую комнату и поставили около дивана, на котором уже пристраивалась спать вторая медсестра, Лариса.

— Помогите мне эту кушетку в палату занести. Я одна ее не подниму, — глухо сказала Вера.

Занесли, поставили. Слава богу, ребенок не проснулся. За медсестрой захлопнулась дверь. Верочка заново разостлала матрасик, с головой накрылась одеялом и только тогда горько заплакала.

Еще по дороге в палату она взглянула на свои часы. В больничном коридоре, где около потолка горели редкие лампочки, было все-таки светлее, чем в совсем темной палате. Часы показывали двадцать минут первого.

Все понятно! До полуночи смотрели телевизор в сестринской комнате или палате. Хорошо, если с дежурными врачами не отмечали день рождения. А в половине первого Лена увидела, что кушетка не такая, пошла по палатам искать... Как укол сделать, так три раза напомнишь. Чем мельче сошка, тем гонору больше. Начальницу из себя строит... Теперь поспит до семи. Утром встанет, градусники раздаст. Чужие дети — не свои. Что за них переживать? И домой... На двое суток, на мягкий диванчик...

Вера чувствовала себя нищенкой, которая в старом и грязном рванье сидит у церкви на паперти. Сидит и просит милостыню. Благодарно и с умилением кланяется каждому за брошенную копеечку и измятую бумажку. А в конце дня приходит кто-то, сытый и наглый, и забирает все копеечки и помятые бумажки. Разве ему, богатому и наглому, они нужны? С ними он разбогатеет? Нет! Но разве это не наслаждение — поиздеваться над тем, кто не может дать сдачи?..

* * *

Вскоре Алешу должны были выписать. Но самочувствие вдруг ухудшилось. Поднялась температура, почти до сорока. Он ничего не ел, только часто просил пить. Медсестра и дежурный доктор успокаивали маму: ничего страшного, обычная картина. Так случается со всеми.

Вера готова была поверить их словам, но температура держалась и первые сутки, и вторые, и третьи. Каждое утро прибегал озабоченный заведующий отделением. Осматривал Алешу, успокаивал Верочку, что-то назначал. Температура падала после таблетки или укола. А потом упрямо и настойчиво лезла вверх, останавливалась около отметки 39 или 40. Алеша весь горел, и от Верочкиной уверенности ничего не оставалось.

«А может, во время операции сделали какую-то ошибку? — в отчаянье думала она. — Кто признаваться захочет? Никто! А что будет дальше? От 40 совсем мало осталось до той границы, после которой уже вообще ничего

нет. А если температура начнет повышаться дальше, и вдобавок ночью? Где я найду и кого? Пока ту медсестру разбудишь, пока она найдет аспирин, который, может, есть, а может, его и нет?»

Обессиленный температурой, Алеша спал некрепко, часто просыпался. Не спала и Верочка. Она все крутилась на жестком топчане, все как-то мостилась, чтобы не затекала спина, и все думала, думала... Она мучительно искала в той, прежней своей жизни какие-то прегрешения и ошибки, то, в чем могла проявляться ее вина и что было бы объяснением теперешней ситуации. Она вспоминала свои пусть только моральные провинности, за которые теперь несла наказание. Но ничего не находила. «Боже милостивый! Зачем ты послал мне и всем нам такое испытание? Чем я тебя прогневила? За что, за какие грехи?»

Верочка воспитывалась в обычной советской школе, где ее принимали сначала в октябрята, потом в пионеры, а потом и в комсомольцы. Каждый раз она волновалась, как и все вокруг, и искренне верила, что если учителя и родители, такие взрослые и умные, считают, что так должно быть, то и Верочка с ними полностью согласна.

В институте она изучала научный атеизм, как и все однокурсники. Не сказать, чтоб была в восхищении от этой «науки». Она казалась не очень нужным дополнением к профессионально необходимым и любимым композиции, рисунку... Но сдавать атеизм все равно было нужно. Верочка верила не в Бога, а в существование какого-то высшего разума. Ее богом была природа, то богатство красок, линий, форм, которые не мог создать земной, реальный человек. Но сейчас вся природа превратилась в кусочек заснеженного парка, который она видела из больничных окон.

В последние годы в Бога начали верить все вокруг, массово. Верочка видела, как те, кто десять или двадцать лет назад рисовал — и достаточно профессионально — портреты пламенных революционеров, теперь так же искренне и преданно рисуют Бога и ангелов с белыми крыльями. Завтра или послезавтра придет другая идеология и другая мода, и все так же быстро «перестроятся» и начнут рисовать новых идолов и богов. Она не верила во всеобщее прозрение. К вере человек должен прийти сам, всей логикой предыдущей жизни. И она должна быть выстрадана, а не восприниматься как подарок, преподнесенный неизвестно за что...

Некоторые художники, ее коллеги старшего поколения, которые когда-то сидели в президиумах партийных собраний и входили в партбюро Союза художников, теперь с неподдельным чувством рассказывали о том, как они празднуют религиозные праздники и выдерживают посты. Она и в партию в свое время не вступала, и постов теперь не придерживалась. Верочка находилась на какой-то пограничной территории между атеизмом и искренней, преданной верой в Бога. Она и рада была бы поверить всем существом, как старушки в белых платочках, что по субботам и воскресеньям приходят в церковь на исповедь, поют молитвы и целуют руку священнику. Но прежние десятилетия безбожной жизни, когда газеты, радио и телевидение изо дня в день кричали, что Бога нет и быть не может, а тех, кто верил, высмеивали, когда литературные произведения славили и поднимали на пьедестал бунтарей и безбожников, сделали свое. Что-то в душе сопротивлялось этому массовому, а потому, как казалось Вере, временному и неискреннему увлечению религией. То, из чего могла бы вырасти эта вера, было в душе затоптано. И казалось, навсегда.

Но теперь, когда она чувствовала, что находится на пределе отчаянья, когда рядом не было близкого человека, который бы обнял, утешил, обнадежил, разогнал те ужасные видения, которые вставали перед ее глазами худож-

ницы и фантазерки — как возможное дальнейшее развитие событий, когда ей нужна была какая-то духовная опора, — она обратилась к Богу. Ведь теперь ей не к кому было обращаться.

— Боже, помоги мне! Почему у меня нет того оптимизма и той веры, которая есть у моего сына? Той веры, которая позволяет без слез и малодушия перенести все, что выпало на мою долю? Он так спокоен, потому что не понимает — в отличие от меня, — что его ждет? Или он все понимает, но все равно не падает духом? Боже, я согласна отказаться от всех своих картин — от тех, что написала, и от тех, что еще напишу. Только спаси его! Зачем мне мои картины, если он всю жизнь будет лежать, прикованный к постели? Я откажусь от своей профессии, я откажусь от своих цветов, от всего, что мне дорого. Только чтобы он так не страдал. Только чтобы он выжил и выздоровел... Боже, люди говорят, что ты милосердный. Зачем же ты так наказал его? Он же ни в чем не виновен! Он — ангел, маленький, безгрешный ребенок. Добрый, щедрый, отдаст последнее, что имеет... Если ты покарал за мои грехи, то зачем его? Лучше бы меня...

* * *

Прошло еще несколько дней. То ли Верочкина молитва была услышана там, высоко на небесах, то ли так и должно было случиться независимо от ее желания, но Алеша потихоньку стал поправляться. Температура упала, появился аппетит, операционные раны постепенно заживали, и перевязки уже не были для Алеши и Верочки сплошной мукой.

Мир ее картин, ее волшебных натюрмортов находился теперь так далеко — за семью горами, за семью морями, — что Вере иногда казалось, что она вообще не художница, что мастерская отца, запах красок и скипидара, путешествия за город и букеты в собственной мастерской — все это было не с нею, а с другим человеком, которого она когда-то очень давно и хорошо знала. Но в прежней, предыдущей жизни.

Наверное, Вера и сама в полной мере не осознавала смысл слов, произнесенных ею однажды ночью в больничной палате. Она проговорила эти слова потому, что Алешу надо было спасать и не допустить к его постели ту безжалостную, неумолимую и холодную стихию, которая бы могла навсегда забрать к себе живого ребенка из теплых материнских рук. И тут все средства были хороши, все слова кстати — лишь бы только он выжил.

Прошел месяц или полтора, и Алешу вместе с Верой выписали из больницы. Выписали ненадолго, всего на три недели, чтобы потом начать новый цикл лечения. Дома с ним тоже было нелегко. Ведь по-прежнему ребенок был совсем беспомощным. Но они были дома. Дома! Где своим теплом грели стены и картины на них, где воспоминаниями согревала каждая вещь. Где рядом не толпились, как на вокзале, чужие и ненужные люди. Где из соседней палаты не доносилась оглушительная музыка. И, как в больничных коридорах, не стоял неистребимый запах хлорки. Впервые после долгого перерыва, в предчувствии творческого подъема и трепетно-светлого душевного праздника, Вера пришла в свою мастерскую. И тут почему-то вспомнила о своих словах. Вспомнила и ужаснулась их силе. Бог сделал именно так, как она просила. Нет! Все ее картины стояли на месте, они никуда не исчезли, мастерскую никто ее ограбил. Но она вдруг нечаянно и с ужасом осознала, что рисовать больше не сможет. Как бы ни хотела, как ни старалась. Что-то заледенело в глубине души — то, из чего вырастала радость, то, что превращалось потом в

необыкновенные сочетания красок. Теперь мир сделался черно-белым. Красок в нем больше не было.

Только сейчас Вера осознала смысл своей жертвы. Она ужаснулась еще раз. Что же она будет делать всю дальнейшую жизнь? Она же ничего не умеет, кроме писания картин! А как жить?.. Какое-то время можно существовать, если продавать старые работы. Но продать — значит, попрощаться с ними навсегда. Ее картины — это тоже ее дети. Как можно собственного ребенка кому-то продать?..

* * *

Верочка не знает, сможет ли она когда-нибудь вернуться к своему искусству, к своим любимым цветам и натюрмортам. Вернется ли к ней то, прежнее, цветовое восприятие действительности, ведь художнику потерять его — все равно что утратить зрение. Она не знает, будут ли в ее жизни новые картины и новые выставки, в своей стране и за рубежом. Ведь впереди у нее и Алеши еще несколько, с небольшими перерывами, лет больничной жизни. Их ждут следующие круги ада — две операции, а потом циклы реабилитационного лечения. И ее мальчику нужно будет заново учиться сидеть, стоять, ходить, бегать. Но Верочка знает, она твердо убеждена, что любит своего бедного ребенка как никогда раньше. Что любить его по-настоящему она начала только после того, как с ним случилось это несчастье.

«Я разрывалась между ним и мастерской. Мне казалось, что если бы ребенок не занимал столько времени, то как художница я могла бы сделать намного больше. Я раздражалась и злилась на него, могла наорать, могла с размаху шлепнуть. Ведь не понимала, что он — главная ценность в моей жизни. И может, Бог покарал меня именно за то, что в моем сердце было мало любви к ближним, к тем, кто вокруг. А больше — к себе и тому, что я писала.

Художник не может существовать без красоты. Но этой красотой не отгораживаемся ли мы от всей остальной, не слишком красивой жизни? Не ставила ли я изящные вазы и кувшины с роскошными букетами между собой и тем тяжелым и мрачным, что существует в жизни? И тогда за яркостью красок, за звонкостью их сочетаний уродливое и отталкивающее как будто исчезало... Думала ли я когда-нибудь о тех людях, которые месяцами и годами лежат в больницах? О несчастных матерях, которые растят больных детей? Не думала. Ведь так было легче работать в мастерской и сосредоточиться на своей профессии... И быстрее прийти к нужному результату. Наверное, Бог не мог сделать иначе, чем сделал. Ведь он хотел, чтобы я отыскала любовь в своем сердце...»

* * *

Верочка начала чаще ходить в церковь. Она бывает там каждое воскресенье. Поставит свечки, помолится Божьей Матери за здоровье сына, своих близких, попросит у Бога помощи и душевной поддержки. Вечерами Вера сидит на краешке кровати Алеши, читает очередную сказку и держит в своей руке его маленькую теплую ладошку. До тех пор, пока Алеша не засыпает и его лицо маленького ангела не трогает тихая и счастливая улыбка. И тогда Верочка думает: а может, все испытания, которые выпали на его долю, — просто трудное начало большой и необыкновенной человеческой судьбы?..

Перевод с белорусского автора.

МАРАТ ГАРДАНОВ

С весны до осени

На заре

Он вплывает в полусон —
дух жасмина ранним утром.
За распахнутым окном
куст в росе, как в перламутре.

Этот запах, этот свет,
отчего так бьется сердце,
это в восемнадцать лет
ощущение бессмертья.

Это — радость или грусть —
не понять, да и не стоит...
Мысль рождается из чувств,
как из сложного — простое.

Корни

Сосна к сосне в густом бору,
скрипя, кренятся на ветру.
Но так корнями под землей
они сплелись, что самой злой
атаке вихря все равно
свалить их наземь не дано.

Не так ли, если шквал невзгод
подчас судьба на нас нашлет,
мы устоим всего верней
за счет спасительных корней.

Нечто

Напрочь звездную сеть обесточив,
некто мир в полный мрак погрузил,
ан и так голосит что есть сил
соловей из окраинной рощи.

Как поэт, не смыкая очей,
бредит рифмами ночь напролет,
так и эта пичуга поет,
не смолкая до первых лучей.

Но бездумна ее звуковязь.
Сколь ни сладостны птичьи восторги,
вдохновеньем рожденные строки
пронимают чувствительней нас.

И гармония слаженных нот
не в пример своевольным коленцам
благодарней вбирается сердцем
и сильней за живое берет.

В пульсе музыки, в нерве стихов
нечто вовсе такое таится,
с чем по силе не мог бы сравниться
сводный хор всех ночных соловьев.

Счастье

Год за годом, день за днем
мы, как чуда, счастья ждем.
Так проходит много лет,
а его все нет и нет.

Но все чаще мы зато
вспоминаем время то,
что, как видится сейчас,
одаряло счастьем нас.

Дорога

День прошел — одной надеждой меньше.
Год прошел — одним прозреньем больше.
Дождь прошел — ни больше и ни меньше.
Жизнь пройдет — ни меньше и ни больше.

Время неизбежно доказало,
что не ту торили мы дорогу,
и хотя прошли по ней немало,
да вперед продвинулись немного.

Что стезей считали магистральной,
то путем окольным оказалось,
на каком с идеей нереальной
в ногу шла идейная реальность.

Поржавели звезды на погостах
позлатились купола на храмах,

и поставлен крест на грандиозных,
не осуществленных нами планах.

И несет нас снова наудачу
никому не ведомой дорогой.
Будь что будет. Так или иначе
день прошел, год пролетел — и слава Богу!

Сонет

На воскрешение имени
поэта Хафиза Хорезма

В архивах Индии недавно
историки издалека
сыскали рукопись дивана
хорезмского земляка.

Тиранов громкие деянья
проклятьем канули в века,
но дышит жизнью первозданной
газелей каждая строка.

Плодам злодейства и любому
не взвешенному сердцем слову
пропасть бессрочно суждено,

но выстраданное любовью,
сквозь полтысячелетья снова
звучит усладою оно.

Не в обиду

Не писать как придется —
наугад, наудачу, —
а, набравшись упорства,
выполнять сверхзадачу,

чтоб ни словом напрасно
и ни строчкою пресно,
чтобы все было ясно
и просилось бы в песню.

Да не будут в обиде
стихоманы за это,
но иначе не выйдет
из писаки поэта.

Если

…И что в сердцах нехорошо,
то хорошо сказать стихами.
Николай Ушаков

Если
речь и зашла
о совсем беспросветном
в этой каверзной жизни,
на счастье не щедрой,
потому это сказано
ладно поэтом,
что согрето любовью,
надеждой и верой.

Если
строки такие
на ноты положат,
чем минорней мелодия
в тон содержанью,
тем пронзительней песня
сердца растревожит,
чтобы самые черствые
слез не сдержали.

Если
ночь напролет
временами не спится
ради верного слова
и правильной ноты,
знать, душе без стихов
и без песен, как птице
невозможно без крыльев
и нельзя без полета.

МИХАИЛ ЛУЧИЦКИЙ

Показуха

Рассказ

Не барское это дело — ручки марать, но иногда основатель и главный тренер клуба «Дао» Михаил Дмитриевич Глазунов решает размяться. Тряхнуть стариной — своим самым старшим и преданным учеником Вадимом. Трясет основательно, иногда до синяков. Ученику давно уже за сорок, в технике он жутко неловок, хотя и старателен. Пять лет назад скучный школьный преподаватель физики Вадим Игоревич расчесал на новый манер прогрессирующую лысину, бросил курить и решил заняться спортом. Когда ученик готов, является и Учитель — так говорят на Востоке, и Вадиму Игоревичу явился Глазунов: сифу (учитель боевых искусств по-китайски) Михаил Дмитриевич обходил школы, зазывая учеников в свою секцию у-шу.

За пять лет тренировок Вадим Игоревич превратился в ходячую энциклопедию по вопросам, на сколько пальцев ниже пупа расположен энергетический центр дань-тьянь, под каким углом к линии плеч должна располагаться кисть в блоке «парящая ладонь» и сколько же разбойников мог уложить выпускник коридора смерти храма Шаолинь. К тренеру, который моложе на десять лет, Вадим подчеркнуто обращается по имени-отчеству, на вы, и почтительно переносит «тыканья» Глазунова. Попробовал бы кто-нибудь другой сказать ему просто Вадим, без Игоревича! О-о-о, какую отповедь он получит: это уже знают и дети в клубе «Дао», и их мамы, и пенсионерка, моющая за ушуистами полы. Мне думается, что Вадим Игоревич болен комплексом мужика, мечтавшего в детстве вырасти большим и сильным, но так и оставшегося маленьким и слабым, хотя и подросшим немного вширь в области талии. Но вслух я этого не скажу. В клубе «Дао» я человек, в общем-то, посторонний. Когда-то давным-давно мы тренировались с Глазуновым в одном зале, но он был уже продвинутым ушуистом, а я только начинал переучиваться с каратэ. Да и не слишком-то долго я ушуиствовал, скоро ушел в секцию тай-бокса. С той поры минуло порядочно лет, но память поклонников восточных единоборств тягучая, размеренная — Михаил Дмитриевич встретил меня, будто только вчера я по дурости покинул у-шу, а теперь одумался. Я, вообще-то, не одумался, а к Мише в зал попросился отрабатывать в уголке боксерские двойки, нырки и уклоны: его «Дао» в двух шагах от моего дома. Глазунов очень старается промыть мне мозги и вернуть на истинный путь, то есть в у-шу, но я притворяюсь тем, у кого и промывать-то из-за бокса уже нечего. Он машет рукой и идет к своему лучшему ученику. Я наблюдаю за ними. Занятно…

Вадим, похожий на перекормленную, пожилую, но сердитую болонку, безнадежно пытается зацепить Михаила Дмитриевича одним из своих вялых ударов. Двухметровый, стопятикилограммовый сифу, и сам довольно неуклюжий, тормозит, но все же успевает защититься хитроумным блоком. Чуть-чуть поднатуживается и завязывает ученика в узел, иногда заодно и тюкает его по

затылку или в печень. Глазунову эти упражнения очень нравятся. Вадим Игоревич хмуро запоминает сопутствующие пояснения учителя:

— Ты, Вадим, атаковал и в самом начале движения отвел локоть в сторону, поэтому я легко попадаю тебе в открывшийся бок, а потом вот так во-о-от ломаю тебе руку!

Вадим Игоревич пробует еще раз. Успех примерно тот же, с той лишь разницей, что теперь его бьют по шее, по спине, а потом якобы ломают колено.

— Смотри-смотри, как я возде-е-ействую на сустав, — громоздкий Миша лежит на пухленьком Вадиме и усердно крутит ему «сломанную» ногу.

— Но если у противника сломана коленная чашечка, а мы эту ногу изламываем, он может умереть от болевого шока! — умозаключает Вадим Игоревич, а говорить ему нелегко: Глазунов все еще экспериментирует с болевыми приемами.

— Ну, а вдруг колено не сломалось? — вопросом на вопрос отвечает Глазунов, и Вадиму становится ясно: если не сломалось, тогда, конечно, ногу надо крутить.

В голову ученику не закрадывается крамольная мысль: а упадет ли противник, если колено у него будет с синяком, но в общем-то целехонькое? А сам враг будет под стать Михаилу Дмитриевичу — центнер с хвостиком? Для таких сомнений в кунг-фу нужна та доля скепсиса, из-за которой в конце концов можно разувериться в святая святых. Например, в том, что щуплые буддистские монахи монастыря Шаолинь, которым потребовалось особое императорское распоряжение поддерживать силы мясной пищей, могли, причем каждый, раскидать десяток разбойников — пусть и китайских, малорослых, но с аппетитом кушавших отбивные, запивая натуральным (другого не было в продаже) вином.

Последнее время Глазунов мучает Вадима регулярно. Они готовятся к показательным выступлениям. Показуха — солянка под острым соусом древнего искусства. Глубокие поклоны участников выступления суровому наставнику, непроницаемые лица исполнителей загадочных телодвижений, отрепетированный спектакль, кто падает первым, кто вторым, кто нападает с ножом и должен притвориться искалеченным страшнее других. До гонконговских фильмов с Джеки Чаном отечественным показухам, конечно, далеко, но…

— Четвертые — шестые классы придут записываться толпой, — со знанием дела говорит Михаил Дмитриевич. А рекламно-поисковые вылазки по окрестным школам для вербовки новых учеников он устраивает каждый сентябрь.

— К нам в понедельник таэквондисты приходили, — предупреждает тренера, словно извиняется, Вадим и гордо прибавляет: — Я их в свой класс не пустил.

В голосе столько высокомерия, что можно подумать: он не пустил зазывал в секцию корейского единоборства, встав в дверях кабинета физики и обрушив на головы незваных гостей град сокрушительных и совершенных по исполнению ударов «клюв журавля» и «лапа богомола». На деле Вадим Игоревич сослался на контрольную работу, но вид у него такой, будто «корейцев» он испугал как минимум стойкой тигра или позой лотоса.

— Таэквондисты нам не помеха, — убежден Глазунов. — Они свои прыжки в классах показать не могли. А мы… — Михаил Дмитриевич уже видит будущий восторг на лицах пятиклассников. — Мы покажем пару несложных приемов.

И они репетируют:

— Бей сюда, Вадим. Не так быстро... Не так быстро, я говорю! Я же сложный прием использую!

После, уже в тренерской раздевалке, я сказал Глазунову:

— Миша, ты только на показухе без ножей обойдись.

— Поч-ч-чему? — он шипит, потому что как обычно после расправы над Вадимом красуется перед зеркалом, изображая стойку и движения змеи.

— Мавасика вспомни.

Был у нас в начале 90-х… Собственно, и сейчас есть, но слава его померкла, а тогда был Мавасик на вершине. Он первым в городе получил черный пояс каратэ, не сам себе его повесив и не получив в подарок от другого самозванца. Черный пояс Мавасику присвоил раскосый японец. Настоящий пояс привел к Мавасику гурьбу учеников и породил свору завистников. Конкуренты распускали о нем глупые сплетни, но Мавасик — в стенах своего До-дзё Валентин Абрамович Ривкин — был непотопляем: за ним стоял авторитет маленького азиата с пронзительным взглядом. На фотографии Мавасик упирался японцу плечом в плечо. Не ахти какая заслуга по нынешним временам, но в те годы!.. До сих пор каратисты в городе делятся на два лагеря — тех, кто вышел из спортзала Валентина Абрамовича, и тех, кто считает: японец вручил Мавасику пояс по недоразумению. А раскол наших каратистов на враждующие партии произошел именно после одной из показух.

Валентин Ривкин организовал показательные выступления по высшему разряду. В театральном зале арендованного Дома культуры «Октябрь» крепкие парни — ученики Ривкина — крушили кирпичи и доски, гибкие девушки в белых кимоно — ученицы — демонстрировали блестящую технику, садились в шпагаты, взмахивали ногами выше собственных голов. Зрители близки к экзальтации, и тут появляется он — Черный Пояс, икона и реликвия залов каратэ. Публика примолкла. Мавасик ничего не говорит.

Медленно он выходит на передний план и останавливается, отрешенно глядя поверх голов куда-то вдаль и словно угадывая там сокрытое от других. Угадав, вдруг сотрясает стены и первые ряды зрителей нежданным воплем ярости. Разворачивается к своим ученикам, и они, только что смирно стоявшие в шеренгу, бросаются на учителя. Но не скопом, а по распорядку: один, потом двое, потом трое, он киай — киай, и они валятся, а вдогонку кто-нибудь обязательно получает шикарный «маваси-гери», излюбленный удар Валентина Абрамовича, который и породил его прозвище. Ученики бодро вскакивают и повторяют заранее обреченные попытки одолеть сэнсэя. Особо старательные — заставь такого Будде молиться!.. — падают, но встают так стремительно, что оказываются перед незащищенной спиной учителя. Ретивые почтительно ждут, пока мастер развернется к ним лицом, а потом — летят на пол. Нападали бы со спины, раз драться не умеют! Не-е-ет. Всем известно: каратисты сзади не нападают, искусство у них благородное, да и поди покажи красивую технику, если свои же ученики начнут тырить тебя со всех сторон.

Отработав программу «Нападение на Мавасика без оружия», каратисты принесли из-за кулис палки и стали угрожать ему всяким дрекольем. Старательные и дисциплинированные, они не ошибались. Первый бьет шестом сверху, второй тыкает колом в живот, третий машет по ноге — ни разу не сбились с ритма: первый падает налево лицом вниз, второй направо, третий валится на первого. Чуть-чуть оплошал сам сэнсэй. Большинству из учеников по сценарию показухи доставался коронный удар Мавасика — правой ногой в голову, но парню богатырского сложения с синим поясом причитался пяткой с разворота. Синий пояс незло притворился, что бьет сэнсэя деревяшкой по шее. Мавасик ловко проскочил под палкой. На тренировках частенько выходила осечка. Плечистый ученик знал: сэнсэй сейчас шмыгнет по низу,

и инстинктивно направлял кол пониже, а Валентин Абрамович получал по макушке. В этот раз Мавасик красиво избежал удара, но — вместо отрепетированного удара пяткой с разворота по часовой стрелке звонко шлепнул здоровяка не по правой, а по левой щеке. Сэнсэй уже порядком устал, и один удар вместо другого получился сам собой. Все бы ничего — зрителям какая разница? — но ученик, приготовившийся рухнуть на левый бок, теперь должен был бы падать направо. Но там уже не было лежачих мест. Парень озирался по сторонам, и разочарование публики повисло над залом. Ведь что выходило? Выходило, что каратист с черным поясом не в силах свалить противника, если тот не на одну, а на две головы выше. Парень с синим поясом виновато смотрел на тренера, скорбно сжимая палку. Он и сам понимал, в какую неловкую ситуацию поставил учителя. Мавасик решил исправить положение и резко выполнил тот самый удар, которого ученик и ждал с самого начала. Но вот беда: на репетициях боец намертво заучил — бить сэнсэя по шее, ждать шлепка по уху и наконец упасть, желательно с грохотом. А тут Ривкин бил его без предварительного шестом справа, и от неожиданности ученик дернулся всем мощным телом, спасая повинную голову. Не спас. Удар получил, и на этот раз упал без промедления, но в неловкой попытке сберечь ухо нечаянно угодил шестом в пах учителю. Вышло нешуточно, Мавасика перекосило. Он согнулся, но, собрав волю в кулак, сумел притвориться, что ничего не произошло, а он просто решил отдохнуть, сидя в дза-дзен. Зрители в тот вечер уже несколько раз видели: каратисты время от времени сидят на коленках с закрытыми глазами. Правда, лицо Валентина Абрамовича почему-то не выражало отрешенного спокойствия, скорее напоминало зеленый помидор из трехлитровой банки «Томаты консервированные». Через несколько минут он натужно поднялся, и заскучавшая публика оживилась хлопками в ладошки. Это придало мужества герою дня, и начался следующий раздел программы — «Победы Валентина Ривкина над противниками с ножами».

Ножей было три — кухонный, сувенирный охотничий и специально для показухи раздобытый немецкий флотский кортик времен Второй мировой. Оружие распределили по длине лезвия соответственно росту оппонентов Мавасика. Фашистский кинжал достался виновнику заминки с шестом, и парень искренне хотел реабилитироваться. Когда подошла его очередь нападать на сэнсэя, он вложил всю душу в старательный удар кинжалом сверху вниз. На тренировках-репетициях учитель уверенно выполнял верхнюю защиту «аге-укэ», а потом… Неважно, что потом. В тот вечер ученик перестарался и опустил кинжал со всего маху. Блок Мавасика не удержал непривычно мощного движения, и кинжал воткнулся Валентину Абрамовичу в череп. Рассвирепев, сэнсэй нанес ученику несколько таких ударов, что в травматологию они поехали вместе. Поразительно, но Мавасик, бледный, с торчащим из макушки кинжалом и струйкой крови, стекающей по лицу, вышел на край сцены, поклонился публике ритуальным поклоном «рэй» и только потом, не спеша и не разжимая кулаков, самостоятельно ушел за кулисы. Большинство зрителей остались совершенно убежденными, что Валентина Ривкина на протяжении всей показухи били, резали и кололи абсолютно всерьез, и вечер этого фантастического человека состоял из смертельного риска. Возможно, возможно… Во всяком случае, Мавасик приехал на такси в больницу со все так же торчащим из головы фрицевским холодным оружием.

Не удивительно, что по городу поползли легенды: кости каратистов выдерживают удары ножом, самурайским мечом и топором. Рана, кстати, оказалась на удивление легкой. Слабые голоса сомневающихся — тех, кто говорил, что нож в голове — это ловкий фокус, — никто не расслышал. Мое мнение уж

точно никого не интересовало. Мне только-только исполнилось шестнадцать, каратэ я занимался без году неделя, и вообще, кто я такой против Ривкина с его черным поясом. Да я и сам не мог разобраться в своих смутных ощущениях. Я по-прежнему думал, что бывалый каратист — грозная боевая машина, но маленький червячок неверия в воинское всемогущество Валентина Абрамовича закрался в мою душу. Возможно, дело было вот в чем…

Меня тогда, помимо секции каратэ, случайным ветром занесло в театральную студию. На тренировках я осваивал простейшие технические действия, путался в названиях стоек, старательно зубрил сложные фамилии грозных великих японцев. «Фуна-коси», «Масу-дасу»… ой, прости, мастер, не «дасу», а «Масутацу». Пределом моих мечтаний было умение выполнять боковой удар ногой в прыжке. День за днем я подпрыгивал, подскакивал и брыкался ногой — прыг-брык, прыг-брык, — но, наверное, мечты не сбываются от упорных подскоков. Не получался у меня боковой ногой в прыжке — хоть с «киай», хоть без «киай». Прыжок в длину, в высоту — пожалуйста. Удар ногой — тоже, корявенький, но узнаваемый. А вот так, разом взмыть над татами и на лету противника пяткой в грудь — «ш-ша!», он шлеп, встать не может, а я над ним в устрашающей стойке и лежачего не добиваю: чего об издыхающего кроссовки пачкать! Эх, вот так почему-то не получалось.

А после тренировки, грустный, но не расставшийся с мечтой, я спешил в театральную студию, где мы, десяток разнополых подростков, репетировали реплики баб-ягинь и иван-царевичей и подыскивали себе большие роли. Мы требовали ставить «Гамлета» или хотя бы «Ромео и Джульетту», а режиссер Галина Викторовна настаивала на «Коте в сапогах». Сошлись на компромиссном «Иване Стрельце». Сказка была с наскучившими Ягой и Кощеем, непременной Царевной, но осовремененная. Кощея автор выписал молодым и красивым, Бабу Ягу нарядил в мини-юбку. Первыми сдались девчонки, после позарился на кощееву красоту и бессмертие друг Саня. Там уж и я, пока не перехватили, испросил для себя роль Стрельца. Омоложенная сказка давала простор для творчества, и премьеры мы ждали страстно. Юбка Бабы Яги была смелым вызовом общественной морали. Возражения Галины Викторовны девочка Юля смела:

— Я выйду на сцену в этом костюме, или пусть Ира играет мою роль!

Ира уже была Царевной, и ее это устраивало — не в мини, но с сигаретой.

Мне, Ивану Стрельцу, предстояло извести Кощея-Санька, и мы порешили рубиться на мечах. В реквизите студийки мечей не нашлось, зато отыскались две шпаги. Не бутафорские, а нормальные звонкие стальные пруты, с гардой и эфесом. Решительный бой за счастье бросившей курить Царевны мы с Саньком-Кощеем репетировали самозабвенно — и перепрыгивание через шпагу, рубящую по ногам, и кувырок через голову в тот миг, когда враг рубит с плеча по шее, и выхватывание друг у друга оружия, и даже нечто похожее на бросок через бедро. Все расписано как по нотам: укол сюда, удар туда, кувырок, укол, удар… Но, конечно, в день премьеры дуэль Ивана и Кощея из симфонии превратилась в игру на столовых ложках. Вернее, на здоровых шампурах. И не в игру вовсе. Кто-то из девчонок спутал реплику, из-за этого Санина фраза теряла всякий смысл. Он растерялся. Я, спасая спектакль, изменил свои слова, после которых и должно было начаться сражение с кувырками и прыжками. И тут Санек вышел из оцепенения и ринулся в бой. Никакого «укол туда, удар сюда» он не соблюдал. Рубил наотмашь, и жало его шпаги сновало возле моих глаз. Отступать я мог только до кулис, дальше — провал премьеры. Драматическая правда пьесы требовала от меня немного пофехтовать с Кощеем, повалить его, подбежать к стражнику заветного ларца, сразить его, а там уж по

старинке — в ларце яйцо, в яйце игла. Но Санек, похоже, решил перекроить финал и отомстить за всех погубленных добрыми молодцами кощеев. Спектакль и моя жизнь висели на волоске. Ларец стоял посреди сцены и был почти недостижим. Почти. Призрачный шанс прорваться живым к Кощееву добру у меня был. Шпаги — и мою, и взбесившуюся Санину — кто-то когда-то предусмотрительно затупил. Смертельным оружием они все равно остались, но ведь Санек не д'Артаньян — я неожиданно отпрянул на шаг назад и тут же прыгнул вперед, исполнив кувырок-полет. Оружие Кощея кочергой проехало по моей спине, а на выходе из группировки тупо, но больно ткнуло угадайте куда. Тычок здорово придал мне ускорение, и я взлетел над сценой. Никогда ни до, ни после мой боковой удар ногой в прыжке не был так совершенен. Стражника ларца Андрюху мой удар бросил за кулисы, как тряпичную куклу. Ларец валялся у моих ног. Пластмассовое яйцо катилось к оркестровой яме. Кощееву смерть я вовремя перехватил — Санек спешил ко мне с оружием в руке и все теми же бессмысленными глазами. Я успел сломать иглу, и Саня пришел в себя. Нехотя, но что уж поделать, он умер с запоздалой репликой:

— Яйцо! Мое яйцо!

Зрители, школьники младших классов, согнанные учительницами, встретили мою победу не просто аплодисментами. Во взрослом театре их восторг назвали бы овацией. Десять дней школьных каникул мы представляли «Ивана Стрельца», и уже на третьем спектакле благодарная публика из первого «А» дралась с первым «Б» за места возле сцены. Когда действие близилось к развязке, бывалые театралы, пришедшие в третий раз, громким шепотом возвещали соседям:

— Сича-а-с!

И я не обманывал чаяния зрителей. Я прыгал, летел и разил ногой. Андрей Ершин, бесталанный, с безмолвной ролью охранника ларца, каждый раз приносил себя в жертву искусству. Дети с радостным ором свидетелей торжества справедливости вскакивали со своих мест и искренне верили, что Добро, бьющее ногой, всегда побеждает Зло.

Понимаете теперь, почему я засомневался в способности Валентина Абрамовича Ривкина выдерживать удары палками в пах, а кинжалами — в темечко? Я не был ни умнее, ни прозорливее других зрителей на показухе Мавасика. Но я знал, на какие чудеса и подвиги вдохновляет человека сцена. Я никому не сказал, но догадался: не секретные восточные упражнения развили в первом нашем черном поясе умение ходить и кланяться публике с воткнутым в макушку оружием. Суперчеловеком Мавасика в тот вечер сделало не каратэ, а свет рамп, колыхание кулис и роль, сыгранная Ривкиным в «Октябре», — роль героя, не стонущего, не падающего, не ведающего ни страха, ни боли. И Мавасик, одаренный актер от природы, сыграл ее на отлично.

Почти так же самозабвенно, как Андрей Ершин. Не годный в театре ни на что сложнее стояния у хозяйского сундука, Андрей десять дней подряд на утреннем и вечернем спектаклях безропотно улетал за кулисы. На третий день он попросил подстилать ему маты для приземления, но труппе, да и Галине Викторовне, было не до него: Ира-Царевна случайно залила гуашью платье, и вечерний спектакль мог сорваться. Только когда школьные каникулы закончились, а «Иван Стрелец» сошел со сцены и мы всем коллективом собрались за чаем вспоминать наш театральный мини-сезон, Андрей, которому опять было нечего сказать, показал нам синяки на груди всех цветов и оттенков: черные, фиолетовые, синие с желтизной — одни просто пятнами, другие по форме подошвы моих ботинок. Он не укорял меня, и мне не пришло в голову извиниться, ведь мной на премьере и после повелевала Сцена.

А роль — она, к сожалению, только на сцене преображает так, что сам себе диву даешься. Уже в гримерке ты не всемогущий победитель вселенского зла ударом ноги, а подросток с юношескими прыщами. Не сэнсэй, а маленький суетливый Ривкин.

Хотя Глазунову проще — он из своей роли Великого Учителя не выходит никогда.

Михаил Дмитриевич снисходительно ухмыльнулся. Глазунов, хоть и не каратист, состоит в лагере тех, кто считает Ривкина проходимцем.

— Мавасик — он Мавасик и есть. Ему же блин от штанги на голову упал.

Этой байки я не слышал, и Дмитриевич поведал мне, как Мавасик решил подкачаться в зале атлетической гимнастики и каким-то образом умудрился уронить двадцатикилограммовый «кружок» даже не на ногу, а на свою многострадальную голову. Не знаю, верить ли Глазунову. Про Мавасика недруги много чего рассказывают и врут беззастенчиво. Пошел Мавасик искупаться на озеро, вступился за девушку, загоравшую топлесс и вызывавшую живой интерес у трех хулиганов. Веселых молодых людей Валентин Абрамович напугал многообещающей стойкой и боевым криком, но — оказалось, девушка не жертва, а подруга одного из парней, и она без всяких восточных ухищрений грубой пощечиной разбила Мавасику нос. А тогда уж и ее приятели, осмелев, здорово вломили каратисту. Его яростный боевой вопль их больше не смущал, но помог выжить Ривкину: на крики подоспел катер с двумя крепкими осводовцами. Спасатели за дракой просто наблюдали, но когда Мавасика стали пинать в сторону воды, решили: «наша территория», и вмешались. В этой сплетне про Валентина Ривкина уж точно больше дыма, чем огня. Во всяком случае, никто не отрицает, что оба осводовца пошли в ученики к Мавасику, а раз так, то надо полагать, что Валентин Абрамович вопреки злым языкам держался весьма достойно против троих, а если считать и девушку топлесс, то четверых нападавших.

Никогда не простят недруги Валентину Ривкину того паломничества в его секцию, которое началось после первой в городе показухи. Все наши мастера-сэнсэи научились на опыте Ривкина, как заманивать к себе учеников, и даже его ошибки послужили другим наукой. Но еще долго многим не будет давать покоя то, как за считанные месяцы после «октябрьских событий» Ривкин обзавелся тогда еще не виданным на наших дорогах сверкающим джипом.

Вот и к Глазунову, как ни старательно он репетирует свои показухи, хорошо если запишутся двадцать-двадцать пять человек. Дмитриевич на первой же тренировке внесет их фамилии в платежную ведомость. Но разве это ведомость — один не донизу разлинеенный листок? У Мавасика, говорят, проверка по списку — кто оплатил тренировки, а кто нет, — занимала минут сорок.

ОКСАНА ГОРОВЕНКО

При светлой и темной погоде

* * *

Умом себя не превозмочь,
Коль сердце есть, и сердце — бьется!
Чем сердцу бедному помочь,
Когда умом — не удается?..

* * *

Птица белая крылата,
Горделива и легка,
И в полете величава,
И в покое велика.

Паучок труслив и тонок,
Неприметен и липуч,
Но, однако же, не жалок
И по-своему везуч.

Он плетет — и в том наука,
И в науке той — секрет:
Много мелкого в природе,
Без чего — и птицы нет.

* * *

Будь благодарной за обиды
Без жажды длить в душе укор,
Не прячься в холод Антарктиды
И не неси сплошной дозор.

Не призывай дожди и тучи
Обрушиться сплошной стеной,
Не строй из палок лес дремучий —
Не сделать то тебе одной.

И не храни воспоминанья:
Где голос резок был, где — зол,

Не требуй мира, пониманья —
Никто нигде их не нашел.

Не приводи себе примеры
И не рисуй благих картин, —
То лишь видения, химеры
Добра и зла, ведь мир един.

Не строй цепей сплошного знанья
Из мрачных ликов бытия,
Не исключай судьбы касанья
И думай «мы», где раньше — «я».

Тогда, возможно, выйдет случай
В обиде радость испытать.
Себя обидою не мучай:
Она дается в благодать.

* * *

Не впопыхах, не на ветру
При солнце, в ясную погоду
Пронзает мысль: «И я умру,
Уйду в мираж, в эфир, в природу».

Ничто не в силах изменить
Уклон житейских траекторий.
Спешите жить! Спешите быть
Превыше горестей и хворей.

Вам жизнь дана преодолеть
Путь от мечты до воплощенья,
И надо слыть, и надо сметь
Предстать венцом Его творенья.

Нельзя позволить упустить
Свой шанс реально проявиться:
Писать, ваять, отдать, излить
И так уйти и — раствориться.

ЗИНАИДА КРАСНЕВСКАЯ

Люди и вещи

Что же все художество, как не нахождение потерянных вещей,
не увековечение — утрат?
Марина Цветаева

Вместо предисловия

«Если человек прожил долгую жизнь, и ему все еще хочется жить, — писал замечательный русский писатель Михаил Пришвин в своем романе-сказке «Осударева дорога», — *то прошлое складывается в его душе неминуемо, как роман или сказка. Сколько есть на свете таких людей, что жизнь, прожитая в них, ищет себе выхода, и они говорят о себе:*

— Если бы мне свою жизнь пересказать, то это был бы роман замечательный!

Я принадлежу сейчас к этим людям, и мне всегда кажется так, что если я о себе рассказываю, то это не есть простодушное удовольствие показать себя самого людям, а действительно мой лучший роман или сказка. Больше! Мне кажется, в этом деле освобождения себя от пережитого есть не только поэзия, но и еще что-то больше поэзии...»

Прилепляясь душой и телом к известным личностям, честно признаюсь: столь же схожими чувствами продиктованы и мои истории о прошлом, в центре которых, как ни странно, не столько сами события, сколько обычные житейские вещи в их взаимодействии с дорогими мне людьми. А может, и не совсем обычные, ибо прошедшее и в самом деле уже подернуто для меня флером сказочности и некоторой романтической загадочности, что, впрочем, ничуть не сказывается на достоверности самого повествования. Но обо всем этом судить уже читателю.

Чайная посуда

Оказывается, кое-какие следы наследственности можно, при желании, отыскать и в собственной натуре. Например, страсть к посуде. Надо сказать, в нашей семье — это сугубо фамильное увлечение, причем в третьем поколении кряду. Так, бабушка моя по линии мамы, урожденная Татьяна Иосифовна Рыбак, была великой любительницей и собирательницей фарфора, что, между прочим, было совсем не типично и для тех лет, и для тех, затерянных в лесной глухомани, мест. Безграмотная деревенская женщина, она рачительно откладывала по копейке, копя необходимую сумму, чтобы потом, при очередном

походе «на Завод», как называли между собой односельчане заводской поселок Глуша, расположенный в нескольких километрах от их деревни Кисловщина, потратить заначку на очередную дюжину тарелок с красной или синей каемочкой. Все деревенские были отлично осведомлены о том, что именно у «цёткі Таццяны» всегда можно разжиться посудой и на свадьбу, и на крестины, и на поминки. Бабушка безотказно выдавала свои сокровища соседкам и стоически сносила потери, когда вместо нескольких дюжин целых тарелок ей возвращали заметно поредевшую стопку, в которой многие единицы, к тому же, были надколоты, надтреснуты и вообще, по разумению бабушки, не пригодны к дальнейшему употреблению.

В таких случаях бабушка никогда не опускалась до выяснения отношений, прекрасно зная, как легко от безграничной и безраздельной любви по соседству перейти к такой же всепоглощающей ненависти. Она лишь тяжело вздыхала, расставляя тарелки по местам, и тут же начинала копить средства на очередную покупку. Ну, а вся битая посуда немедленно выбрасывалась вон. Бабушка терпеть не могла выщербленных по краям тарелок. Кстати, и я тоже. Вот это и есть гены в их чистом виде!

Вполне естественно, что мама, оказавшись сразу же после войны в Риге, еще не утратившей налет былой буржуазности в своем облике, подняла планку фамильного увлечения на более высокий уровень. Мама тяготела уже не просто к посуде, а именно к хорошей посуде, разумеется, в рамках тех материальных возможностей, которые были в семье на тот момент. А потому посуда приобреталась в нашем доме регулярно, и надо сказать, посуда весьма хорошего качества. Что совсем не удивительно: ведь знаменитый кузнецовский фарфор начали производить в конце XIX века на фабрике, расположенной как раз в окрестностях Риги. А потому традиции еще были живы, и рижский фарфор послевоенного времени продолжал радовать потребителей и изысканностью оформления, и высоким качеством самой продукции.

Мое увлечение посудой началось в раннем детстве, и поначалу оно вылилось в нечто пугающе экстравагантное и, боюсь, совершенно непонятное современному человеку. Судите сами! Любимое занятие у нас, подружек, нескольких пятилетних — шестилетних девочек, было — скитаться по близлежащим развалинам разрушенных войной домов, коих еще было очень много в тогдашнем Даугавпилсе, в поисках черепков от битой посуды. Помню, это увлечение стоило мне моря слез. Ибо мама регулярно наказывала непослушницу за подобные рейды по руинам, справедливо опасаясь, что где-то между битым хламом может притаиться неразорвавшийся снаряд или что-то еще пострашнее. Но страсть коллекционера была сильнее всех наказаний. И улучив минутку, когда мама на какое-то время теряла бдительность и утрачивала контроль над ситуацией, я тут же стремглав мчалась к ближайшей подружке Свете, и мы немедленно отправлялись на поиски сокровищ. Все собранные черепки дома бережно перемывались в ванной комнате и раскладывались по коробочкам из-под конфет. При очередной генеральной уборке коробочки безжалостно выбрасывались мамой на помойку, и, после обильно пролитых слез, работа по восстановлению коллекции начиналась сначала.

Правда, выбрасывалось не всегда и не все. Помню, мама так и не рискнула отправить в мусорное ведро гордость моего собрания и предмет зависти всех остальных коллекционерок — половинку изящной вазы из темно-синего хрусталя. Половинка была такой удивительно прекрасной в своей законченности, будто так и было задумано мастером изначально. Остается только гадать, какой такой взрывной волной прекрасную вазу распилило ровно на две части, да еще с такой аккуратностью, словно над доставшимся мне

осколком трудилась не военная стихия, а чья-то неведомая рука. Я особенно любила разглядывать ее на солнце: хрусталь искрился и переливался в лучах, и брызги разноцветных искр рассыпались вокруг, создавая совершенно сказочное зрелище.

В память об этом незабываемом экземпляре своей детской коллекции я, многие годы спустя, приобрела в антикварном магазине дорогущую вазу из цветного богемского хрусталя, которая и теперь одиноко пылится в комнате, отведенной под библиотеку. Беда вот только в том, что во взрослой жизни у меня никогда не было столько свободного времени, чтобы заниматься любованием лучепреломления солнечного света в цветном хрустале. Да и честно признаюсь, такого эффекта, который достигался в далеком детстве с помощью всего лишь разбитой стекляшки, вряд ли добьешься уже с целой вещью. Тяжеленную вазу не покрутишь в воздухе так вот запросто, под разными углами, и все для того, чтобы добиться оптимального направления падающего света.

Детское увлечение собиранием черепков прошло как-то само собой. Во-первых, разрушенные дома постепенно стали исчезать из городского ландшафта. Во-вторых, меня научили читать, и появилось новое, более интересное времяпрепровождение. А в-третьих, подоспела новая мода: все мы, подружки, переключились на коллекционирование фантиков.

И все же страсть к красивой посуде, страсть, которую я пронесла через всю свою дальнейшую жизнь, зародилась у меня именно в детстве, и именно в Даугавпилсе, и отнюдь не во время шатания по развалинам. А вот и сама история зарождения этой страсти во всей ее безыскусной правде.

Неподалеку от нашего дома, на той же самой Народной улице, стоял старинный особняк с мезонином, в котором обитала семья бывшего царского генерала. Как тут не вспомнить известную песню, которую так надрывно исполнял в свое время Игорь Тальков, обращаясь к России? «*Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам*».

К счастью для моего соседа, его никто не расстреливал, и он умер своей, так сказать, естественной смертью, дожив до весьма преклонных лет в красивом доме с мезонином. Генерал, судя по всему, бежал вместе с семьей из революционного Петербурга и поселился в приграничном тогда Двинске, отошедшем по Брестскому миру к буржуазной Латвии. Видно, надеялся переждать в небольшом провинциальном городке революционные потрясения у себя на родине. Увы-увы! Ожидание затянулось на долгие годы, ибо большевики отнюдь не торопились прощаться с властью. А потому генерал так и умер в эмиграции, на чужбине, хотя и совсем близко от столь любезного его сердцу Петербурга.

Впрочем, вся эта катавасия с соседским генералом случилась еще задолго до того, как папу перевели из Риги на новое место работы в город Даугавпилс и поселили вместе с семьей в служебной квартире неподалеку от генеральского дома. В старинном же доме с мезонином обитала на тот момент большая и немного бестолковая семья дочери покойного, а сама она, по странному стечению обстоятельств, работала обычным бухгалтером на заводе, где начал директорствовать мой отец.

Любовь Игнатьевна, как звали дочь царского генерала, была тихой, я бы даже сказала, несколько забитой женщиной, замученной детьми, работой и бесконечными хлопотами по дому. И мне, ребенку, она казалась совершеннейшей старухой, хотя если судить по возрасту ее детей, на тот момент учащихся старших классов, то вряд ли Любовь Игнатьевна перешагнула даже планку сорокалетия.

Как вспоминала мама, в детстве со мной было две беды. Пока я не умела читать сама, то изводила всех взрослых, требуя, чтобы мне почитали вслух. Ну, а когда — на свое горе! — меня, еще дошкольницей, научили читать, то я тут же стала доставать родителей бесконечными просьбами приносить мне все новые и новые книги. В послевоенном Даугавпилсе купить хорошую детскую (да и взрослую тоже) книгу было делом архисложным. Мама приноровилась приобретать книги даже на барахолках, где в первые послевоенные годы люди продавали все что только можно. Она также записалась в городскую библиотеку, но поскольку библиотека была взрослой, то и книг там для меня было не много. В детскую же библиотеку меня по возрастным данным еще не принимали. Словом, как-то случилось само собой, что мы, в конце концов, прибились к дому Любови Игнатьевны, у которой, по отзывам знающих людей, имелась просто замечательная библиотека, доставшаяся ей в наследство от отца.

Девочка я была воспитанная, вежливая и, несмотря на характер, послушная, к тому же, дочь начальника, а потому пропуск в генеральский дом был выдан мне незамедлительно. Первый раз я отправилась туда в сопровождении мамы. А потом зачастила и сама, по мере того как книги прочитывались и относились назад с тем, чтобы взять новые.

С тех далеких пор, когда я впервые переступила порог дома с мезонином, прошло уже сто, нет! — двести лет, но в памяти запечатлелся интерьер генеральского жилища так ясно и четко, словно я только что вышла от Любови Игнатьевны с очередной стопкой книг. А потому могу вполне компетентно, а главное, *free of charge*, как говорят англичане, то есть совершенно бесплатно, дать современным постановщикам чеховских «Трех сестер» консультации по поводу того, каким именно был дом, в котором обитали в свое время сестры Прозоровы. Тоже ведь жили в провинции, и тоже — в доме с мезонином.

Разумеется, я видела лишь малую часть дома, его, так сказать, парадные залы, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы поразить мое детское воображение. Хорошо помню просторную прихожую с гнутой стойкой для шляп и зонтиков в углу и старинным зеркалом на стене в тяжелой, наверняка бронзовой оправе, большую столовую с таким же большим овальным столом посредине, вокруг которого были чинно расставлены венские стулья в количестве не менее восьми штук. Припоминаю, что в доме вообще было много венской мебели — повсюду легкие гнутые столики, удобные плетеные кресла с думками, кресла-качалки и прочее.

Словом, у Любови Игнатьевны все было совсем не так, как у нас в квартире или в домах наших многочисленных знакомых. Так, огромная комната с тремя высокими сводчатыми окнами, служившая, скорее всего, не только столовой, но и гостиной, потрясла меня наличием рояля, который сиротливо примостился в самом дальнем углу возле окна. До этого момента настоящий концертный рояль вживую я видела только единожды, на сцене зала в городском Народном доме, где до войны размещалась Ратуша и куда водила меня мама на какой-то там детский утренник.

Хорошо бы ввернуть здесь к месту известную всем строку из стихотворения Афанасия Фета о том, что *«рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали»*. Но нет! В доме Любови Игнатьевны рояль всегда был закрыт, а на его крышке постоянно валялась куча всякого хлама: школьные портфели, старые газеты, учебники и даже спортивный инвентарь: коньки — зимой, мячи — летом. А потому не могу засвидетельствовать личным опытом дрожание струн в генеральском рояле.

Небольшую комнатку, в которую вела боковая дверь из столовой, с одним, давно не мытым окном и обилием паутины по углам, лишь с большой

натяжкой можно было назвать библиотекой. Но именно там и хранились книжные сокровища покойного генерала. С годами мне стало понятно, что это действительно были сокровища безо всяких преувеличений и кавычек: на простых оструганных стеллажах, облепивших все стены до самого потолка, были свалены как попало совершенно уникальные издания и книги. Тускло поблескивали корешками массивные тома знаменитого словаря Брокгауза и Эфрона, рядом стояли многочисленные собрания сочинений, выходившие в конце XIX — начале XX века в качестве бесплатного приложения к самому популярному иллюстрированному изданию тех лет, журналу «Нива». (Позднее, уже в новое время, на эту роль стал претендовать журнал «Огонёк», который в нашей семье выписывался лет пятьдесят, не меньше, вплоть до начала перестройки, пока, ведомый тогдашним главным редактором товарищем Коротичем, журнал не превратился в самую настоящую выгребную яму, и его стало просто невозможно читать из-за обилия публиковавшихся там скандально скабрезных откровений.) Чуть ниже пылились и сами подшивки дореволюционной «Нивы», рядом валялись старые гимназические учебники и масса самых разнообразных детских книг. Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, братья Гримм, Шарль Перро, Джонатан Свифт, Даниель Дефо — впервые книги всех этих авторов я увидела именно в генеральском доме. Увидела и прочитала, по одной, и почти все до одной.

Поначалу меня несколько обескуражил кавардак, царивший в генеральской библиотеке. Было ясно, как божий день, что дети Любови Игнатьевны не часто отмечаются возле книжных полок, если вообще заглядывают в сей пыльный угол, похожий скорее на чулан, чем на книгохранилище. Да, видно, и взрослые обитатели дома были не большими книгочеями, иначе взялись бы уже давным-давно навести хотя бы какой-то мало-мальский порядок в своем собрании. Что на первых порах попыталась сделать я, в меру собственного детского разумения. Потому что у нас дома мама строго следила за порядком на этажерке с книгами. Вот я и стала аккуратно расставлять книги на нижних полках, руководствуясь исключительно их размерами: книжечка к книжечке, корешок к корешку.

Но скоро я так увлеклась самими книгами, что начисто забыла о своем благом намерении помочь хозяйке дома. К тому же, несмотря на ребяческий возраст, я инстинктивно чувствовала, что негоже постороннему человеку лезть в чужую жизнь и в чужой быт: люди живут так, как им удобно, а не так, как тебе нравится.

Словом, я приходила в дом с мезонином и прямиком шла в библиотеку, а там тихонько садилась на маленькую скамеечку для ног, вытаскивала очередную пачку книг с тех полок, до которых могла дотянуться, и с головой уходила в самое увлекательное занятие на свете: рыться в книгах. Право же, я отлично понимаю Карла Маркса, который в шутливой анкете, разработанной его дочерьми, именно так и определил свое хобби.

Ах, какие замечательные, какие, наконец, красивые книги посчастливилось мне держать в руках! Как теперь вижу перед глазами роскошно изданные сказки Андерсена с совершенно потрясающими иллюстрациями, переложенными тонкими листами пергаментной бумаги. И Дюймовочка, и Герда, и Кай, и стойкий Оловянный солдатик, и другие герои сказок прославленного датчанина навсегда сплелись в моем сознании именно с теми образами, которые создал неизвестный мне художник, иллюстрировавший то старинное издание. А каким потрясающе красивым был томик народных китайских сказок! Яркая обложка желто-карминного цвета с петляющим руслом реки Янцзы в окружении живописных фанз, павлинов и прочих диковинных штукенций, однозначно относящихся к восточной экзотике.

Но не книжками запомнился мне старинный генеральский дом. Вернее, не только книжками. Ибо именно там в один прекрасный день со мной случилось потрясение, навсегда сделавшее меня фанатом красивой посуды. Особенно чайной.

Уж и не помню за давностью лет, как так случилось, что мой очередной поход «за книгами» совпал с единственным тогда выходным днем. Обычно мама всегда отслеживала, чтобы я не надоедала людям по воскресеньям. Но факт остается фактом: я заявилась к Любови Игнатьевне тогда, когда вся ее многочисленная семья была в сборе. И не просто в сборе. Едва я переступила порог прихожей, как в открытую дверь столовой увидела, что за обеденным столом восседает сама хозяйка дома, ее муж, ее старая тетушка, выполнявшая по совместительству функции домоправительницы, два сына и дочь и кто-то еще из посторонних. Самые настоящие гости!

Я, застеснявшись, уже приготовилась тихо юркнуть обратно на улицу, но была остановлена хозяевами. Меня заставили раздеться и пригласили к столу. Чаепитие было в самом разгаре, и на весь дом разносились аппетитные запахи свежей выпечки. Итак, меня усадили за стол, и Любовь Игнатьевна, метнувшись к высокому пузатому буфету, стоявшему у стенки напротив, извлекла оттуда чистую чашку с блюдцем и поставила ее передо мной.

Я глянула и обмерла от восхищения: подобной красоты мне еще видеть не доводилось. Как сейчас помню, то была чашка из тонкого фарфора, покрытая сверху кобальтом с узеньким золотым ободком по самому краю. Фарфор был таким тонким, что кобальт просвечивал насквозь, и изнутри чашка тоже казалась синевато-голубой. Но не это главное! Потому что сердце мое задрожало от восторга, как те струны в вечно запертом рояле, когда я увидела роскошную алую розу, украшавшую дно чашки. Вот хозяйка плеснула в чашку немного заварки, потом, пододвинув ее ближе к самовару, открыла краник, и тонкая струйка воды побежала вниз, а я, как зачарованная, смотрела и смотрела, не отводя глаз, за тем, как роза вдруг слегка дрогнула и, оторвавшись от дна, медленно поплыла вверх. Фантастичное по своей красоте зрелище!

Я начисто забыла вкус пирога, которым меня потчевали. Я не помню, какие книжки взяла я с собой в тот раз и взяла ли их вообще. Зато отлично помню, с каким воодушевлением рассказывала я маме о прекрасной чашке, из которой пила чай в гостях. После чего с сожалением глянула на нашу парадную посуду, которая еще сегодня утром казалась мне необыкновенно красивой. И кстати, не такую уж и плохую, ибо несколько чашек сохранилось в нашем хозяйстве до сего дня, а потому могу засвидетельствовать, что рижский фарфор тех лет был далеко не худшим фарфором в мире, в том числе и с точки зрения художественного оформления. Тем не менее после чашки с розой наша чайная посуда показалась мне верхом убожества, и я с пафосом заявила маме:

— Вот вырасту большой, и у меня дома будет полно такой же красивой посуды, как у тети Любы!

И вот я выросла, и даже успела состариться. И, между прочим, свое детское обещание выполнила полностью. Какой только посуды нет в моем доме! И вся — красивая. Я скупала ее везде где только можно и привозила домой из всех своих многочисленных поездок по стране. В серванте вперемежку стоят чешские, немецкие, польские, голландские и даже английские тарелки и блюда. А уж про чайную посуду и говорить нечего! Тончайший китайский фарфор соседствует с изящными чашечками из старинного сервиза, который я приобрела по случаю в какой-то забытой богом и людьми комиссионке. Есть у меня и японские чашки, и, представьте себе! — с алыми розами. Их спе-

циально прикупила для моего собрания студенческая подруга Таня Левкевич на своей родной Новогрудчине в дальнем-предальнем сельпо, в самом начале семидесятых годов прошлого века. Словом, живи и радуйся, Зинаида Яковлевна! Пей чай каждый день из новой чашки и наслаждайся жизнью.

Но странное дело! Красивые чашки есть, а радостного ощущения праздника, испытанного мною в далекий воскресный день в доме с мезонином, больше испытать не довелось. Я уже привыкла к восхищенным возгласам гостей, всегда отдававшим дань сервировке чайного стола, безропотно выполняла требования некоторых наиболее привередливых подруг («А сегодня я хочу выпить вон из той чашечки, с голубыми незабудками!»), но сама равнодушно пила чай из любой чашки, зная точно, что уже никогда не забьется учащенно мое сердце при виде очередного фарфорового шедевра.

Но случилось чудо, я бы даже сказала, чудо из чудес, подтверждающее старую истину о том, что умение радоваться жизни все же есть самый благословенный, самый бесценный дар, дарованный нам свыше. И тот, кто сумеет донести этот дар, не расплескав его по пути, до самого смертного часа, тот так и умрет ребенком, назло собственному возрасту. Ведь, как известно, любимцы богов всегда умирают молодыми.

Итак, однажды во время очередного летнего отпуска я, по своему обыкновению, заскочила на пару денечков к давним друзьям в Запорожье. Случилось это в невеселом для всех нас, жителей Белоруссии и Украины, 1986 году. И хотя масштабы Чернобыльской катастрофы на тот момент, спустя всего каких-то пару месяцев после рокового апрельского дня, вряд ли были известны в полном объеме даже тем ученым, кто денно и нощно колдовал над сооружением защитного саркофага для атомной электростанции, повсюду в воздухе была разлита людская тревога. Впрочем, и не тревога даже, а скорее то настроение, которое лучше всего передает, как мне кажется, емкое белорусское слово «смутак».

Помню, в один из вечеров Люда, сняв с полки Библию, стала зачитывать нам с Игорем, ее мужем, отрывок из Апокалипсиса, самой загадочной и до сих пор, как мне кажется, не понятой до конца книги Нового Завета. Она читала нам о звезде «полынь», которая по-украински и есть «чернобыль». Я слушала эти таинственные, мало что говорящие уму и сердцу невоцерковленного человека строки, а перед моими глазами, одна за другой, вставали картины пустующих приднепровских пляжей. В то лето купание в Днепре было категорически запрещено.

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Откр 8, 10—11.

Разумеется, хорошего настроения от подобного чтения и сопутствующих ему разговоров не прибавилось, и все мы загрустили еще больше. Но тут раздался телефонный звонок: звонил Александр Александрович, отец Игоря, приглашал всех нас, от имени себя и своей дражайшей половины, на чашечку чая, в мой любимый дом на улице Полтавской. И даже вызвался лично доставить нас к себе в гости на своей раритетной «Волге» с гордым серебристым оленем на капоте.

Когда мы добрались до Полтавской, Наталья Степановна, несмотря на свои более чем преклонные годы, бодро хлопотала возле стола, и по обилию закусок на нем было видно, что одним чаем наше застолье вряд ли ограничится. Так оно и случилось. Когда мы, несколько охмелевшие, приступили, наконец, к чаю, то настроение у всех заметно улучшилось. Можно даже сказать, что оно стало почти прежним, дочернобыльским.

А потому, когда хозяйка поставила передо мной голубую, явно парадную чашку, я с некоторым любопытством принялась разглядывать ее. Так, фарфор, судя по всему, довоенного производства, конец двадцатых — начало тридцатых годов, никак не позже. Об этом красноречиво свидетельствует сама форма предмета. Остается только удивляться, как сохранилась в целости эта голубая чашка в практически разрушенном немцами дотла городе. Уж не такая ли, лениво размышляла я, вдохновила в свое время Аркадия Гайдара на написание, пожалуй, лучшего рассказа в его творчестве? Помнится, жена главного героя по имени Маруся очень расстроилась, когда нашла в чулане на даче черепки своей любимой и тоже голубой чашки.

Но тут я заглянула в саму чашку и обмерла. Ее стенки были расписаны лебедями. Заурядные такие белые лебеди с яркими клювами, как их обычно изображали доморощенные художники на прикроватных ковриках, очень популярных в конце сороковых годов. Словом, самый настоящий китч, как сказали бы высоколобые эстеты от прикладного искусства. Но стоило налить в чашку воды, как лебеди вдруг дрогнули, и я почувствовала, как вместе с ними дрогнуло и мое сердце, потом они медленно, словно нехотя, оторвались от стенок и величаво поплыли по водной глади. А я, мгновенно протрезвевшая, с уже полузабытым чувством детского восторга не могла отвести от них глаз. И куда подевались тридцать с лишним лет моей жизни? Да и были ли они вообще? Как это там, у Георгия Иванова? *«Вот я проснулся — и где эти годы!»* И тогда я подумала, что, быть может, я и прожила их лишь только затем, чтобы снова наступил день, в который мне будет ниспослано счастье с наивностью ребенка восхититься красотой рукотворного мира и воскликнуть:

— Вот вырасту большой, и у меня дома будет полно таких же чашек с лебедями, как у тети Наташи.

Говорите, по-женски мелкие цели и по-мещански пошлые желания? Может быть! Но кому же из смертных дано знать, что надо обыкновенному человеку для счастья? Для самого настоящего счастья.

Как тут не вспомнить Александра Блока, ей-богу!

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе, и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Акварель

О таком явлении, как круговорот воды в природе, все мы прекрасно осведомлены уже с пятого или шестого класса средней школы. С возрастом, однако, начинаешь замечать, что подобные чудеса происходят не только с водой. Есть тьма историй (и весьма занимательных, доложу я вам!) о том, как самые обычные житейские вещи, завершив положенный круг своих странствий, снова возвращаются туда, где они появились на свет. Или находят своих прежних хозяев. Или просто стремятся в тот дом или в то место, которое когда-то было их средой обитания. Не верите? А вы покопайтесь как следует в завалах собственной памяти, и уверяю вас, там обязательно отыщется убедительный пример по теме. Пока же я предлагаю свой, как мне

кажется, очень яркий и даже в прямом смысле этого слова — наглядный. Но обо всем по порядку.

Мой дядя, Красневский Григорий Якимович, 1912 года рождения (между прочим, применительно к нему можно с полным основанием повторить знаменитое пушкинское определение *«самых честных правил»*), прожил достойную и счастливую жизнь. И очень долгую, ибо покинул сей мир аж на девяносто первом году жизни, в марте 2002 года. Но, пожалуй, свой самый счастливый билет в жизненной лотерее дядя вытянул тогда, когда вернулся целым и невредимым с войны. А Великую Отечественную он, простой солдат, провоевал всю, от первого и до последнего денечка. Как говорили раньше бывалые фронтовики, «от звонка и до звонка».

Впрочем, дядя не любил вспоминать о войне. Вообще я заметила одну странную закономерность: чем дальше отодвигается в глубь истории эта страшная война, тем все более разговорчивыми делаются те, кто принимал в ней участие, причем многие из ныне живущих лишь очень и очень по касательной. Но как бы то ни было, а дядя разговоров о войне не приветствовал и никогда не принимал в них участия. Потому что окопная правда о войне со всей ее кровью, грязью и потом была известна ему ой как хорошо! Не понаслышке. Ну, так и что лишний раз языком зря молоть, рассуждал он здраво. Тех, кто полег на бесчисленных полях сражений, уже не поднять. А те, кому повезло выжить, что ж, у них — своя жизнь. Другая жизнь, в которой лучше обходиться без бередящих душу воспоминаний.

Мне же, выросшей под бесконечные, затягивающиеся порой до самого утра, воспоминания папиных друзей-фронтовиков о былых походах, такая дядина неразговорчивость казалась очень таинственной и совершенно непонятной. Как и его крайняя непритязательность на прижизненную славу в любых, даже самых минимальных ее проявлениях. Свои награды он демонстрировал крайне редко и лишь по самым большим праздникам, да и то уже на излете дней. Справедливости ради стоит сказать, что в первые послевоенные годы фронтовые ордена и медали еще не обросли нынешним ореолом всеобщей восторженности и почитания. Многие обладатели военных наград даже отдавали их собственным детям в качестве игрушек. Особенно после того, как за них фронтовикам перестали доплачивать какие-то там весьма скудные рубли.

Словом, был мой дядя Гриша человеком скромным до застенчивости и таким же, до застенчивости, неразговорчивым. А потому так и осталось в семейных преданиях загадкой, как и при каких обстоятельствах к нему в руки попал единственный трофей, с которым он и вернулся не без некоторой гордости в родную деревню Кисловщина.

Знаете, бывалые люди рассказывали, что все фронтовики стремились явиться домой не с пустыми руками. Кто-то, спустившись с горочки, как про то поется в одной известной песне, козырял новенькими часами на запястье, кому-то посчастливилось разжиться собственным аккордеоном или даже — невероятное везение! — патефоном, да еще с комплектом пластинок к нему. Кто-то щеголял в новеньких хромовых сапогах. Ну, а кто-то, как мой дядя, пришел домой с полупустым вещмешком, в котором хранились лишь скудные солдатские пожитки да еще альбом с акварелями.

Мама рассказывала, что дядин трофей произвел на всю родню просто неизгладимое впечатление. Ведь никто и никогда не замечал за старшим сыном и братом особой тяги к наукам, и уж тем более! — к изящным искусствам. Он — единственный в семье с повальной страстью к педагогике (две его сестры и брат стали учителями) не получил высшего образования. Да

что там высшего! Дядя Гриша и средним решил себя особо не обременять. И после четырех классов начальной школы твердо заявил отцу, что больше он за парту не сядет. Дескать, для крестьянского труда, к которому он тяготел всем сердцем и душой, знаний ему хватит с лихвой.

И вдруг вечный молчун и страстный работник, предпочитавший любым разговорам «за жизнь» лишний раз сходить в хлев, чтобы полюбоваться на свою драгоценную скотину, извлекает из походной котомки такое чудо, как самый настоящий живописный альбом с акварельными зарисовками. Подобные вещи в деревенской глуши тех далеких послевоенных лет были не просто редкостью, а самой настоящей диковинкой.

Дядя Гриша не стал жадничать и щедрой рукой наделил всех родственников и соседей образчиками трофейного искусства. И очень скоро парадная горница тети Зоси, как называли все домашние мамину младшую сестру, украсилась осенним пейзажем с рдеющими на солнце тонкими березками. Маме, уже собиравшейся уезжать к отцу в Ригу, было позволено взять себе на память целых две акварели. И обе они воспроизводили картинки то ли ранней весны, то ли совсем поздней осени.

Не знаю почему, но мама предпочла пейзажи с ярко выраженным минорным настроением. На обеих акварелях — пасмурный день, скорее всего, по моему разумению, начало марта. На одной — кромка темнеющего вдали леса с выбежавшими на опушку несколькими голыми деревьями, а на переднем плане пустое пространство заснеженного поля с грязновато-коричневыми проталинами. К сожалению, эта акварель куда-то бесследно исчезла в ходе наших многочисленных переездов с места на место.

Зато вторая благополучно сохранилась до сего дня и по-прежнему висит в маминой спальне над ее кроватью. Снова пасмурный серый день, какие часто случаются в наших краях в самом начале весны, когда снег не тает, а постепенно «съедается» висящим над самой землей туманом. Узкая полоска маленькой речушки, занавешенной с двух сторон раскидистыми плакучими ивами. Вот, пожалуй, и все. Цветовая гамма тоже весьма скромна: грязно-синий, черный, серо-коричневый тона. Но при всей скудности выразительных средств общее впечатление очень сильное. При взгляде на сей непритязательный пейзаж невольно испытываешь легкую грусть, как это случается, когда попадаешь в давно забытые места или встречаешься с людьми, которых не видел многие годы. Дата в уголке акварели «4.1.18.», проставленная уже выцветшими от времени чернилами, тоже наводит на самые разные мысли. Например, была ли сделана зарисовка с натуры. Или пейзаж был запечатлен уже по памяти, как это часто делают многие художники. Да и где подсмотрел неизвестный автор зарисовок такие до боли знакомые места? Словом, вопросов намного больше, чем ответов на них.

Вообще, насколько я могу судить по тем воспоминаниям, которые сохранились в моей памяти, акварельный альбом, выполненный кистью неизвестного художника, был по своему замыслу очень созвучен музыкальному альбому Петра Ильича Чайковского «Времена года». Как известно, великий композитор озвучил своими мелодиями все двенадцать месяцев, четко обозначив главную музыкальную тему каждого из них. Многие из названий фортепьянных пьес вполне подходят и для трофейных акварелей. «Песня жаворонка», «Подснежник», «Жатва», «Осенняя песня». Более того, с возрастом во мне все сильнее крепла уверенность в том, что это именно так и есть. Некто, чье имя нам — увы! — уже никогда не узнать, взял и проиллюстрировал знаменитое музыкальное произведение. И сделал это предельно честно, талантливо и очень-очень по-русски. Да, именно так! По-русски! Ну, или по-белорусски,

если хотите. То есть, по-нашему, так, как это делают здесь, на наших землях, запечатлев на них то, что все мы имеем возможность видеть на этих самых землях от своего рождения и до самой смерти.

Не сомневаюсь ни единой минуты, что трофейный альбом совершил тот самый круговорот, о котором я говорила выше. Дядя привез его из оккупированной Германии, куда он наверняка попал из России после известных событий 1917 года. Некто в спешке покинул революционный Петербург, или Самару, или Смоленск, или Витебск, прихватив с собой на память милые сердцу пейзажи родной стороны. А им, этим картинкам о природе, стало скучно и одиноко на чужбине, и в положенный срок они вернулись к себе домой. Захотелось, видно, умереть на родине.

К такому однозначному (и, быть может, даже несколько одиозному, с точки зрения нормального человека) выводу меня подтолкнул один пейзаж, который дядя с самого начала определил лично для себя. Он даже смастерил для него специальную рамочку со стеклом. Вероятно, поэтому акварель продержалась в деревне намного дольше остальных. А те, засиженные мухами и покрытые тонким слоем сажи и дымной копоти, лет через десять после описываемых событий пошли на растопку в печь. К тому времени в деревенских сельпо стали все чаще появляться обои. А вместе с ними родилась и упрочилась повальная страсть хозяек ежегодно переклеивать «хату»: чаще всего это делалось к Пасхе. А потому удивляться скоротечности века раздаренных дядей картинок не приходится.

Иное дело любимая акварель! В том, что она именно любимая, никто и не сомневался. Потому что часто вечерами (и я тому свидетель) дядя любил забредать на чистую половину дома и там, усевшись на табуретке, он мог долго и неотрывно любоваться трофейным пейзажем. Акварель повесили в проеме между двумя окнами, прямо напротив парадной кровати с двумя горками расшитых вышивками белоснежных подушек и таким же белоснежным кружевным подзором. Прибили чуть повыше семейного портрета, запечатлевшего молодого дядю Гришу и его жену Софью, которую, в отличие от тети Зоси, звали в семье Соней.

Бывая у дяди в гостях, я часто ночевала именно на этом роскошном ложе, а потому изучила акварель до мельчайших подробностей. Изучила и полюбила ее почти так же сильно, как любил ее всю свою жизнь дядя Гриша. Во всяком случае, она провисела в его доме до самой его смерти. А уж куда она задевалась потом, бог весть.

Итак, пейзаж. Весьма заурядный, с точки зрения любого деревенского жителя, привыкшего с ранних лет к подобным красотам, так сказать, в натуре. Достаточно было ступить на порог дядиного дома, перейти через улицу по направлению к дому тети Зоси, потом спуститься огородами к лужайке за сараями, и перед твоим взором представала точно такая же картина.

Рдеющий багрянцем закат, бескрайнее поле, утыканное стогами свежескошенного сена, и темная полоска леса, чернеющего на горизонте. Вообще, лес присутствовал, насколько я помню, на всех виденных мною акварелях, из чего сам собой напрашивается вывод о том, что писались они в одних и тех же местах (или даже в одном и том же месте). Словом, весьма банальный сюжет. И все же, и все же… Нет, была в этой акварели какая-то своя магия, своя, если хотите, тайна, которая невольно завораживала близостью разгадки, но так и осталась неразгаданной, во всяком случае, мной.

Во-первых, воздух. Любой хороший художник скажет вам, как непросты в изображении всякие ускользающие субстанции материального мира: ветер, воздух, вода, тот же солнечный свет. Акварель же не просто дышала, она бук-

вально купалась в волнах теплого воздуха, густо замешенного на пряном аромате трав, которые наплывали на тебя со свежескошенного луга. Во-вторых, солнечный диск, готовый вот-вот спрятаться за кромкой дальнего леса. Вы не поверите, но от него шло тепло, самое настоящее тепло погожего июльского вечера. И вообще, хотите, верьте, хотите — нет, но больше мне никогда не доводилось видеть такого празднично радостного заката, причем и в живой природе тоже.

Ведь что такое вечер, с точки зрения обычного человеческого восприятия? Даже самый тихий, самый летний, теплый и благодатный. Это, согласитесь, всегда немного грусть: меланхоличное настроение разливается вокруг помимо воли, ибо где-то в недрах твоего сознания, а может быть, даже на уровне подсознания, опять же, помимо твоей воли, фиксируется утрата еще одного прожитого дня. А утраты, как известно, никогда не сулят нам радости.

Не знаю, какие чувства водили кистью неизвестного мастера. Вполне возможно, его уже начинала мучить ностальгия, и он спешил запечатлеть на бумаге то, что еще было так свежо в его памяти. А может, он с умилением предавался воспоминаниям о далеком детстве, отыскивая среди давних впечатлений те, что были связаны с таким же вот погожим летним вечером. А может, сидя за сараем какой-нибудь деревенской усадьбы, он с предельной точностью фиксировал кистью лишь то, что видел перед собой в данную минуту. Кто знает, кто знает! Но в любом случае, о его человеческой и профессиональной незаурядности свидетельствует именно настроение, мастерски переданное в работе. То самое, которое лучше всего укладывается, как мне кажется, в одно короткое обращение Апостола Павла к коринфянам: «А я говорю вам: радуйтесь! Господь близко!»

Как тут не вспомнить парадоксальные рассуждения Оскара Уайльда, вполне серьезно утверждавшего, что это не искусство отражает жизнь, а она, жизнь, покорно следует за искусством, порой копируя его не самые лучшие образцы. Дескать, русских нигилистов придумал Тургенев, а сиреневые лондонские туманы открыл изумленному миру Клод Моне. Продолжив эту цепочку примеров, рискну заявить, что радостное настроение прощания с уходящим днем тоже вначале возникло на бумаге, а уже потом перекочевало в реальную жизнь реального человека. В мою жизнь.

Кстати, о настроении. Такое же состояние умиротворенности и общей гармонии с окружающим миром у меня, при созерцании живописных работ, возникло еще только единожды. Когда я рассматривала в Третьяковке не самую известную картину в творческом наследии Михаила Нестерова под названием «Пустынник», созданную художником в 1888 году. И сюжет иной, и пейзаж на картине какой-то чахлый. Не за что там зацепиться глазу, чтобы возликовать душой и сердцем. Но во всем облике согбенного старца в ветхом хитоне (образ однозначно, я думаю, навеянный житием Серафима Саровского), в его позе, в том, как он стоит, опираясь на самодельный посох, и широко, по-мужицки, расставив ноги, обутые в лапти с оборами, а главное — в легкой улыбке, блуждающей по его бородатому лицу, во всем этом столько радости, что, глядя на картину, хочется жить и жить, сметь и сметь, как писал когда-то Владимир Солоухин. Наверное, нечто подобное переживал и мой дядя, созерцая свою любимую акварель.

Минуло уже достаточно много лет с тех пор, как я видела ее в последний раз. Уже давно нет в живых и тети Сони, и дяди Гриши. Да и деревня Кисловщина, столь дорогая моему сердцу, обезлюдела, пришла в запустение и вот-вот грозит превратиться в некий мистический фантом, который способен вспыхивать лишь в памяти тех, кто помнит ее совсем иной.

Во всяком случае, грустно было мне пару лет тому назад слушать рассказ двоюродной сестры Галины, старшей дочери дяди Гриши, которая, приехав из далекого Мурманска навестить родные могилы, поразилась мерзости запустения, царящей вокруг. И с горечью поведала мне, что некогда возрожденная буквально из пепла, ухоженная и взлелеянная работящими руками дяди Гриши и его жены усадьба пришла в полнейший упадок. Огород порос березняком и молодой хвоей (лес-то в двух шагах!), по распахнутому настежь дому гуляет ветер, стекла в окнах все выбиты, и через пустые глазницы покореженных рам можно любоваться и рассветами, и закатами, даже не выходя на улицу.

Вот и вся история о трофейном искусстве, точнее, о вещи, которая, совершив положенный ей круг странствий, возвратилась к себе домой.

P. S. Я было уже приготовилась поставить точку в своем рассказе об акварелях, но днями увидела вдруг странный сон, лишний раз доказывающий, что в этой истории без мистики — ну, никак! — не обошлось. Вижу я, будто захожу в мамину спальню, снимаю со стены знакомую с детских лет акварель с унылым весенним пейзажем, подношу ее к свету и вдруг громко ахаю от удивления. Да что ж я такое написала, размышляю я во сне, что на ней одни грязно-синие и черные тона. А вот же розовые, кремовые, нежно-голубые блики и даже золотисто-желтые. Как же я их раньше-то не видела!

Чудны дела твои, Господи! Ох, чудны! Мы и действительно многого не видим и не замечаем. И многого не понимаем, тем самым усложняя и одновременно обедняя и без того не богатую красками и событиями жизнь. А она так быстро проходит, эта жизнь. Проходит и уходит навсегда, так и не понятая нами и не растолкованная никем, как и мой странный сон.

Из вещества того же, как и сон, мы созданы. И жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена.

Шекспир, «Буря», акт IV, сц. I.

Графин

Свой тайный смысл доверят мне предметы…
Белла Ахмадулина

Может ли заурядная бытовая вещь отражать нечто высокое и вечное? Может ли она вообще превратиться в некое подобие символа или даже сама стать этим символом? Скажем, символом недостижимости идеала в человеческой жизни, того самого идеала, который все время ускользает от нас, дразнит своей соблазнительной близостью и одновременно не подпускает к себе вплотную. Протягиваешь руку, чтобы прикоснуться к нему, а он немедленно отодвигается куда-то вдаль, подобно тому, как движется вместе с идущим вперед путником неровная линия горизонта.

— А почему бы и нет? — воскликнет в этом месте какой-нибудь искушенный знаток литературы. — Вспомни хотя бы Джеймса Джойса и его «Улисса», к примеру. Там ведь таким символом стал самый заурядный кусок мыла, путешествующий по Дублину в кармане одного из главных героев романа Леопольда Блюма.

— Да, но то литература! — отвечу я. — Великая литература, к тому же. А как же насчет обычной жизни обычного человека?

А в обычной жизни бывает так.

Впервые я попала в Ленинград, когда мне исполнилось шесть лет. Случилось это летом далекого 1954 года. Мы отправились в этот замечательный

город, про который тогда пели *«город над тихой Невой»*, втроем: мама, я и наша соседка-блокадница Анна Ивановна Алексеева, потерявшая на войне мужа и растерявшая по разным детским домам дочь Валентину и сына Виктора. Ребятишек еще в самом начале блокады успели вывезти по знаменитой «дороге жизни» на Большую землю. А потом несколько послевоенных лет Анна Ивановна упорно разыскивала детей по всей стране. И к великому счастью, нашла живыми и невредимыми. Оба они уже к тому моменту стали почти взрослыми и вполне самостоятельными людьми, и оба вернулись в свой родной город. Правда, *«дома, в котором я живу»*, точнее, в котором Алексеевы жили до войны, они больше не увидели: дом был разрушен во время одной из многочисленных бомбежек Ленинграда. Валю и Виктора немедленно расселили по молодежным общежитиям и поставили, как бывших блокадников, на льготную очередь на первоочередное получение жилья.

Словом, мало-помалу стала налаживаться нормальная мирная жизнь. В положенный срок Виктор пошел в армию, Валя окончила техникум и приступила к работе в одной из лабораторий на знаменитом на всю страну ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение). Собственно, именно к Вале мы и ехали в гости, ибо она сравнительно недавно получила крохотную комнатку в доме, расположенном на одной из улиц, примыкающих к Литейному проспекту.

Все мое раннее детство прошло под знаком этой милой, мягкой, необыкновенно воспитанной и удивительно обаятельной молодой женщины. Истинной ленинградки, до самых кончиков ногтей, с той присущей ленинградцам куртуазностью, которая с первого же взгляда безошибочно выдает в человеке коренного жителя Северной Пальмиры.

Валю я не просто любила, я ее обожала! Кажется, эта любовь была взаимной. Обретя после долгой разлуки мать, она очень часто наведывалась к нам, в Даугавпилс, и всякий раз засыпала меня совершенно потрясающими подарками. Именно Валентина привозила мне прехорошенькие шляпки: летом — соломенные, весной и осенью — фетровые, которых отродясь не водилось в нашем провинциальном городке. В нескольких из них я даже запечатлена на студийных фотографиях тех лет. А в тон к шляпкам в обязательном порядке прилагались крохотные сумочки с миниатюрными карманными зеркальцами и непременным пробником каких-нибудь легких духов. Получая такие «взрослые» подарки, я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Еще бы! Белая лакированная сумочка в тон к белоснежным босоножкам фабрики «Скороход», известного на всю страну питерского производителя обуви. Да с такой экипировкой пора ехать в Ленинград и щеголять в своих красивых обновках по Невскому проспекту, этой самой лирической, по справедливому замечанию Александра Блока, улице в мире.

Туда мы и поехали, разумеется, под предводительством Анны Ивановны, клятвенно пообещавшей отцу, что она доставит нас с мамой назад в целости и сохранности, но лишь после того, как покажет нам свой любимый город во всей его красе.

Красот оказалось много, даже чересчур много для моего детского восприятия. Днями напролет мы любовались историческими памятниками и как каторжные таскались по многочисленным ленинградским музеям. Уже через пару дней после начала паломничества в город на Неве в нашем маленьком дружном коллективе наметилась легкая трещинка. Мама тяготела к высокому. Она готова была каждый день начинать с экскурсии в Эрмитаж. Мы же с Анной Ивановной, осмотрев в первый день все достойное нашего внимания, а именно: часы с павлином, часы-кукушку, восковую фигуру Петра I, а также

вдоволь насладившись мелодичной капелью в Павильонном зале, справедливо полагали, что больше нам в Эрмитаже делать нечего.

Гораздо ведь приятнее сидеть на какой-нибудь тенистой аллее Летнего сада и вкушать вкуснейшее эскимо на палочке или даже просто прогуливаться по Невскому, глазея на красочные витрины магазинов. Но куда там! С мамой сильно не поспоришь! И каждое утро мы отправлялись в Эрмитаж, как на работу, а там мама, влившись в ряды очередной экскурсии, бодро шагала по залам, на ходу записывая интересующие ее подробности о всяких живописцах и их картинах. Мы же с Анной Ивановной откровенно скучали, изнемогая от однообразия нашего времяпрепровождения. Ну, и уставали, конечно! Попробуй побегай несколько часов кряду за нашей легкой на подъем мамой по этим бесконечным анфиладам дворцовых залов. А потому, заходя в очередной из них, мы первым делом отыскивали глазами скамейку, стремглав бежали к ней, плюхались на сиденье и, пригорюнившись, терпеливо ждали, пока мама закончит осмотр экспозиции.

После нескольких дней такого изнурительного марафона я взбунтовалась и в одно прекрасное утро наотрез отказалась выходить в город. Помню, даже расплакалась, сославшись на то, что у меня от бесконечного хождения по музеям отваливаются ноги. Пожалуй, Анна Ивановна могла бы сказать то же самое и о себе, но, добровольно взвалив на плечи обязанности гида, она была теперь вынуждена безропотно нести свой крест до самого конца. Словом, меня оставили дома. И с этого все и началось.

Квартира, в которой жила наша Валя, была обычной ленинградской коммуналкой. Это с одной стороны, а с другой — это была самая необычная коммуналка из тех, которые мне довелось повидать на своем веку. Начну с того, что в шести или семи комнатах квартиры жили одни женщины, преимущественно молодые. Эдакий женский ковчег, если можно так выразиться. Видно, кому-то из городских властей пришла в голову неплохая по тем временам мысль преобразовать огромную квартиру в некогда богатом и респектабельном доходном доме в мини-общежитие. В женское общежитие. В каждой из комнат обитало по несколько девушек, и все они работали вместе с Валей на ЛОМО. Утром девчата, оживленные, нарядные, красивые, весело вспорхнув, подобно райским птичкам, со своих веточек-кроватей, убегали на работу, а дома оставались лишь две жилички: пожилые сестры-пенсионерки, занимавшие отдельную комнату вместе со своим роскошным котом Барсиком, всеобщим любимцем коммуналки. Женщины, коренные петербуржки, проживали по этому адресу еще до войны. Подозреваю, что они жили в квартире и до революции, вполне возможно, даже на правах ее хозяек или дочерей тогдашних хозяев.

Именно на их попечение меня и оставили в тот день. Рассерженная дочерним непослушанием мама, перед тем как захлопнуть за собой дверь, сто раз наказала мне вести себя достойно и не надоедать людям своими капризами. А я и не надоедала. Пристроившись вместе с Барсиком на стуле возле круглого обеденного стола, я уже приготовилась погрузиться в чтение какой-то детской книжки, предусмотрительно купленной мамой накануне, но тут взор мой упал на буфет, стоявший напротив. И я с интересом принялась разглядывать, пожалуй, самый красивый экспонат, выставленный за стеклом. Среди разномастных чашек и разнокалиберных винно-водочных рюмок и фужеров стоял пузатый хрустальный графин с нарядной пробкой цвета темного рубина.

Что ж, самое время поговорить о графинах вообще, как об определенном классе предметов. Дело в том, что ныне такая вещь, как графин, практически вышла из употребления, давно превратившись в самый настоящий

анахронизм материального мира. Сегодня редко в каком доме увидишь, как хозяйка выставляет на праздничный стол спиртное, предварительно перелив его в графин. То ли люди опасаются, что их могут заподозрить в невинном мошенничестве (дескать, графин — красивый, а вино — так себе!), то ли в наш рациональный век все боятся перетрудиться даже по пустякам (как-никак, лишняя морока с переливанием жидкости из одного сосуда в другой). Иное дело в годы моего детства! Тогда вообще считалось верхом неприличия выставлять бутылки на стол, и их содержимое в обязательном порядке разливали по соответствующим графинам, для вина — высокие, для водки более низкие и обязательно пузатые. Несколько образчиков сей продукции дожило в моем доме до нынешних времен, правда, половина из них доковыляла до XXI века без пробок. Странно, но факт: пробки в графинах бились гораздо чаще, чем они сами.

Итак, сама по себе вещь, увиденная мною за стеклом, не была чем-то из ряда вон. Напротив! Поскольку застолья в нашем доме были делом регулярным, то к графинам я, можно сказать, привыкла с раннего детства. Но что-то же поразило мое воображение! Думаю, скорее всего, именно пробка. А еще, наверное, форма предмета. По-моему, у Афанасия Фета одно из стихотворений начинается строчкой, очень созвучной моему рассказу. *«Из тонких линий идеала...»* Вот это именно про тот самый графин с массивной рубиновой пробкой, ибо без всякого преувеличения скажу, что он был весьма близок к идеалу, почти сливаясь с ним.

Странные мы люди, ей-богу! Причем и взрослые, и дети. Меня оставили равнодушной все драгоценные раритеты Зимнего дворца, невиданные красоты Петергофа, еще только-только обретающего свое былое великолепие в ходе не прекращающихся ни на минуту реставрационных работ. Мое сердце не тронули знаменитые конные статуи Клодта на Аничковом мосту, и Медный всадник, и ростральные колонны, и прекраснейшая стрелка Васильевского острова, и очаровательная соломенная шляпка с алой лентой, подаренная мне Валей в самый первый день по приезде в Ленинград. Я осталась равнодушна ко всем прославленным достопримечательностям, ко всем приобретениям, сделанным в промежутках между ежедневными экскурсиями по городу, включая нарядные туфельки, специально купленные мне к школе… но! Графин покорил мое сердце с первого же взгляда и, как говорится в таких случаях, до гробовой доски. Иначе зачем бы я стала вспоминать о нем на старости лет?

Любовь моя, как и положено настоящей любви, была идеальна и абсолютно бескорыстна. У меня и в мыслях не было мечтать о том, чтобы стать владелицей такого сокровища. Мне достаточно было просто видеть объект своего всепоглощающего чувства, и только. Для чего под всякими благовидными и неблаговидными предлогами (чаще всего, предлогом выступал кот Барсик) я по нескольку раз на дню забегала в комнату к милейшим старушкам, и все ради того, чтобы полюбоваться, хотя бы мельком, прекрасным графином.

Вобщем-то, он действительно был красив, этот чертов графин! Изящная форма, плавные, льющиеся линии, тонкий хрусталь, без какой бы то ни было нарезки. Просто гладкое тонкое стекло, и все! Достойный пример настоящего дизайнерского минимализма самого высокого качества и самого утонченного вкуса, увенчанный роскошной пурпурной пробкой, настоящий прообраз современной инсталляции на тему «Цветок в вазе» или нечто в этом роде.

Но вот две недели, отпущенные нам отцом для первоначального знакомства с Ленинградом, подошли к концу. Пора домой. Вся наша троица уже успела смертельно устать от перенасыщенного культурой отдыха, от непри-

вычных для нас, провинциалок, ритмов большого города с его вечной сутолокой, обилием людей на улицах в любое время дня и ночи. И это несмотря на то, что на дворе уже стоял август, а следовательно, время белых ночей миновало. Словом, домой! Я страшно соскучилась по папе. И как там без меня моя любимая кошка Маркизка и симпатичный песик Дружок? Вдруг папа забывает их кормить? Чем занимаются мои ближайшие подружки? Света, Люба, Веста… Словом, хочу домой!

— Домой, домой, домой! — ныла я все последние дни на манер чеховских сестер, которым, напротив, почему-то хотелось уехать из родного дома в какую-то там Москву.

И вот, наконец, наступил долгожданный день отъезда. Накануне вечером мама, Анна Ивановна и Валя, оккупировав на какое-то время кухню и заставив все конфорки на газовой плите кастрюлями и сковородами, напекли гору блинов, нажарили еще одну гору котлет, натушили рыбы и еще чего-то там и закатили просто грандиозный прощальный ужин для всей коммуны. Разумеется, сестры тоже получили приглашение поучаствовать в прощальной трапезе (я бы даже сказала, особое приглашение, ибо мама лично несколько раз заходила к ним в комнату с напоминанием о том, что вечером будет общий ужин). Как пишут в таких случаях на языке официального протокола, приглашение было с благодарностью принято.

Столы накрыли прямо на кухне, большой и просторной. Девчата проворно сдвинули вместе несколько кухонных столиков, расстелили скатерть, расставили тарелки, разложили столовые приборы и стали подносить собственные закуски, решив, видно, устроить своеобразную складчину. В урочный час появились и обе наши старушки. Аккуратные, изящные, и вы не поверите, но очень-очень красивые!

Ныне редко встретишь красивых стариков, не правда ли? Озабоченные мелкими проблемами нашей суетной жизни, бестолково путающиеся под ногами у вечно спешащих куда-то их более молодых сограждан, мечущиеся в своем неуемном желании тащить на себе до гробовой доски своих великовозрастных детей, сварливые и озлобленные, современные старики скорее вызывают раздражение, чем сочувствие. Особенно, когда они начинают методично и нудно выяснять отношения с молодежью в общественном транспорте. Да простится мне сие безапелляционное утверждение, думаю, вполне позволительное, с учетом собственного более чем преклонного возраста. Но из песни, как говорится, слова не выкинешь. Наши люди разучились стареть красиво, и то, о чем я сейчас толкую, есть истинная правда. И не важно, идет ли речь о городских пенсионерах или о тех, кто доживает свой век в какой-нибудь глухой деревушке.

Я вспоминаю деревенских старух своего детства: бабу Зосю, бабу Акулину, свою родную бабушку Татьяну. Сколько во всех этих пожилых женщинах было внутренней красоты и особой духовности, которая безошибочно улавливается всеми, кто находится рядом с такими людьми. А уж встретить, в деревне ли, в городе ли, распившуюся старуху или опустившегося старика (вполне заурядное явление наших дней) было и вообще делом немыслимым в те далекие годы. И это несмотря на все безмерные тяготы тогдашнего бытия, а может быть (как ни кощунственно это звучит), и благодаря ним.

Ну, а уж таких красивых, по-настоящему одухотворенных старушек, какими были ленинградки сороковых — пятидесятых годов прошлого века, не увидишь более нигде. Совершенно особая порода, увы! — исчезнувшая навсегда! Как сейчас помню этих прелестных дам (они и сами-то называли друг друга именно так: «дама»), в неизменных шляпках, в стареньких, но

безупречно отутюженных платьях и начищенной до блеска обуви. *Ноблесс оближ*, как говаривал небезызвестный кот Бегемот в романе Булгакова. В самом деле, положение ленинградки обязывало всех этих старушек, за плечами у каждой из которых была блокада, смерть близких (да мало ли что еще, учитывая непростые реалии того времени), высоко держать марку. И ведь держали же!

На обеих сестрах были строгие блузки (скорее всего, из обычного сатина) с маленькими кружевными воротничками. Такие воротнички способны сделать нарядным даже самое скромное платье, а потому одеяние соседок показалось мне необычайно торжественным и праздничным. В руках одной из женщин белел небольшой сверток. Она подошла ко мне и протянула пакет.

— Зиночка! Это тебе на память от нас. И на память о твоем первом посещении Ленинграда.

— Что такое? — немедленно заволновалась мама, более всего на свете боявшаяся ввести посторонних людей в ненужные расходы. — Пожалуйста, не надо ей никаких подарков! Она их уже получила более чем достаточно.

— Не волнуйтесь, это всего лишь маленький сувенир на память, — миролюбиво проговорила одна из женщин.

Я осторожно развернула бумагу и увидела графин. Мне! Графин! На память! Мой! Прижав его к груди, я растерянно молчала, перезабыв все благодарственные слова.

— О! — понимающе улыбнулась Анна Ивановна. — Роскошный подарок! А главное — такой желанный.

— Что она у вас там уже выманила? — совсем осерчала мама. — Какой такой графин? Девочке шесть лет. При чем здесь графин? Зачем он ей нужен? У нас дома полно своих графинов. Немедленно отдай Екатерине Петровне графин!

Последние слова были уже обращены ко мне.

— Нет-нет! — в один голос запротестовали обе соседки. — Это старинная вещь, настоящий дореволюционный хрусталь. То немногое, что у нас осталось еще с незапамятных времен. Нам, в нашем-то возрасте, этот штоф уже без надобности. А Зиночке будет память о нас. Тем более, что он ей так нравится. Так что, пожалуйста, не обижайте нас своим отказом.

Упаковывать драгоценную вещь в дорогу было поручено Вале. Немедленно отыскалась пустая коробка из-под обуви, в которую с величайшей предосторожностью был помещен графин (и отдельно — пробка), предварительно обмотанный слоем ваты и газетами, которыми Валя заполнила все пустое пространство в коробке. После чего коробка была аккуратно уложена в чемодан и обложена со всех сторон бельем и одеждой.

Дома я первым делом потребовала достать мне коробку, чтобы предъявить подарок папе. Отец, встретив нас на вокзале и благополучно доставив домой, явно спешил на работу. Ему недосуг было рассматривать мои игрушки. Но мама, немного рассеянная, как это обычно бывает с дороги, да еще после ночного путешествия поездом, оказалась на редкость сговорчивой и безропотно полезла в указанный мной чемодан, откуда через пару минут выплыла драгоценная коробка. Я осторожно взяла ее из маминых рук, открыла крышку, разбросала вокруг себя скомканные куски газет, развернула слой ваты и извлекла на свет божий хрустальный графин.

— Папа! Ты только взгляни, какой он красивый! — воскликнула я восторженным голосом, делая шаг навстречу отцу.

И в ту же минуту графин выскользнул из моих рук и упал на пол, рассыпавшись на сотни мельчайших осколков. Как это там, в старинном романсе,

поется? *«Разбилось лишь сердце мое».* Вот оно и разбилось, разлетелось на те же мелкие части, что и антикварная посудина. Горе мое было столь велико и всеобъемлюще, что я даже не заплакала. Абсолютно сухими глазами я тупо уставилась на пол, туда, где валялось то, что еще минуту назад было графином. Моим графином.

К чести взрослых, они правильно оценили ситуацию. Никаких банальных слов утешения! Отец кому-то перезвонил, потом взял меня за руку и сказал.

— А не сходить ли нам с тобой в магазин, Зина? Ты ведь как-то говорила мне, что в твоей коллекции фантиков кое-какие отсутствуют. Пойдем, докупим, пока у меня есть свободная минутка.

Ошарашенная появлением двух необычных покупателей, продавщица безмолвно складывала в огромный кулек под мою диктовку только те конфеты, с которых мне были нужны недостающие фантики.

Ах, какое бы это было счастье всего лишь пару недель тому назад раздобыть для коллекции обертку от «Красного мака» или баснословно дорогой «Чио-Чио-сан»! И ничего я, представьте себе, не выдумываю. В те годы, между прочим, культуру (а не «культурку»!) несли в массы всеми возможными способами, и на конфетных обертках мелькали сценки из балета Глиэра «Красный мак» и многострадальная героиня в кимоно из бессмертной оперы Пуччини.

Да, пару недель тому назад все могло бы быть иным. А сегодня я лишь равнодушно тыкала пальцем в очередную вазу с конфетами, выставленную на витрину, и тихо говорила.

— Вот этих нет! И этих…

А папа бодро повторял за мной.

— Нам, пожалуйста, двести граммов «Счастливого детства», двести граммов «Красного мака», двести граммов «Мишек на севере»...

— У меня эти фантики есть, — выхожу я вдруг из своего оцепенения.

— Ну и что? — великодушно удивляется папа. — Угостишь подружек, Анне Ивановне отнесешь презент. Да и я не прочь полакомиться «Мишками».

Несколько дней у нас в квартире витала атмосфера, какая обычно бывает, когда в доме покойник. Все разговаривали приглушенными голосами и старались, по возможности, проскользнуть мимо меня незамеченными. Само собой, мне было разрешено все! Хочешь Дружка к себе в кровать? Пожалуйста! Хочешь с самого утра пойти к Свете? Пожалуйста! Хочешь, чтобы тебе почитали вслух? Пожалуйста.

Время, как известно, лечит все. Помню, моя первая школьная учительница Вера Ивановна Рузова часто повторяла один странный для детского уха афоризм: «С любым горем надо ночь переспать, а там жизнь снова потихоньку начинает налаживаться». Так оно случилось и со мной. Летели дни, и мало-помалу моя кровоточащая рана стала затягиваться. Я уже даже могла без внутреннего содрогания смотреть на рубиновую пробку, которую мама не осмелилась смести вместе с остальными осколками в мусорное ведро. Она еще долго валялась в шуфлядке ножной машинки, среди шпулек, катушек и прочих швейных принадлежностей. А потом в один прекрасный день куда-то исчезла. Наверное, мама все же выбросила ее вон, в конце концов.

И вот прошла целая жизнь. С высоты прожитых лет давняя детская трагедия кажется мне почти смешной, если бы не одно обстоятельство.

А не было ли то знамением, размышляю я порой, сидя в кресле и держа на коленях пятого или шестого по счету дружка, которого ныне кличут Рамиком. Неким знаком свыше? Особым предупреждением, отправленным мне с

небес, о том, что не стоит приближаться к идеалу вплотную, не надо стремиться завладевать им или желать его так сильно, как желала его я. Недаром прагматичные французы не перестают повторять: бойся своих желаний, ибо они могут исполниться. Разве не достаточно любоваться идеалом издали или просто знать, что он есть? Где-то есть! Иначе может случиться непоправимое, и он уничтожит не только себя, но и тебя в придачу. Так что, можно сказать, я тогда еще легко отделалась и вышла из всей истории с минимальными потерями. Станете возражать? Говорить, фантасмагория? Старческий бред?

Наверное, вы правы. Так оно, в сущности, и есть.

Шкатулка

Даже если бы среди обилия моих вещей, по большей части бесполезных и совершенно ненужных в моем-то возрасте, даже если бы среди них не было прекрасной хрустальной шкатулки, приплывшей ко мне из далекого XIX века, которая ныне торчит на книжной полке среди прочих безделушек и смешливо корчит мне рожицы на манер старого кофейника из сказки Гофмана всякий раз, когда я пытаюсь снять с полки очередную книгу, то все равно…

То все равно, говорю я себе, я отыскала бы повод, чтобы рассказать об одной замечательной супружеской чете, сыгравшей громадную, просто преогромнейшую роль в моей жизни.

Александру Константиновну и Александра Алексеевича Рукманисов (Шуру и Сашу, как они называли друг друга) я никогда не видела молодыми. Я всегда помню их только в возрасте: вначале пожилыми, а потом и очень пожилыми людьми. Как и при каких обстоятельствах отец познакомился с этой почтенной четой, мне тоже неизвестно. Иногда я начинаю придумывать себе всякие разности. Например, что папа знал Александра Алексеевича еще до войны, то есть много раньше того времени, когда наша семья переехала в город Даугавпилс. Наверное, думаю я, отец познакомился с Александром Алексеевичем сразу же после того, как приехал в Латвию, а еще конкретнее, в Ригу, в 1940 году. Увы! Сегодня нет уже никого, кто мог бы либо опровергнуть такую версию, либо поддержать ее. Одно остается неоспоримым фактом: отец любил и бесконечно уважал и мужа, и жену. Иначе, будучи уже в весьма преклонном возрасте, да к тому же еще и тяжело больным человеком, не отправился бы лично на похороны Александра Алексеевича в далеком 1974 году — и путь неблизкий, и дорога неудобная с обязательной пересадкой и многочасовым ожиданием местного дизеля в Вильнюсе.

Но как бы то ни было, а сегодня мне кажется, что старики Рукманисы присутствовали в моей жизни всегда. Ни одно праздничное застолье в нашем доме не обходилось и даже не мыслилось без них. Когда в комнату вплывала дородная, величавая Александра Константиновна в парадном темно-синем платье с ниткой вишневого янтаря на могучей груди, а за ней легкой походкой почти вбегал по-юношески поджарый Александр Алексеевич, то это был верный знак того, что пора к столу, ибо самые дорогие и желанные гости уже прибыли.

Ни одна наша вылазка «в город» не обходилась без того, чтобы мы, хотя бы на минутку, не заглянули в гостеприимный домик Рукманисов в самом что ни на есть тихом центре, на тогдашней улице Гоголя. Ах, эти пьянящие ароматы душистого горошка и левкоя, что обильно цвели на клумбах, рачительно возделанных хозяевами под вечно распахнутыми окнами единственной большой комнаты в доме, которая одновременно была и столовой, и гости-

ной, и спальней. И рабатки по обе стороны дорожки, ведущей к калитке, в обязательном порядке засеянные маттиолой, которая так благоухала теплыми летними вечерами. И вкусный чай в тонких стеклянных стаканах с подстаканниками, из которых я так и не научилась пить без того, чтобы не пролить хотя бы каплю на стол. И ласковая, умная собака Димка, всегда готовая продемонстрировать все свои незамысловатые умения.

— Димка, служить!

— Димка, дай лапу!

И хрустальная шкатулка, единственная по-настоящему ценная вещь в доме, которая горделиво красовалась возле одного из окон на допотопном комоде, застеленном сверху вышитой дорожкой. Впрочем, с хрустальной шкатулкой в моем детстве не случилось той магии, которая произошла со злополучным графином. Просто цепкая память зафиксировала факт наличия предмета в доме, и все! А потому я страшно удивилась (и даже растерялась), когда где-то в году 1972-м в свой очередной приезд в гости к старикам, уже в их новую, благоустроенную квартиру, которую они получили взамен снесенного ветхого домика и, кстати, на той же самой улице Гоголя, мне на прощание была буквально насильно навязана в качестве подарка эта шкатулка. Видно, как следствие того, что за одним из наших вечерних разговоров за чаем я ненароком обмолвилась, что хорошо помню шкатулку с самого раннего детства, лет с пяти, а то и с четырех.

Безусловно, эта старинная вещь имеет свою собственную историю. Только едва ли сегодня есть кто-то, кто знает эту историю во всей ее полноте. А потому расскажу лишь о той части, которая хорошо известна мне по многочисленным воспоминаниям и Александры Константиновны, и более сдержанного на эмоции и слова Александра Алексеевича.

Итак, начну *ab ovo*, как говорили когда-то древние, то есть с самого начала. Александра Константиновна родилась в Санкт-Петербурге. Судя по тем старинным фотографиям, которые Александра Константиновна отдала мне на хранение уже почти перед смертью (корю себя за то, что постеснялась тогда забрать весь семейный архив, который молодые внучатые племянники, наследники квартиры Рукманисов, скорее всего, без всякого сожаления выбросили на помойку как ненужное им старье), так вот, судя по тем снимкам, ее семья принадлежала к типичному «среднему классу». Адвокаты, врачи, журналисты, инженеры, работники телеграфа и почты, и прочее, и прочее. Словом, та самая публика, которая с особым упоением, и я бы даже сказала с восторгом, бросилась в омут революционных потрясений, охвативших царскую Россию в конце шестнадцатого — начале семнадцатого годов. Достаточно перечитать первый том романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» под названием «Сестры», чтобы понять, о чем это я.

Разумеется, Шурочка, только-только выпорхнувшая из гимназии, никак не могла остаться в стороне от столь исторических перемен. И ветер истории очень быстро прибил ее к Смольному, туда, где в то время располагался революционный штаб большевиков. Октябрь семнадцатого года юная сестра милосердия (получившая свое медицинское образование на каких-то ускоренных курсах, готовивших персонал для военных госпиталей) встретила в самом эпицентре судьбоносных событий.

Впрочем, уже давно замечено, что когда сам находишься в гуще событий, то их восприятие кардинально отличается от восприятия тех, кто наблюдает за событиями, стоя на обочине, или кто пытается реконструировать их потом, по отзывам других. И это всегда так. Помню, как поразила лично меня будничность поистине вселенской катастрофы, какой, в сущности, и было кру-

шение Советского Союза. Так вот как исчезают цивилизации, размышляла я тогда, вот так вот, просто и обыденно, без массовых истерик и слез. Простой росчерк пера, и все. А я еще в школе все тщилась и никак не могла понять, как же произошло крушение Римской империи, как могло рухнуть и бесследно исчезнуть государство со столь великими достижениями буквально во всех областях человеческой деятельности. С такими поистине гигантскими духовными наработками, обеспечившими материалом для размышлений и художественного творчества всех, кто подвизается на сим поприще, на ближайшие две тысячи лет.

Ну да бог с ней, с Римской империей! У нас ведь и своя империя имелась. «Десять дней, которые потрясли мир» (сошлюсь на ныне мало цитируемое произведение американца Джона Рида) тоже запомнились Александре Константиновне именно своей будничностью. Много работы, бессонные ночи, круглосуточные дежурства у постели раненых, не прекращающаяся ни на минуту, ни днем, ни ночью, людская круговерть в некогда чинных коридорах бывшего института благородных девиц. И среди этого бесконечного людского моря невысокий, коренастый («рыженький», как описывала она его впоследствии) человек. Вершитель эпохи, *the man of destiny*, как говорят в таких случаях англичане, то есть «избранник судьбы». Едва ли молоденькая девушка понимала весь масштаб личности Владимира Ильича Ленина, имя которого ныне принято, по всякому поводу и без оного, втаптывать в грязь. Но она запомнила его именно таким вот: простым, абсолютно доступным, вечно на бегу, вечно в окружении толпы народа, что не мешало ему, пробегая мимо хорошенькой медсестры, случайно встреченной в коридоре, обязательно поздороваться на ходу и даже участливо поинтересоваться:

— Ну, как дела, Шурочка? Удалось подремать хоть часок?

И так, по словам Александры Константиновны, было всегда, что не мешало ей, впрочем, с некоторой долей иронии живописать на склоне лет о встречах с сильными мира сего. Кстати, «безпафосному» отношению к вождям я научилась именно у нее. Человек, как бы он ни был велик, все же прежде всего — человек, а уже потом все остальное, не правда ли?

В коридорах Смольного произошла еще одна судьбоносная для молоденькой Шурочки встреча. Я имею в виду Александра Алексеевича, который в составе батальона латышских стрелков прибыл для охраны Смольного. Конечно, в такого красавца просто невозможно было не влюбиться! Я рассматриваю чудом уцелевшие фотографии тех лет: красивый, подтянутый, весь в ремнях и при портупее молодой жених и очаровательная медсестра с кокетливо оттопыренным пальчиком правой руки, которой она подперла свою хорошенькую головку. Красивая пара, ничего не скажешь! И судя по всему, влюбленная друг в друга «до потери пульса», как говорит в таких случаях одна моя знакомая. Любви, чтобы преодолеть и вынести все то, что ждало их впереди, молодой паре потребовалось много, очень много. Потому что дальнейшая судьба Рукманисов лишний раз подтверждает, что по мукам в те далекие годы ходили не только герои Алексея Толстого.

В начале восемнадцатого молодого партийца бросили на укрепление правопорядка и законности в российскую глубинку, где он вскоре подхватил брюшной тиф. Спасая мужа от неминуемой смерти, Александра Константиновна решила вывезти его не к себе домой, в голодный Петроград, а уехать на время к родителям Александра Алексеевича, которые жили на хуторе, вблизи тогдашнего Двинска. Как-никак, а в деревенской глубинке было и посытнее, и поспокойнее. Обрусевшие латгальцы, родственники Рукманиса всегда чуждались политики и уж тем более каких бы то ни было сепаратист-

ских настроений. А потому сообщение о том, что, по Брестскому миру, город Двинск, вместе со всеми прилегающими к нему территориями, отходит к новому государству, появившемуся на карте под названием Латвия, стало для всех них громом среди ясного неба.

Не надо большой фантазии, чтобы представить себе, что дальнейшая жизнь молодой пары, волей рока оказавшейся в вынужденной эмиграции, складывалась непросто. Членство в партии большевиков мужа и левые убеждения жены были вполне достаточным основанием для того, чтобы превратить их существование если не в кошмар, то в тяжелую, каждодневную борьбу за выживание. Тот факт, что оба они имели за плечами гимназическое образование, роли не играл, а может быть, даже и усугублял их бедственное положение. Левые в буржуазной Латвии были не нужны нигде и ни в каком качестве, а потому приходилось работать там, куда тебя брали: батрачили, работали в мелких лавках, перебивались случайными заработками.

1940 год, когда Латвия снова вошла в состав Советского Союза, супружеская чета встретила с энтузиазмом. И Александр Алексеевич, на то время уже далеко не мальчик, мгновенно побежал в какие-то там советские органы, горя неуемным желанием снова стать на партийный учет. Органы встретили его именно так, как и положено органам. От обвинений в работе сразу на несколько вражеских разведок бывшего защитника Смольного спасла, как это ни парадоксально, лишь начавшаяся война. Думаю, у тогдашних властей просто не хватило времени на доскональное изучение биографии латышского стрелка Рукманиса, которому, вполне возможно, светила не просто Сибирь, а именно те самые пресловутые «десять лет без права переписки».

Стоит ли говорить, каким потрясением стали для Александра Алексеевича обрушившиеся на него несправедливости. И дело даже не в том, что преданный делу революции бывший партиец страшился Сибири. В конце концов, он бы тоже мог пропеть вместе с Петром Лещенко:

А я Сибири не боюсь,
Сибирь ведь тоже русская земля.

Обескуражила и обозлила тупая убежденность всех этих чинуш, исповедовавших, судя по всему, один-единственный принцип: кто не с нами, тот против нас. И скольких верных друзей и соратников, скольких потенциальных сторонников и союзников растеряла коммунистическая партия с помощью таких вот «принципиальных» в кавычках служак за семьдесят с лишним лет своего пребывания у власти, то одному лишь богу известно.

А ведь как в воду глядел бывший знакомец Шурочки по Смольному, когда писал: *«Никто в мире не сможет скомпрометировать коммунистов, если сами коммунисты не скомпрометируют себя. Никто в мире не сможет помешать победе коммунистов, если сами коммунисты не помешают ей».* Горько ныне читать эти ленинские строки, да что делать! Правда, она ведь всегда горька.

Впрочем, своим коммунистическим убеждениям Рукманисы остались верны до самой смерти. Просто отныне революционный романтик и немного поэт Александр Алексеевич Рукманис точно знал свое место, понимая, что при этой власти лучше не высовываться. Иначе можно легко схлопотать неприятности для всей семьи.

Но однажды старик все же не выдержал и устроил-таки представление (перформанс, по-нынешнему!), страшно перепугавшее всех, кто его знал и любил. Смерть Сталина в моей памяти навсегда переплелась с той трагикомичной бучей, которую утварил Александр Алексеевич. Беда в том, что от

всех переживаний, выпавших на его долю, Рукманис стал с возрастом попивать. Не то чтобы он превратился в горького пьяницу или тем более в забулдыгу. Но стоило жене спустить с него глаз, как он тотчас же устремлялся в ближайший продмаг и с легкостью чародея и мага разживался там чекушкой, почти всегда в долг. Потому что, зная о пагубной слабости мужа, Александра Константиновна все деньги держала при себе, выдавая ему строго подотчетные суммы на всякие мелкие нужды. Вследствие чего многочисленные «долги чести», всплывавшие, как правило, во время очередного похода за продуктами, ей приходилось оплачивать самой. И вот, узнав о смерти вождя, старик, хорошенько приняв на грудь, взял топор (как говорится в таких случаях, привет от студента Раскольникова!) и отправился на центральную площадь города, естественно, украшенную статуей Сталина, а там начал остервенело крушить памятник этим самым топором. В свои пять лет я хорошо запомнила фон, на котором разворачивалась эта трагикомедия. Отец прибежал днем с работы, уже с черно-красной повязкой на рукаве пальто, и стал взволнованно рассказывать маме о случившемся, а потом снова убежал, сославшись на то, что ему надо срочно ехать в горком партии.

От тюрьмы и верной гибели Рукманиса спасло несколько обстоятельств. Разумеется, заступничество влиятельных друзей. Наверное, и милиционеры, задержавшие пьяного дебошира, были из местных (в городе хорошо знали и уважали супружескую чету), а потому проявившие лояльность, а может быть, кто знает! — и солидарность с дебоширом. Ну и, наконец, до того ли было! Разве время заниматься каким-то выжившим из ума старикашкой, когда тут такое произошло? Умер Сталин! Ясное дело, начальству всех мастей было не до Рукманиса. Так и пронесло, слава богу.

Много позже эту историю всегда вспоминали в нашей семье с веселым смехом, хотя, наверное, 5 марта 1953 года всем ее участникам было не до веселья. Зато больше никаких потрясений в жизни супругов не случилось, и оба они дожили до глубокой старости в мире и согласии.

Детей у Рукманисов не было (видно, сказались последствия перенесенной болезни), поначалу они жили вдвоем в старинном, очень ветхом домике, перешедшем им по наследству еще в незапамятные времена от кого-то из дальних родственников. Вели тихое и размеренное существование обывателей, как и положено провинциалам. На момент знакомства моих родителей с Александром Алексеевичем и Александрой Константиновной оба они работали в крохотном магазинчике, похожем скорее на дореволюционную лавку, коей она, видно, и была в прошлом. Причем в роли заведующей в этой скромной торговой точке подвизалась именно жена, а не муж, который добросовестно выполнял все остальные функции в «магазине на двоих».

Романтические порывы мужа и суровые будни закалили характер бывшей гимназистки Шурочки, и с годами она превратилась в сильную, властную и немного деспотичную даму, которая — не скрою! — даже иногда помыкала собственным мужем. Александр Алексеевич сносил нападки жены стоически и никогда не переходил в атаку. Любил он свою жену, что тут скажешь! Да и она обожала его со всем прежним пылом восемнадцатилетней Шурочки. То, что это была именно любовь, становилось понятным с первого же взгляда на супругов. Это понимала даже я, совсем еще ребенок в те годы.

Как-то, перечитывая воспоминания современников Антона Павловича Чехова, я натолкнулась на такой любопытный факт. Оказывается в литературных кругах того времени жила легенда, будто бы Чехов долгие годы работал над каким-то романом. Но после бесчисленных вычеркиваний и сокращений в его записных книжках сохранилась лишь одна-единственная фраза, якобы

оставшаяся от этого романа. *«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастливы всю жизнь»*. Применительно к моим героям в этой фразе следует убрать приставку *не-*, а все остальное — это про них.

В гостеприимном доме Рукманисов постоянно толклась многочисленная родня: племянники и племянницы обоих супругов, ленинградские родственники Александры Константиновны, зачастившие после войны в тихий прибалтийский городок на летний отдых. Среди них были врачи, инженеры, военные моряки, их жены и подруги. Одна из таких «подруг», пользуясь абсолютной безнаказанностью и почти детской доверчивостью стариков, похитила единственно ценную вещь, оставшуюся в доме после всех жизненных перипетий, — старинные фамильные серьги, подаренные Шурочке матерью по случаю ее бракосочетания с Александром Алексеевичем. Крупные темно-синие сапфиры в тонкой золотой оправе хорошо гармонировали с единственным выходным платьем Александры Константиновны из темно-синей шерсти. В нем она неизменно появлялась у нас на всех праздничных застольях, и они очень шли этой красивой, не теряющей с возрастом своей импозантности и стати женщине.

Кажется, потерю драгоценностей я переживала даже сильнее, чем сама хозяйка, которая погоревала-погоревала, да и купила взамен недорогие сережки с мелкими аметистами. Несмотря на некоторую заземленность своих взглядов на жизнь (что было неизбежно при наличии мужа-романтика, слишком часто искавшего истину в вине), она философски воспринимала все удары судьбы, собственным примером подтверждая правоту античных мудрецов, учивших, что самое большое несчастье — это не уметь переносить несчастья.

Сегодня у нас в ходу слово «дама», причем границы его смысловых значений весьма и весьма размыты, как мне представляется. Так, все мы усердно повторяем на разных официальных мероприятиях безграмотную кальку английского обращения *'Ladies & gentlemen!'*, хотя даже с точки зрения обычной логики по-русски *«Дамы и господа»* звучит, согласитесь, более чем абсурдно. Мы просто забыли, что в русском языке *господа* — это собирательное существительное, лишенное какой бы то ни было гендерной окраски и означающее в равной степени и мужчин, и женщин. Вот и получается, что, обзывая женщину «дамой», мы сразу же и бесповоротно лишаем ее права относиться к господскому сословию.

Впрочем, и без официоза мы с легкостью цепляем определение «дама» к любой женщине, по любому поводу и без повода. Увы-увы! Дамой легче назваться, чем быть ею на самом деле. Истинные дамы во все времена были наперечет. А потому горжусь тем, что знала, любила и долгие годы общалась с самой настоящей дамой без всяких там преувеличений и заковычиваний.

Немногословная, всегда неизменно любезная и подчеркнуто вежливая в обращении со всеми (не припомню, чтобы она когда-нибудь обратилась к моей маме, женщине, много моложе ее, иначе, чем «Ольга Якимовна»), с обязательным «вы» даже по отношению к подросткам, умеющая и в самом скромном одеянии подать себя так, как это свойственно только очень изысканным и стильным женщинам, не любящая излишних сантиментов, громкого смеха, пустых разговоров и сплетен, не чурающаяся никакой, даже самой грязной работы, умеющая и знающая все на свете, Александра Константиновна, конечно же, была дамой в самом прямом смысле этого слова.

Нет, не княжеских кровей, это правда. И даже не из столбовых дворян, как некоторые из нынешних обласканных властью монархистов. Но налет рафинированности, присущий дамам Серебряного века, она сохранила до

самой смерти. Кстати, в старости она была очень похожа на Анну Ахматову, которую, впрочем, недолюбливала, насколько я могла о том судить, и всегда скептически улыбалась, слыша ее псевдоним. Видно, что-то в отношениях Анны Горенко и Николая Гумилева ее категорически не устраивало.

У нее был острый язык и меткий глаз, и порой она могла одним словом пригвоздить человека к позорному столбу. С возрастом я в полной мере оценила и еще одну, весьма пикантную особенность ее речи. В своем кругу, в очень-очень своем кругу, Александра Константиновна с лихостью кавалериста времен Гражданской войны могла сказануть такое словцо, что…

Что бедный Александр Алексеевич тут же закатывал глаза к потолку и с деланым ужасом восклицал.

— *Mon ami*, прошу тебя!

— И не проси, *mon cher*! — строго ответствовала дама его сердца, и пристыженный супруг немедленно умолкал.

Да, она была строга! И в детстве я ее откровенно побаивалась. Да разве я одна? Мой верный друг и товарищ Анна Ивановна тоже всегда страшно робела в присутствии Александры Константиновны, интуитивно чувствуя, что место бывшей девочки со скромных петроградских окраин, неподалеку от знаменитого Путиловского завода, все же чуть ниже той ступеньки, на которой стояла еще одна коренная жительница бывшей российской столицы.

При этом полнейшее бескорыстие во всем, распахнутость навстречу чужому горю и желание немедленно помочь чем можешь. Вечная нехватка денег, страшная стесненность в средствах, в которой она прожила большую часть своей жизни, не превратили ее в ущербную попрошайку, готовую довольствоваться прошенным, ношенным или брошенным. Одно-единственное выходное платье, но свое! Единственная закуска к чаю, но зато домашний пирог с несколько диковинным названием «Утопленник» (тесто топилось в кастрюле с водой и считалось готовым к употреблению только тогда, когда всплывало). Вкуснятина, доложу я вам, необыкновенная. Больше ни в одном доме не удалось отведать мне таких вкусных пирогов. И сервировка стола всегда предельно лаконичная, но красивая в своей законченности и простоте.

Умерли мои герои в один день, как про то пишут во всяких сказочных историях, правда, с интервалом в десять лет. Девять лет мы с Александрой Константиновной навещали могилу ее мужа вдвоем (или втроем, если к нам присоединялась моя мама). И вот летом 1985 года (в годовщину смерти самой Александры Константиновны) я впервые пошла на кладбище одна, благоразумно отказавшись от сопровождения дальних родственников усопших со стороны Александра Алексеевича.

Ну, прибалтийские кладбища, похожие скорее на тенистые парки, на такие райские уголки, в которых отдыхаешь и сердцем, и душой, и где нет ни малейшего сходства с нашими погостами с их бесконечным частоколом оград, из-за которых света божьего не видно, так вот, тамошние кладбища — это тема для отдельного разговора. Помню, я долго сидела в полном одиночестве на скамейке возле могилы Рукманисов. Вспоминала прошлое, бесцельно любовалась сплошным покровом из разноцветного мха, которым была оплетена вся могила. Издали он был похож на веселый детский коврик, случайно оставленный кем-то на земле. Было тепло, солнечно, сухо, вокруг весело щебетали птицы, напоминая о том, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. И вдруг одна такая птичка, маленькая, серенькая, невзрачная, уселась на кустарник, прямо напротив меня, и запела во всю мочь своего крохотного горлышка. То было такое упоительное, такое сладкоголосое пение, что не знай я о том, каким скептическим умом отличалась Александра Константиновна, на дух

не переносившая ложной чувствительности и всяких слезливых разговоров о загробных чудесах, не знай я всего этого, то обязательно подумала бы, что это ее душа прилетела в ту минуту на свидание со мной.

Но я подумала о другом. О том, что вот с таким же упоением слаженно пропели всю жизнь свою мелодию на два голоса мои любимые старики. Иногда один из голосов звучал громче, а другой тише, иногда один вообще умолкал, давая возможность второму участнику дуэта в полную силу продемонстрировать свои вокальные возможности и поразить слушателя замысловатыми руладами и фиоритурами. Но чаще всего голоса звучали вместе, гармонично дополняя друг друга по тембру и высоте. То было виртуозное и безупречное, с точки зрения вкуса, исполнение сложной партитуры жизни, в которой у каждого исполнителя, повторюсь, была своя партия. В редкие же минуты подлинного вдохновения и вовсе случалось чудо! Голоса сливались воедино, и тогда звучала вот такая же сладостная песнь, как та, которую старательно выводила передо мной серая маленькая птаха. Что ж!

...Одной любви музыка уступает; но и любовь мелодия...
А. С. Пушкин. «Каменный гость»

Стакан воды

Нет-нет! Я не собираюсь досаждать читателю своими ностальгическими воспоминаниями о пьесе известного французского драматурга Эжена Скриба «Стакан воды», шедшей когда-то с невероятным успехом на сцене Малого театра. В главной роли герцогини Мальборо в том давнем спектакле была занята блистательная, несравненная Елена Гоголева, которая в дуэте с еще одним народным артистом СССР Константином Зубовым, исполнявшим роль лорда Болингброка, творили на сцене самое настоящее пиршество красоты и ума, к великой радости завзятых московских театралов.

Остроумные, тонкие диалоги-пикировки сценических персонажей были настолько уморительно смешны, что каждая очередная реплика партнеров встречалась дружным хохотом всего зрительного зала, вызывая восторженные аплодисменты и нескончаемые крики «Браво!». Увы, кинофильм середины восьмидесятых прошлого века, где в этих же самых ролях снялись совсем даже неплохие актеры Алла Демидова и Кирилл Лавров, явил собой лишь бледную и весьма несовершенную по своему качеству копию того давнего спектакля. Оставалось только удивляться и разводить руками, как можно было из искрометной, по-французски легкой и изящной комедии сотворить такую слезливую мелодраму. В самом деле! Не сопереживать же на полном серьезе любовным страданиям королевы Анны, которые в общем-то скорее комичны, чем драматичны. Но будем надеяться, что записи постановки Малого театра образца 1953 года, быть может, еще и сохранились в Госфильмофонде или хотя бы где-нибудь на радио. К счастью для потомков, если они вознамерятся когда-нибудь извлечь на свет божий этот истинный шедевр театрального искусства.

Впрочем, моя история не имеет ни малейшего отношения ни к театру, ни к самой пьесе. Разве что к ее названию, да и то лишь по касательной, на уровне сугубо субъективных ассоциаций. Ибо речь далее пойдет снова о вещах, конкретнее, о стаканах. О самых обычных стаканах для воды, если уж быть совсем точной.

Надо сказать, что в Москве конца шестидесятых — начала семидесятых годов XX столетия было несколько торговых точек, ничуть не уступавших

по своей популярности ни Большому театру, ни знаменитой Третьяковке, ни Красной площади с ее ГУМом и храмом Василия Блаженного, ни красочным павильонам ВДНХ. Разумеется, я имею в виду фирменные магазины стран социалистического содружества, которые с самого момента их открытия превратились в своеобразную Мекку для всех гостей столицы и куда валом повалил честной народ со всего бывшего Советского Союза.

Первой в этом ряду появилась «Ванда», сразу же очаровавшая отечественного покупателя, не шибко разбалованного разнообразием товара, своим широким ассортиментом: польской косметикой, посудой, кожаными тапочками и прочей мелкой дребеденью. До сих пор помню несколько резковатый запах дешевых, но страшно популярных в те годы духов «Может быть», ароматами которых пропахло пол-Петровки и Столешникова переулка, ибо крохотный магазинчик, торговавший товарами из братской Польши, размещался в те годы именно на стыке этих двух старинных московских улиц.

Столешников, с его бесконечной чередой букинистических лавок, с его знаменитой на всю Москву кондитерской, в которой в те годы еще сохранилось некое подобие дореволюционного шика и свежайшие пирожные упаковывались прямо на глазах покупателя в элегантные коробочки, перевязанные яркими тесемками, так вот, прославленный Владимиром Гиляровским Столешников (кстати, писатель и сам там жил долгие годы, вплоть до самой своей смерти в 1935 году), всегда был любим и москвичами, и гостями столицы. Во всяком случае, лично я навещала Столешников в обязательном порядке, в каждый свой приезд в Москву.

Ах, какое это было наслаждение вышагивать по Пушкинской или по Большой Каретной, воспетой уже другим Владимиром — Высоцким, вот с такой нарядной коробочкой в руке, направляясь в очередные гости к друзьям и уже заранее предвкушая вкусный чай с тающими во рту эклерами, воздушными безе и радующими взор своим кулинарным совершенством корзиночками с самыми разнообразными начинками.

Разумеется, вся эта людская лавина, которая нескончаемым валом катилась по Столешникову вниз, к Петровке, в обязательном порядке отмечалась и в «Ванде». Соответственно, возле магазина всегда творилось нечто невообразимое. Самое настоящее столпотворение, что, с учетом близости Генеральной прокуратуры, с одной стороны, и не менее знаменитой Петровки, 38, с другой стороны, ну, никак не вписывалось в представление городских властей о самой образцовой столице в мире.

Словом, «Ванду» перенесли из «тихого центра» в более громкий центр, поближе, так сказать, к трудящимся массам. В очередной свой приезд в Москву я узнала, что за полюбившимися моим знакомым и друзьям шампунями, кремами и изысканными духами «Пани Валевская» отныне придется ездить уже на Ленинский проспект, причем в самый дальний его конец. Утешало лишь одно: то, что рядом открыли еще сразу несколько фирменных магазинов наших тогдашних коллег по СЭВу: «Лейпциг» (товары из ГДР), «Варна» (товары из Болгарии) и «Власта» (чешские безделушки и парфюм).

Однако своего пика ажиотажный спрос на товары из стран соцсодружества достиг тогда, когда в Москве появилась последняя торговая точка подобного типа. Я имею в виду югославский магазин «Ядран». Это эпохальное для любителей импорта событие совпало по времени с объявленной тогдашними властями политикой «разрядки», когда советские руководители и их западные коллеги попытались, наконец, подвести черту под эпохой «холодной войны» и всем тем, что было с ней связано.

В отличие от первых трех, югославский магазин с самого начала разместили не на магистральном проспекте, а очень даже вдали от больших дорог, на ничем до сей поры не примечательной Профсоюзной улице в районе новостроек. Открылся магазин в 1974 году, а уже 1978 году его ликвидировали, якобы за ненадобностью, что не помешало «Ядрану» оставить весьма глубокий след в истории московской торговли. Ибо надо было знать, чем была Югославия в те годы для обычного советского обывателя. Почти что капиталистическая страна. Да что там почти! Без всяких «почти». А потому и югославский магазин сразу же приобрел в глазах покупателей ореол «почти что» пресловутой «Березки», в которой, как известно, имели право отовариваться лишь те немногие счастливчики, кто выезжал с длительными командировками за рубеж. Справедливости ради стоит отметить, что ассортимент товаров в новом магазине тоже был на должном уровне: одежда, обувь, электроприборы, самые разнообразные светильники и люстры, и наконец, знаменитый югославский хрусталь, в котором содержание окиси свинца доходило до положенных двадцати с лишним процентов, то есть соответствовало лучшим мировым стандартам качества.

Правда, вся эта роскошь стоила баснословных по тем временам денег, но, в конце концов, что мешает просто зайти и полюбоваться на такую красоту? Впрочем, находились и многочисленные охотники купить. Особенно бойко расходились дорогущие хрустальные люстры с подвесками. Не скрою, это вызывало у меня некоторую оторопь. Зачем, размышляла я, разглядывая великолепные люстры, в обычной советской квартире, пусть даже и трехкомнатной, цеплять к потолку такое великолепие, которому место в каком-нибудь баварском замке или на средиземноморской вилле. Знать бы тогда, что всего лишь через какие-то четверть века мечта многих наших мещан станет явью и они обзаведутся и виллами на Средиземноморье, и замками по всей Европе, и много еще чем в придачу.

Думаю, именно в семидесятые годы, заглянув в Европу всего лишь только через торговые окна, заботливо прорубленные для народа его любящим правительством, мы получили взамен стремительный и бурный рост потребительских настроений в обществе. Как справедливо заметил Максим Кантор в своем романе «Учебник рисования», *«Власть вещей, та власть, что часто именует себя «новым порядком», подменила собой историю»*.

И не только историю, добавлю я уже от себя. Она, эта власть, как мне кажется, подменила собой все: совестливое отношение друг к другу, уважение к людям труда (труда, а не добычи!), любовь к ближнему, наконец, любовь к труду и отношение к нему как к главному критерию определения нравственных качеств человека. Когда какая-то пигалица, кривляющаяся на телеэкране, с упоением рассказывает на страницах популярного издания о своих шикарных апартаментах или сообщает наивному читателю, где, что и почем она купила, «шопингуя» по Европе, а тот не возмущается, не негодует, не переполняется праведным гневом оттого, что вот как, оказывается, широко и привольно живут ныне старлетки, то есть все те, кто еще вчера был ничем и завтра снова канет в небытие, когда он терпит весь этот бред и лишь сокрушенно вздыхает, то это и означает, что все мы сегодня под пятой власти вещей. И даже всем сердцем приветствуем слова Вергилия из его «Энеиды», которые ныне превратились в своеобразный девиз, украшающий американские однодолларовые купюры: '*Novus ordo seclorum' (Начало новых времен)*. Вот так, по собственной ли, по чужой ли воле, вписались мы в этот «новый порядок» со всем своим более чем скромным имуществом.

Но вернемся в семидесятые. В те годы я часто наезжала в Москву с командировками и почти всегда останавливалась в гостинице эстонского

постпредства. Почему там? Так уж вышло по жизни. Наше белорусское постпредство, расположенное в красивом старинном особняке на Маросейке (в те годы улица Богдана Хмельницкого), всего лишь в двух шагах от Красной площади, увы! — не могло предложить своим рядовым клиентам и сотой доли того комфорта, в котором жили постояльцы эстонского ведомства. Достаточно вспомнить знаменитую «ротонду», огромную круглую комнату, в которой одновременно располагались с полторы дюжины жиличек. Интересно, что здесь было до революции, гадала я, лежа на одной из кроватей и разглядывая осыпающуюся лепнину на потолке. Салон? Утренняя гостиная? Изысканный будуар? Слов нет! Для представительских целей особняк был бы очень хорош, но вот для гостиницы он никак не подходил.

А потому, случайно очутившись в эстонском постпредстве и собственными глазами увидев уютные комнатки только на двоих, обставленные светлой мебелью, с характерными для Прибалтики клетчатыми пледами на кроватях, с красивыми эстампами на стенах, с неброскими шторами на окнах, с душем в каждом номере и всем тем, что к нему прилагается, я, что говорится, влюбилась в эту крохотную гостиницу в двух шагах от Филевского парка на всю оставшуюся жизнь и очень скоро стала ее завсегдатаем. Меня не смутило даже то обстоятельство, что в середине семидесятых, когда Москва с размахом готовилась к Олимпиаде-80, развернув массовое строительство гостиничных комплексов по окраинам города, мою любимую гостиницу перебросили из центра в район новостроек возле станции метро «Беляево». Эстонскому постпредству отвели целый этаж, семнадцатый из двадцати, в новом административном здании. И все очень красиво и пристойно, но если честно, очень уж далеко!

Как я шутила в те годы в разговоре с московскими друзьями, «у нас это уже Молодечно, а у вас — все еще Москва». Отдаленная столичная гостиница немедленно превратилась в своеобразный Ноев ковчег. Там можно было встретить кого угодно. Как говорится, всякой твари по паре. Грузины, молдаване, украинцы, командированные с Дальнего Востока и даже с острова Сахалин. Разумеется, в первую очередь селили представителей Прибалтийских республик. Ну, а уж свободные номера охотно отдавали в распоряжение многочисленных приезжих из всех уголков Советского Союза. Так, во время моей очередной столичной командировки ко мне в комнату подселили темноволосую смуглую женщину из Армении.

— Сусанна! — представилась она негромким, немного гортанным голосом и немедленно принялась распаковывать свои вещи, чтобы извлечь из сумки незаменимую для любого армянина посудину для варки кофе.

Как выяснилось в ходе первого знакомства на бегу-на лету (ибо я уже опаздывала на работу), Сусанна приехала в Москву из далекого Ленинакана, и не одна, а вместе с мужем. Муж, директор какого-то предприятия, прибыл в столицу в конце года, чтобы выбить в министерских кабинетах дополнительные фонды на будущее, что-то там согласовать и утвердить, а жену взял с собой исключительно ради того, что нынче обзывают неблагозвучным иностранным словечком «шопинг». В самом деле! С учетом приближающегося Нового года цель вполне оправдывала средства. Где же еще можно купить самые лучшие подарки для родных и близких, как не в Москве?

В это время в комнату заглянул и сам муж. Видно, решил лично удостовериться, что жену поселили рядом с благонадежной и морально устойчивой постоялицей. На его недовольном лице читалось смятение, дескать, надо же! Командировка не задалась с самого начала. Директор из Ленинакана никак не предполагал, что на момент их с женой прибытия в столицу в

гостинице не окажется ни одного свободного номера на двоих. Более того, строгая администраторша была неумолима: на такой подарок, как отдельная комната, супружеская чета может рассчитывать лишь в конце недели, то есть не раньше пятницы, когда начнется массовый отъезд очередной партии постояльцев.

Я попрощалась с расстроенными супругами до вечера и убежала на работу, а вечером, уже под чашку восхитительного кофе, приготовленного прямо на моих глазах с помощью обычного кипятильника и чашки (умеют же армяне варить свой знаменитый кофе в любых, даже самых экстремальных условиях!), продолжила слушание семейной саги.

Сусанна, кандидат исторических наук, преподает в местном пединституте. У них с Кареном трое детей: три дочери. Мне немедленно была предъявлена общая фотография всей троицы. Симпатичные мордашки, веселые улыбки. Помню, старшая из сестер, девочка лет восьми, очень похожа была на отца. Я еще тогда сказала, что это верный признак счастья в жизни для девочки: быть похожей на своего отца. Попутно выяснилось, что мои новые армянские знакомые знают Москву крайне плохо. Конечно же, Карен, бывавший хотя бы раз в полгода в московских командировках, более или менее ориентировался в центре: Красная площадь, ГУМ, «Детский мир», но и, пожалуй, все. На этом его познания о московской торговле заканчивались. Сусанна же жаждала расширенной программы и горела страстным желанием немедленно вложить деньги (и видно, немалые) в столичный товар.

И вот Карен, уже успевший проникнуться ко мне доверием и даже некоторой симпатией, попросил, чтобы я поспособствовала ознакомлению его супруги с наиболее интересными, на мой взгляд, торговыми точками города Москвы. Отныне каждый вечер у нас завершался своеобразным ритуалом: я брала чистый лист бумаги и авторучку, мы с Сусанной садились к столу, и я скрупулезно и во всех подробностях прорисовывала ей предстоящий назавтра маршрут блужданий по городу.

Естественно, все тот же ГУМ и «Детский мир», но плюс «Петровский пассаж», знаменитый «Военторг» на проспекте Калинина (дивный образчик самого настоящего модерна, бог весть почему снесенный с лица земли в конце девяностых прошлого века). Говорят, сейчас на месте бывшего архитектурного шедевра высится безвкусный новодел, которыми запрудили всю современную Москву. Разумеется, россыпь магазинов на Новом Арбате и Ленинском проспекте, включая и все фирменные.

Вечером, возвращаясь в гостиницу после работы, я невольно пятилась назад, переступая порог нашей комнаты, ибо она стремительно и бесповоротно превращалась в самый настоящий вещевой склад. Повсюду теснились коробки, баулы, свертки, и, видя мое замешательство, Сусанна виновато пыталась объяснить мне, что родни у них много. И всех надо одарить, и всем надо угодить, и всех ублажить.

— Господи! Как вы все это дотащите, бедные! — только и находилась я в ответ.

— А, ничего! Как-нибудь! — беззаботно отмахивалась от меня Сусанна. — Тут закажем такси, потом в самолет, а дома нас встретят на служебной машине мужа. Было бы что тащить!

Оказалось, что программа шопинга у моей соседки еще далека от завершения, ибо обязательным пунктом в ней значился и тот самый югославский магазин, ставший завлекалочкой для всех и вся. И тут Сусанна на пару с мужем стали слезно просить меня, чтобы я лично свозила ее в этот чертов «Ядран».

— Хочу обновить кое-что из хрусталя к Новому году, — туманно пояснила мне женщина. — А одна я туда точно не доберусь, заблужусь в потемках среди этих новых кварталов.

К превеликому счастью (по крайней мере, для меня), от нашей станции метро до Профсоюзной улицы надо было добираться всего лишь одним автобусом. Но все равно в мои планы никак не входило тратить целый вечер на пустое созерцание красивого импортного хрусталя. Однако супруги были столь трогательны в своем стремлении меня уломать, а кофе был, как всегда, так ароматен и горяч, что я скрепя сердце уступила. И даже «забила» Сусанне стрелку на завтра, ровно на пять часов вечера и ни минутой позже, на моем любимом Кузнецком мосту, где, впрочем, я тогда и трудилась во Всесоюзной научно-технической библиотеке.

Доставив соседку по нужному адресу и бросив возле прилавка с хрусталем, я отправилась бродить по торговым залам магазина, чтобы тоже прикупить себе кое-какую мелочевку из косметики к предстоящим праздникам. Вернувшись минут через двадцать в отдел посуды, я застала Сусанну и продавщицу за тяжелыми раздумьями: они медленно и по нескольку раз крутили ослепительно прекрасные фужеры стоимостью по шестнадцать-пятнадцать рублей за штуку (добавлю в скобках для тех, кто плохо ориентируется в тогдашних ценах: стоимость комплекта таких рюмок соответствовала месячной зарплате среднестатистического инженера), критически разглядывали на свет резьбу на креманках, сопоставляли и выбирали коньячные наборы из нескольких, выставленных на витрине. Наконец дебаты были завершены и сделан окончательный выбор. После чего Сусанна стала деловито командовать продавщице:

— Так! Пожалуйста, два комплекта фужеров для шампанского. Два набора коньячных рюмок, набор для десертных вин, два набора креманок, два набора водочных стопок, два набора стаканов для воды.

Обвешанные коробочками с головы до ног, мы двинулись в обратный путь: не шли, а плелись черепашьим шагом, словно минеры, перемещающиеся по заминированному полю. Не дай бог поскользнешься! Не дай бог что-нибудь уронишь!

Наконец, взмокшие от напряжения, уставшие, но, судя по лицу Сусанны, очень довольные, мы добрались до гостиницы и с величайшей предосторожностью сгрузили все покупки на кровать моей соседки. И она тут же принялась распаковывать рюмки и вертеть их на свету. Было что-то трогательное в ее детском азарте, в ее неуемном желании обязательно полюбоваться игрой красок, и я даже вспомнила, как сама любила разглядывать когда-то, в далеком-далеком детстве, вот так же на свету обломок хрустальной вазы. Но то когда было! Можно сказать, в другой жизни.

Последними на свет божий были извлечены и стаканы для воды, массивные, с изысканной резьбой по всему периметру. Такому хрусталю электрический свет совсем без надобности. Я представила себе, как они будут мерцать и переливаться в полумраке серого осеннего дня. Красиво!

— Послушай, Сусанна! — вдруг неожиданно вырвалось у меня. — Я все понимаю! Нарядные фужеры для шампанского, рюмки для вашего национального напитка — коньяка, креманки для мороженого и взбитых сливок, с этим нет вопросов. Но стаканы для воды! Скажи на милость, зачем тебе две дюжины этих дорогущих стаканов?

— Но у меня же маленькие дети! — недоуменно выгнула бровь моя собеседница. — Кстати, мы уже умудрились разбить несколько таких комплектов. Все стаканы до единого, представляешь?

— А что, разве детям нельзя дать что-нибудь более обыденное? — продолжала я настойчиво гнуть свою линию. — Неужели не жалко бить такую красоту просто так, между прочим?

— Жалко? — удивилась она и снова взглянула на переливающийся всеми цветами радуги стакан. Потом перевела взгляд на меня и проронила задумчиво: — Ах, Зина! Ведь и жизнь наша похожа на вот этот стакан для воды. Сегодня искришь и переливаешься на солнце, а завтра — раз! — и нет тебя. Так стоит ли жалеть какого-то там стакана? Тем более, для ребенка!

Я потом много раз пересказывала этот несколько необычный разговор подругам, но ни в ком из них так и не нашла понимания.

— Да все они там с жиру бесятся на своем Кавказе! — кипятились в ответ мои трудящиеся женщины. — А тебе только дай повод рассиропиться по любому пустяку. Вот пожила бы твоя армянка на сто двадцать рублей в месяц, как живет большинство людей, и живо приучила бы своих дочек пить воду из эмалированных кружек. Специально такие маленькие кружечки продаются для детей.

Прошло много лет. В декабре 1988 года я приехала в Москву в очередную командировку и в очередной раз оказалась на Кузнецком мосту. Настроение, впрочем, было совсем не радужное: обычно нарядная в эту пору Москва с многоцветием новогодних елок и ярких гирлянд не радовала глаз и не веселила сердце. Всего лишь каких-то пару недель тому назад в Армении случилось страшное землетрясение. Можно сказать, что тогда от горя содрогнулась вся наша большая страна. На работе у нас незамедлительно начался сбор теплых вещей, все мы перечисляли деньги в какой-то специальный фонд пострадавшим от землетрясения, принимали участие в субботниках, а заработанные на них средства тоже перечислялись в этот фонд.

Телевизионные репортажи с места события ужасали своей почти апокалипсической безысходностью. Помню, как не сумел сдержать слез в погребенном под руинами городе Спитаке тогдашний Предсовмина СССР Николай Иванович Рыжков, который буквально на следующий день после произошедшей трагедии вылетел в пострадавшие районы. И эти слезы на глазах высшего руководителя государства странным образом сблизили на какое-то короткое время всех. Оказалось, что банальная фраза, столь любимая всякими разными политиками, *«Все мы в одной лодке»* означает именно то, что означает. Земля мала, а человек перед лицом разбушевавшейся стихии мгновенно превращается всего лишь в крохотную песчинку мироздания.

В публикуемых повсеместно сводках указывалось, что город Ленинакан тоже практически стерт с лица земли. И вот я медленно бреду по знакомой московской улице, машинально отмечая глазом произошедшие перемены: новые вывески, красочно оформленные витрины магазинов. Так незаметно для самой себя я подошла к арке у ворот старинного дома, где когда-то назначала свидание Сусанне, и вдруг почувствовала, как у меня больно-больно заныло сердце.

Живы ли они, мои давние армянские соседи по гостинице, вихрем пронеслось у меня в голове. Сусанна, Карен, их смешливые, судя по фотографиям, девочки? Спаслись ли в той страшной круговерти? Или земля поглотила их всех пятерых вместе с другими десятками тысяч людей? Я начала прикидывать возраст детей. По всему получалось, что старшей девочке около двадцати. Значит, уже студентка. Дай бог, чтобы она в это время находилась на учебе в Ереване. Тогда у нее был шанс уцелеть. А остальные?

И вдруг в сгущающихся вокруг сумерках я услышала низкий, слегка гортанный голос: «Ах, Зина! Ну, что я тебе говорила, помнишь? Жизнь наша,

что стакан для воды. Сегодня искришь и переливаешься на солнце, а завтра — раз! — и нет тебя».

Эти слова прозвучали так явственно, так четко, что я невольно стала озираться по сторонам. Казалось, еще мгновение, и сама Сусанна, живая и невредимая, шагнет мне навстречу. Так вот что она имела в виду, дошел до меня, наконец, с большим опозданием потаенный смысл ее тогдашних слов. Она ведь просто хотела лишний раз напомнить мне правоту того, о чем толковали еще античные философы. Мало ли мы вызубрили подобных сентенций за годы институтской учебы? А она просто взяла в руку хрустальный стакан и повторила, правда, другими словами, величайшую истину, открытую когда-то для всех нас Аристотелем. Человек есть мера всех вещей. Человек — мера всех вещей: только так, а не иначе! Ибо и сам человек, по справедливому замечанию уже другого мудреца, римлянина Сенеки, есть вещь священная. *'Homo res sacra'*. Вот и получается, что когда нет человека, все остальное мгновенно превращается в ненужный никому хлам. Да и зачем, подумайте сами! — нужны вещи в отсутствие человека, а?

Я вперила взгляд в чернильно-черное небо. И передо мной распахнулась та самая бездна, о которой когда-то писал Михайло Ломоносов.

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Звезд, впрочем, не было видно. Да разве разглядишь эти звезды на небе посреди большого города?

— Господи! — взмолилась я со всей истовостью своего праведно атеистического сердца. — Прошу тебя! Сделай так, чтобы они были живы! Пусть они будут живы! Ведь у Тебя же все живы! Всегда и на все времена.

АЛЕКСАНДР РОГАЧЕВ

Не наступайте на цветы

Белый конь

Позабыв азарт погонь,
Охладев к полету,
Выполняет белый конь
Черную работу.

К полю тащит груз большой,
И скрипит телега.
Но и телом, и душой
Он белее снега.

Вишу на волоске

Вишу на волоске
На собственной работе.
А не на той доске,
Где труженик в почете.

Моя душа — в тоске
И нервы на пределе. —
«Висишь на волоске», —
Сказал мне шеф в отделе.

Сурово на него
Смотрю я в знак протеста.
Для друга своего
Мой шеф готовит место.

За место я держусь,
Как дуб за землю в поле.
И день, и ночь тружусь
Во имя лучшей доли.

Незримый волосок —
Мой тяжкий крест в Отчизне.
Седеет мой висок
От этой трудной жизни.

Вишу на волоске
То нервно, то покорно.
Во мне, как в колоске,
Смиренья спеют зерна.

Пастух

Лицо его дышит отвагой.
Живет в нем таинственный дух.
Как доблестный рыцарь со шпагой,
Стоит с длинной палкой пастух.

Одет он легко и неброско,
И даже со вкусом — не лгу.
Мальчишки немалое войско —
Коровы на летнем лугу.

Ему улыбается солнце,
Его обдувают ветра.
Он взором глядит полководца
На стадо коровье с утра.

И если мычанием стадо
Приветствует стоя его,
То больше для счастья не надо
На свете ему ничего.

* * *

Утром на лугу пасется
Солнце — огненная лошадь.
Золотую гриву солнца
Ветерок слегка ерошит.

Летний луг — моя отрада.
Здесь везде — цветы живые.
Наступать на них не надо —
Это очи луговые.

Петь — значит, жить!

Перед вами подборка стихотворений трех белорусских поэтов.

Язэп Пуща, Янка Журба, Анатолий Сыс…

Три поэта, три имени, три судьбы… Такие разные и такие в чем-то похожие.

Три судьбы, оборванные в самом расцвете поэтического таланта…

Арестованный в 1930 году по надуманному лживому обвинению двадцативосьмилетний Язэп Пуща был на долгие годы и десятилетия оторван от белорусского литературного процесса…

Из-за болезни глаз вынужден был в 1937 году оставить работу в Институте языковедения АН БССР Янка Журба. Потом были мучительные годы забвения, почти полная слепота и нищенская смерть в Полоцком доме престарелых в 1964 году. Между первым сборником поэта «Заранкі», вышедшим в 1924 году, и другим («Ясныя шляхі», 1959 г.), не годы даже — три с лишним десятка лет…

4 мая 2005 года, всего лишь на сорок шестом году жизни, скоропостижно скончался Анатолий Сыс, один из самых талантливых современных белорусских поэтов.

Три литературных судьбы… и десятки, сотни даже, стихотворений, которые они могли, да так и не создали. Просто не успели…

Но и то, что создано ими, навечно войдет в золотой фонд белорусской поэзии.

Геннадий АВЛАСЕНКО

Язэп ПУЩА

Бальзам живой воды

Из родников твоих пил я бальзам живой воды
И подбирал тогда для песен новые лады.

В народе их подслушал сердцем и душой
И радость образов нежданных в них нашел.

О, Родина, твой голос петь меня учил,
И ты мне отдала от слов родных ключи.

Я те слова понес, чтоб после людям рассказать.
Свою и их судьбу еще не в силах предсказать.

Но знаю, что навек они останутся со мной
Волшебной сказкою и вечною весной.

* * *

Долина отвеяла шумом овсяным,
Отвеяли волны овсов золотистых.
Вновь песни на юг улетают с гусями,
Теряют сады настроенья цветистость.

Дубрава грибами уже не поманит,
Косынку березка полощет в тумане.
Смеется листвою багряная осень,
Ей соку напиться калина подносит.

А в пойме, за речкою, вечером смуглым
Ночлежники больше костра не распалят.
Лишь звезды все те же над озером Круглым,
Лишь песня все та же приходит на память.

За что так сердцу милый?

За что так сердцу милый
Весны зеленый шум?
Для Беларуси милой
Я радость дней ношу.

Люблю, зачем скрываться,
Как васильку во ржи.
В просторной новой хате
Всем нам счастливо жить!

Не нужно песни ноты,
Она поет во мне.
Ее всегда охотно
Звенит струна струне.

Ее мотив чудесный
Цимбалы завели:
Пусть будет вечной песня,
Как гимн родной земли!

Реченька не спит

Реченька не спит, в даль желает плыть,
Травы напоить, солнышко умыть.

Сенокос звенит, рожь зовет вставать,
В поле выходить — и косить, и жать.

От рубахи пар, на лице загар,
Солнца красный шар выгребает жар.

За курган плывет, за собой зовет…
Ветер у ворот яблок нам собьет.

Реченька не спит, в даль желает плыть.
И охота петь, и охота жить.

Янка ЖУРБА

Как люблю я тебя, Беларусь!..

Как люблю я тебя,
Беларусь ты моя,
И как дорога вся
Красота мне твоя!

Вот я полем иду
Теплой летней порой.
И любуюсь всегда
Я твоей красотой.

Ясно в небе насквозь,
Нет ни облачка в нем.
Сильно манит меня
Даль небесным огнем.

Пламенеет восход —
Словно вспыхнул пожар.
Солнцу гимны звенят;
Сколько в гимнах тех чар!

Вот я в пущу пришел;
Эх, какой тут простор!
Как привольно вокруг
Лес шатер распростер!

Тут березы стоят
Белоснежной семьей,
А под ними ковер
С бархатистой травой.

А за лесом опять —
Сенокосы, поля.
С нетерпеньем зерна
Ожидает земля.

Скоро вечер пришел
С темнотой, тишиной —
И уснул тихим сном
Лес вечерней порой.

И туман пеленой
Застилает кусты;
На зеленых ветвях
Уж не шепчут листы.

Вон дымится река.
Смолкли враз голоса.
Как алмазы в траве
Заблестела роса.

Всю твою красоту,
Беларусь ты моя,
Веру, ясность твою,
Эх, люблю ж сильно я!

Как же радостно мне
Твой простор озирать
И от сердца всего
Тебе счастья желать!

Я встречать пойду весну…

Я сегодня не усну:
Я встречать пойду весну.
Там, в саду, где запах прели,
Где душистый цвет сирени
Прижимается к кустам,
Я с весною встречусь там.

Вот в саду я, где березки,
С их листочков, словно слезки,
Наземь падают росой,
Дарят сказочной красой.
Там вишняк — семьей густой:
Что-то шепчет он листвой.

От берез наискосок
Молодой стоит дубок.
Вон и липка, и калина
Ветви клонят над малиной.
Я еще мальчишкой был,
Когда их тут посадил.

А над садом, в небе чистом,
Звезды светятся огнисто,

Шлют чудесные мне сны
И со мною ждут весны.
Сад в серебряной раскраске
Мне свою расскажет сказку.

После сказку сам сложу
И природе расскажу.
Я люблю природу нашу,
Не найти милей и краше…
Нет!.. всю ночь я не усну:
Встречу нынче я весну.

Ходит осень по полям…

Ходит осень по полям…
Шум роняет по лесам,
Плачет, просится в дома…
Скоро к нам придет зима.
Встали белые туманы,
Чтоб полей запрятать раны.
Паутины вьется нить —
И ее не воротить.
Осень с шелестом тоскливым
Средь деревьев молчаливых
Укрывает все пути —
Даже тропки не найти.
И дрожит порой рассветной
Одиноким тусклым светом
В темном зеркале озер —
Поздней осени узор.
Словно юноша влюбленный,
Бродит ветер утомленный
И заводит по жнивью
Песню смутную свою,
И последние цветы —
Символ летней красоты —
Вдаль уносит он с полей
Вместе с криком журавлей.
Ходит осень по полям,
Шум роняет по лесам,
Плачет, просится в дома…
Скоро к нам придет зима.

Анатолий СЫС

Поэт

Никто не вправе рядом жить с Поэтом,
Любить его, страдать и ревновать,
Прощать и запрещать… Что все запреты?
Поэту на запреты наплевать!

Никто не вправе управлять Поэтом
И превращать в придворного шута.
Никто не вправе, потому что в этом
Духовная народа нищета.

Никто не вправе убивать Поэта,
Он даже сам не волен над собой.
Возможно, он один на всю планету,
А вы за ним, как будто за горой.

И сам Поэт не вправе быть поэтом
Невинных и возвышенных идей,
Когда в Отчизне загнивают реки
И черный мор гуляет меж людей.

Жизнь

А мне не нужен путь, где сплошь подковы.
И в светлый день я славы пригублю,
И в черный день себе промолвлю снова:
«Пусть жизнь — бивак. Но я его люблю».
Менял коней я, сломленных дорогой,
Любовь прекрасных дам боготворил,
Я верил им, я верил им, как Богу,
И словно черту, я не верил им.
И был в друзьях, как бригантина в чайках,
Когда ж они сидели на мели —
Солдатскую делил меж ними пайку,
Закон такой — все с другом подели.
И мне не нужен путь, где сплошь подковы.

И в светлый день я славы пригублю,
И в черный день себе промолвлю снова:
«Пусть жизнь — бивак. Но я его люблю».

* * *

Этот мир — для размена монет:
не открыв потаенного слова,
каждый день умирает поэт,
каждый день появляется новый.

Вот и я эстафету приму —
золотое перо от Жар-птицы,
только
что же пропеть мне ему?
И как долго та песня продлится?

Тщетно все. Вот и с яблони цвет
лепестками слетает под ноги…
И, сверкнув, угасает мой след
на земной и небесной дороге.

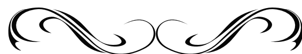
* * *

Уйду туда, откуда и пришел.
Туда, где бездны глубина.
Я ничего тут не нашел,
Хоть чашу и испил до дна.

Уж лучше б с другом разделил,
Иль с недругом, мне все равно!
Жить дальше — не хватает сил,
Коль все давно предрешено.

Но только в чем моя вина?
Какая тяжесть давит плечи?
Жизнь сплошь обманами полна.
И только смерть от них излечит.

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.



КРИСТИН ДИМИТРОВА

*Сабазий**

Роман

Орфей

Когда мы с Эвридикой вернулись домой, часы показывали почти четыре часа утра. Вот-вот должны были пустить первые троллейбусы. В это время их водители, вероятно, доставали из гардероба одежду, пили утренний кофе. У меня же до начала рабочего дня оставалось целых четыре часа сна. Я расплатился с таксистом. Эвридика сидела с отсутствующим видом и за всю дорогу не проронила ни слова.

— Похоже, вы с Сабазием отлично провели время.

Ему пришла идея заглянуть после «Винила» в другое заведение с «настоящей музыкой» и там продолжить вечер.

— Я не виновата, что ты не танцуешь.

— Тем не менее раньше это не было проблемой.

— Для тебя не было.

Мы вошли в лифт. Кто-то зажигалкой прожег пластмассовые кнопки, и теперь приходилось нажимать двумя пальцами на их расплавленные края. Эвридика открыла дверь квартиры под вой и рычание соседского пса, разбуженного громыханием лифта.

— Судя по тому, как ты с открытым ртом внимала каждому его слову, он очень интересная личность.

— И как тебе не стыдно так отзываться о родном дяде, чье детство прошло в детских домах и приютах! В то время как у тебя было все! Все ваше семейство решило на него наплевать.

— О дяде, в чьем клубе мы выступаем за жалкие гроши и который после этого делает вид, что ничего не знает.

— Может, он и не знал. Ведь он тебе говорил, сколько заведений в стране, не считая отелей, ему принадлежит. Ты же не считаешь, что Сабазий изучает все их программы?

Эвридика сидела перед зеркалом и снимала макияж с помощью ватных дисков, пропитанных чем-то вроде кислого молока. В этот момент накрашенным у нее оставалось пол-лица. Ту половину, что была без макияжа, я знал хорошо, а другую видел словно впервые.

— Посмотри на себя в зеркало, теперь и ты стала на него похожа.

— Ладно-ладно, издевайся!

— Почему? Я совершенно серьезно.

«И тогда меня сняли с корабля… — с напыщенным видом принялся я почти дословно цитировать Сабазия. Когда я зол, моя память становится на удивление

---

* Продолжение. Начало в № 9, 2012 г.

цепкой. К сожалению, в нормальном состоянии я этого качества лишен. — …И лишь один матрос узнал во мне бога, все остальные хотели продать в рабство… Но мне удалось снять с себя кандалы…» — «И что? Что произошло потом?» — «Я превратил корабельные мачты в змей, паруса — в дикую лозу, а матросов — в дельфинов. Пощадил только того, кто за меня заступился». — «Ах! Какой ты смелый! Ты, наверное, столько путешествовал!» — «Даже больше, чем того хотелось бы…»

Когда я закончил свое импровизированное выступление, Эвридика смотрела на меня потрясенно.

— Мы так безобразно выглядели в твоих глазах?

— Вы? Нет, это он был похож на мелкого лжеца, а ты смотрелась очень даже мило: как заглотившая наживку рыбка.

Теперь, благодаря косметическому средству, лицо Эвридики обрело привычный вид, но я его все равно не узнавал. В ее темно-синих глазах блестел неведомый мне доселе огонь.

— То есть, ты хочешь сказать, что он никогда не путешествовал, так?

— Я хочу сказать, что он занимался торговлей оружием, поэтому и плавал на кораблях. Ах, да! Еще добавлял в партию немного амфитамина. Так, для настроения… Я даже слышал, что он попал под обстрел после какой-то неудачной поставки. Но все это, конечно же, пустые домыслы!

— К твоему огромному сожалению…

— Только не приписывай мне чужие мнения! Как зарабатывают такие деньги? Превращением матросов в дельфинов? А красивые сказки придумывают как раз для таких, как ты, которые слушают, разинув рот.

— Именно, Орфей, именно! — Эвридика уже перешла на крик. — Все дело в том, что ты не умеешь развлекаться, не способен видеть в людях их хорошие стороны. Тебя послушать — так все в мире один сплошной заговор, бороться с которым можно только честно и по правилам. Меня тошнит от твоих правил! Вот уже где мне твои правила!

— Не я их придумал!

— Нет, ты! Никто больше о них не говорит. Люди, подобно Сабазию, действуют. Ты же только и знаешь, что болтать.

— Сабазий не такой, как другие.

— Да, и тебя это бесит, не так ли?

— Эвридика, я делаю все возможное, чтобы обеспечить тебе хорошую жизнь, — произнес я и тут же растерялся, потому как не подозревал, что способен на такое жалкое оправдание.

— Но так уж вышло, что живу я в аду! — выпалила Эвридика и захлопнула у меня перед носом дверь спальни.

Я достал из шкафа одеяло и постелил себе на диване. На сон мне оставалось три часа. После этого кто-то другой, уже не я, должен будет собраться и выйти из дома, чтобы добывать сенсации, зарабатывать деньги, стоять за кафедрой, искать новых гостей для телевидения, выслушивать гнев начальства. Могу с уверенностью сказать, что ничего из этого не было ни моей мечтой, ни мной самим. Но тогда где же я был в действительности?

Я прилег на диван и по привычке проверил, стоит ли рядом со мной лекарство, которое Эвридика каждый вечер готовила мне на завтра. На этот раз его не было. Не было и самой Эвридики. Мое сердце могло делать все что угодно.

Наутро, как только я открыл глаза, вернулось чувство горечи после вчерашнего скандала. Может быть, вчера я вел себя по-идиотски, был груб и подозрителен. В последнее время меня все стало раздражать. На протяжении жизни мы получаем достаточно и хороших, и плохих предложений. Но зачастую понимаем, на какое именно согласились, когда оказываемся

слишком далеко от всего, о чем мечтали ранее. Я чертовски устал тратить свои силы на то, что меня никогда не интересовало, и упускать то единственное, ради чего стоило бы трудиться.

На всякий случай я приготовил два кофе и направился в спальню. Эвридика спала как убитая, а мое лекарство, несмотря ни на что, стояло на ночном столике.

Из окна аудитории под номером 325 виднелись голые ветки деревьев с замерзшими на них каплями дождя, сгибающиеся под порывами ветра. В классе было тепло, но тесно, поэтому приходилось открывать окно каждые полчаса.

— Так, по мнению Канта, человек хорош не потому, что он таков по своей природе, а потому, что поступает в соответствии с представлениями о том, что правильно, законно, а что — нет, — объяснял я, стараясь особо не жестикулировать. В стремлении завоевать внимание студентов я никак не мог избавиться от этой привычки. — Добрыми мыслями может обладать лишь тот, кто, подвергая сомнению правомерность своих действий, в качестве единственно верного критерия выбирает соображения морали. Отсюда следует, что любое другое качество характера, которое ценится человечеством, — например, храбрость или сообразительность, — может быть принесено в жертву в том случае, если противоречит моральной составляющей. Храбрость могла бы привести к насилию, сообразительность — ко лжи или жестокости по отношению к окружающим.

Сидящая в первом ряду девушка в длинном кожаном пальто, за которое защитники животных должны были бы содрать с нее кожу, не удержалась и зевнула. Я ей, по-видимому, нравился, и она всегда садилась в первом ряду, но начинала зевать уже через пятнадцать минут, поскольку абстрактные размышления действовали на нее, как снотворное. Здесь находились преимущественно те, у кого не было шансов получить впоследствии более прибыльную специальность. Этим я ни в коем случае не утверждаю, что мои студенты глупы. Просто большинство из них еще на первом курсе оказываются в чем-то наподобие виртуальной пустыни и бродят по ней вплоть до выпускных экзаменов.

— Следовательно, — продолжал я, — человек может делать что угодно при условии, что его действия не противоречат понятиям добра и зла. «Когда исчезает справедливость, — говорит Кант, — не остается ничего иного, что могло бы придать жизни ценность…» Что же он хотел этим сказать?

Мой вопрос остался без ответа. Успокоила меня лишь группа студентов из трех девушек и одного парня, которые всегда садятся рядом и прилежно конспектируют лекции. Одной из девушек сегодня не было, и я забеспокоился: не заболела ли она? Разумеется, есть и такие студенты, которые знакомятся со мной на экзамене. Являются на последнюю консультацию и задают вопросы Тезею, Прометею, Одиссею или кому-нибудь еще, чье имя придет в голову, вместо моего. Сейчас эти три примерных студента продолжали записывать каждое мое слово, а ручки мелькали над их тетрадками, как головы марафонцев. «Пускай у них в будущем все сложится хорошо... — подумал я, не решившись добавить при этом: — ...с философией».

— Легко ли в такой ситуации оставаться моральным человеком?

Половина аудитории согласно закивала, остальные, не соглашаясь, завертели головами. Но так как лекция подходила к концу и каждый уже мечтал о сигаретке или чашке ароматного кофе, правильный ответ никого не заботил.

— Я вам подскажу: «Добродетель означает мужество и храбрость, что автоматически подразумевает наличие врагов».

Произнеся последнее слово, я встретил парочку заинтригованных взглядов. Любой сюжет становится интереснее, когда на сцену выходит отрицательный персонаж. Молчание… Молчание…

— У кого-нибудь есть вопросы?

Та, что до этого времени зевала, неожиданно проснулась и подняла руку.

— Вы сказали, что, согласно Канту, чувство возвышенного вызывает в нас такой трепет и экстаз, заставляет пережить такую бурю эмоций, что необходимо в достаточной мере расширить свое сознание, чтобы в принципе все это прочувствовать.

— Примерно так…

— А есть ли шанс у человека, однажды пережившего такое чувство, снова испытать нечто подобное?

С неба падало что-то среднее между снегом и дождем, и люди ходили как оплеванные. Вода растапливала кусочки льда на деревьях, снежинки под ногами превращались в кашу, сползающую к забитым канализационным решеткам, образуя вокруг них коричневые озера, которые, вероятно, скоро должны были замерзнуть. Впавшие в депрессию из-за такой погоды люди двигались с мрачными физиономиями, подняв воротники пальто, а на разбитых участках тротуара перескакивали с одной сухой плитки на другую, словно переходя горный поток.

Я включил телефон и увидел несколько пропущенных звонков с телевидения и SMS-ку лаконичного содержания: «Быстро!» Мне надо было как можно скорее появиться на работе, но из-за непогоды все такси, которые я пытался остановить, проезжали мимо переполненные, а одно промчалось с такой скоростью, что окатило меня грязью с ног до головы. Не оставалось ничего другого, как воспользоваться городским транспортом. Я дошел до ближайшей троллейбусной остановки и стал ждать в компании женщин с авоськами, мужчин в заляпанной грязью обуви и разнополых учащихся, сгорбленных под тяжестью своих рюкзаков. Я попытался определить ту категорию граждан, к которой принадлежал сам. Постепенно сформулировал ее как «отбросы промежуточных поколений,

- которые надрывали зад, разбираясь, кто они есть на самом деле;
- не приблизились ни на миллиметр к тому, что искали;
- нахлобучивали низко на глаза свои вязаные шапки.

Наконец подошел троллейбус. Я не имел ни малейшего представления, чего от меня хотят так срочно. С гостем программы мы уже договорились, следующий выпуск был практически готов. Я на всякий случай снова отключил телефон. Мне необходима была пятнадцатиминутная передышка ото всех проблем мира.

В «Хебросе» моя непосредственная начальница пребывала в бешенстве самым неприятным и тихим образом. Одна прядь у нее торчала так, будто все время до моего прихода она рвала у себя на голове волосы. Несколько лет назад эта женщина была известным диктором на государственном телевидении. Другого, собственно, и не было. В то время людей ее профессии называли не журналистами, а дикторами. Никто не мог и вообразить, что они как-то связаны с подбором новостей, о которых рассказывают в эфире. В детстве я не пропускал ни одного новостного блока под тем предлогом, что мне это крайне интересно. Одетая всегда в приталенные костюмы, моя будущая начальница строгим взором смотрела с экрана и улыбалась в завершение каждого прочитанного текста. Потом, в постели, обнимая подушку, я засыпал, мечтая о ней. И каково же было мое удивление, когда я увидел свою любимую телеведущую в «Хебросе». Слава богу, она не дога-

дывалась, какие мысли меня посещали в детстве, глядя на нее. Признаться, прошло немало времени, прежде чем я сообразил, почему мне знакомо ее лицо. Она так растолстела, что уже не вместилась бы ни в какой экран.

— Орфей, все утро у тебя выключен телефон. Как с тобой можно связаться?

— Я предупреждал, у меня сегодня занятия.

— Но так работать нельзя! Это же телевидение. Ты должен быть на связи в любой момент, когда потребуешься.

Она была права, но поскольку мы продолжали говорить о моем телефоне, я все еще не знал, по какому поводу пожар. Наконец дошли и до этого. Оказалось, мы упустили прекрасную возможность взять интервью у какого-то драматурга перед его награждением, и теперь все нас опередят. Я почувствовал себя виноватым, что подвел команду «Горящих голов», но мне сразу же полегчало, когда я услышал имя лауреата.

— Да это же Пан! Нет ничего страшного в том, что мы его упустили. Он десять лет не писал, и этим исчерпываются все его добродетели. Я видел две его пьесы — обе на тему противостояния города и деревни. В конце каждой расстраивается свадьба молодых людей, поскольку они понимают, что не созданы друг для друга. Или они успевают пожениться и только после этого понимают, что не созданы друг для друга. И по какому поводу ему дали награду?

— За выдающийся вклад в развитие литературы.

— Но за что конкретно?

Начальница резко вобрала в себя воздух и в тот момент, когда, как я думал, должна была взорваться, медленно выдохнула:

— Ты не выполнил свою обязанность, не взял интервью у Пана, а теперь спрашиваешь меня, за что его награждают? Это что, твое любопытство, а?

— Так, стоп… Мне действительно очень жаль, что мой телефон был отключен, но я стараюсь снимать передачу интересную, о людях, которые действительно что-то делают. Брать интервью у спекшихся графоманов не входит в мои обязанности!

Я видел, что ее лицо наливается кровью. На поверхность вырывалось какое-то чувство, дать выход которому она почему-то не желала. Я здесь был все еще новичком и не знал, кого и чем можно злить. Мне казалось логичным защищать интересы своей передачи, поэтому я задумался, не обидел ли ее чем-то, что она могла принять на свой счет.

— Все, закрыли тему. Ступай к шефу, он тебя ждет. С меня хватит.

И взглядом вытолкала меня за дверь.

Начальников много, но шеф один, и когда в «Хебросе» произносили это слово без уточнения должностей и фамилий, оно могло означать лишь одно — Мидас. Имя его в коридорах отзывалось эхом так громко, так резко и стремительно, словно брошенный кинжал, что никто не смел его произносить. И если кому-то любой ценой необходимо было назвать Мидаса по имени, он только беззвучно шевелил губами, предупредительно вытаращив глаза на собеседника.

Сам Мидас, судя по всему, наслаждался производимым на подчиненных эффектом, так как взял за правило совершать неожиданные обходы студийных помещений. Во время прямого эфира появлялся за спинами операторов, ведущие вздрагивали и забывали текст. Он бродил по кабинетам, проверял лично, есть ли вода в кофемашине. Не потому, что его это волновало. Во-первых, за аппарат отвечал администратор. Во-вторых, у Мидаса в кабинете стояло три телевизора, по которым он следил за работой студии, а также за своей секретаршей, которая готовила ему кофе из такого количества воды, из какого он захочет. Но так все могли оценить его бди-

тельность и заботу. Если халиф Харун-аль-Рашид переоблачался в простые одежды, чтобы смешаться с толпой и узнать, что же о нем на самом деле говорят в народе, то Мидас добивался того же, совершенствуя свою бесшумную походку. Так что во время этих прогулок по коридорам «Хеброса» он мог не снимать свой безупречный костюм. Только запах дорогой сигары подсказывал служащим не пользоваться той или иной лестницей: Мидас должен быть где-то рядом.

Наверху, перед обитой дверью, за которой сидела его секретарша, я решил исправить по крайней мере одну из допущенных сегодня ошибок — включить телефон. На экране появилось сообщение от Эвридики: «Орфей, прости за вчерашнее. Люблю тебя». Быть может, пока я плутал по лабиринтам своей никчемной жизни, она все так же продолжала следовать за мной.

Мидас ждал меня в своем просторном кабинете на последнем, в данном случае на втором этаже. Между пальцами уже дымилась толстая сигара. Он слышал, как я вошел, но сделал вид, будто ищет какое-то важное приглашение в электронной записной книжке. Нажимал на одну и ту же клавишу и, прищурившись, всматривался в экран. На безымянном пальце левой руки красовался перстень с огромным бриллиантом, размер которого правильнее было бы измерять не каратами, а калибром. Мидас давал мне время прочувствовать значимость этого момента. Чтобы я сам себе задал вопрос, зачем меня позвали, и нашел объяснение в своих самых страшных проступках. Разумеется, мне было неприятно стоять перед ним после такого разговора с начальницей, и тем более, — терпеть его дешевые уловки.

— О, Орфей, наконец и ты заглянул ко мне в берлогу! Милости прошу, присаживайся!

Такое неожиданное радушие застало меня врасплох. Я выбрал кожаное кресло напротив, но поскольку кресло было очень мягким, а стол — слишком высоким, я чуть не потерял шефа из виду и только благодаря своему немалому росту смог сохранить с ним зрительный контакт.

— Один момент, — произнес Мидас и продолжил щелкать по клавише.

Вероятно, он любовался каким-то придуманным им самим образом, которому, как ему казалось, соответствовал сейчас его очень деловой внешний вид.

Стена за ним была увешана большими картинами разных авторов, но с известным сходством в сюжетах. Нимфы по зеленой траве разбегаются перед сатирами. Молодая девушка лежит обнаженная на фоне пасущегося стада овец, а пастух играет ей на дудочке. Лесная нимфа разговаривает с филинами, в то время как оборотень в волчьем обличье, словно верный пес, ластится к ее ногам. Беспечная поза голой нимфы, лежащей спиной к человеку-волку, подсказывала, что, несмотря на его устрашающий вид или именно благодаря ему, шансы у него все-таки были. Все это наводило на размышления, что подаренные Мидасу в то или иное время картины имели своей целью обратить его медийный взор к персоне творца. Очевидно, сюжеты отвечали вкусу их обладателя.

За окном по-прежнему падал мокрый снег, но уже начало подмораживать. Внезапные порывы ветра подхватывали снежинки, и флаги, висевшие как раз под тремя окнами кабинета, тяжело разворачивались, издавая громкие хлопки. Наконец Мидас освободился.

— Как поживает отец? Мы ведь знакомы с ним с давних пор.

— Полагаю, хорошо, спасибо.

— Славные были времена. Нищие, голодные, но мы тогда могли покорить весь мир!

Я кивнул с уверенностью, что позвали меня не для этого.

— Добро пожаловать на борт, Орфей! — сказал Мидас и склонился над столом, протягивая руку. Чтобы рукопожатие состоялось где-то в центре стола, нам обоим пришлось подняться со своих кресел.

И Мидас завел разговор о моей передаче. «Дела идут неплохо, но все же есть что подправить. Никто не идеален, не так ли? Но это не означает, что мы не должны стремиться к совершенству. В «Хебросе» все мы стремимся к самому лучшему, поэтому и зарплаты здесь лучше, чем где бы то ни было. Мы работаем только с качественными материалами. Ну вот, к примеру… Есть у меня одна женщина, которая убирается в доме, готовит иногда… Я ей сразу сказал, чтобы покупала только самые качественные продукты, и неважно, сколько они стоят. Деньги меня не интересуют, пускай покупает то, что следует. Так на чем это я остановился?.. Ах, да! Пришло время определиться, Орфей, с нами ты или нет. Мы одна команда, так и работаем. Как видишь, особо не нагружают, в твои дела никто не вмешивается, в определенный момент работа, как говорится, идет сама. Мы предоставляем наилучшие условия, но и ты должен быть всегда в нашем распоряжении, потому что такова профессия телевизионного журналиста: она требует полной отдачи. Ни один из нас не может себе позволить упустить событие только из-за того, что работает где-то еще».

— Но я ничего не упускал. У меня все под контролем. Я этого драматурга знаю очень хорошо, никакое он не событие. А на программу я пригласил другого человека, действительно интересную личность.

— Да кто ж тебе говорит о Пане, мой мальчик? Кто? Речь идет о том, останешься ты здесь работать или нет, чтобы я мог укомплектовать личный состав. Мне нужно твое слово мужчины, чтобы знать, отдавать ли «Горячие головы» кому-то другому. Ты должен решить прямо сейчас.

Вдруг я понял, что не в состоянии произнести ни слова.

Наступило молчание, во время которого мне оставалось надеяться лишь на чудо. В глубине души я верил, что мое присутствие в «Хебросе» временное, пока все не стабилизируется: например, Эвридика устроится на постоянную работу, я найду на дороге чемодан с деньгами, нам подарят квартиру или музыка «Аргонавтов» станет такой популярной, что нам не понадобится заниматься ничем иным. Больше всего я надеялся на последнее.

Это мне шептал какой-то тихий внутренний голос, такой тихий, что невозможно было разобрать ни слова и понять, откуда этот голос звучит.

В то же время я рассуждал трезво, и мой разум оперировал неопровержимыми аргументами. Перед глазами проносились красноречивые картины: мои рассеянные студенты, бесславное возвращение в родительский дом, Эвридика, которая уходит навсегда, так как я не сумел обеспечить ей стабильное будущее.

Мидас смотрел мне в глаза и ждал. Тянуть дальше с ответом я не мог.

— Хорошо. Я уйду из университета.

Шеф кивнул в ответ и поднял трубку телефона. «Да, да, подготовьте для него договор».

— Орфей, мне нужна будет твоя трудовая книжка, — на его пальце сверкнул перстень, отразив то небольшое количество света, которое было за окном.

— Когда?

— Сейчас. Сегодня же улаживай все свои вопросы.

С этого момента в моей жизни изменилось все.

На следующий день на работе были подписаны все необходимые документы. Я копался в Интернете, чтобы подготовиться к завтрашнему выпуску программы, когда мне позвонил Мидас.

— Орфей, сегодня вечером возьмешь интервью у Пана по случаю вручения ему премии. Через три часа встретишь его внизу.

— Но мы, кажется, на эту тему разговаривали…

— Я с ним уже обо всем договорился.

А я как раз собирался уходить. За окном кружились белые пушистые снежинки, глядя на которые, невозможно было поверить во вчерашнюю слякоть и лужи. Когда люди говорят о зиме, они представляют именно такие хлопья снега, но правда в том, что подобных дней у нас два-три в году. Пегас с Белерофонтом давно меня ждали на репетицию, а у меня никак не получалось вырваться.

Будь я поумнее, этот случай заставил бы меня задуматься о многом.

Должен сказать, что в первые месяцы людей работы на телевидении никто в мои дела не вмешивался. Я приглашал интересных собеседников, рассказывал о наиболее значимых культурных событиях, произошедших в мире и у нас в стране. Вначале зрителей, конечно, не было, и моя говорящая голова сразу же скатилась на самое дно рейтинга, а то и еще ниже. Меня это очень тревожило. Для человека, который задумал открыть людям глаза на множество интересных, достойных внимания вещей, такой результат был весьма неутешителен. Моего отца понимали с полуслова, как только он появлялся на экране. «Понятно, это же Аполлон, сейчас он расскажет нам о поэзии и духовности». А теперь им показывали новых творцов искусства, и люди задавались вопросом: «А это поэзия?», «Это разве живопись?» или «Как это вообще называть?» Для людей старшего поколения было заранее известно, кто для искусства важен, а кто — нет, и зачастую на этом все вопросы заканчивалось. Приходилось быть широко известным, чтобы в результатах твоего труда видели смысл.

И я начал объяснять. Выискивал любопытные факты, чтобы заинтересовать зрителя, мучил художников вопросами о символах в их картинах и объяснял историю жанра, заставлял профессоров, чтобы те человеческим языком объясняли свою точку зрения. В зависимости от темы программы я подбирал и место для съемок. Однажды мы брали интервью в книгохранилище Народной библиотеки, куда тайно проникли с камерой на плече, как при съемках криминального расследования. Другой раз беседовали на сцене среди готовых декораций новой постановки, закончив передачу вместе с актерами в кровати Макбета. Когда поднимались неоднозначные, вызывающие споры вопросы, я приглашал оппонентов. Я был готов на все, лишь бы завоевать доверие зрителя. «Говорящие головы» встали на ноги и начали подниматься вверх по рейтинговой таблице.

В то же время я приобрел определенную известность, достичь которой в качестве музыканта мне не удавалось. Случалось, ко мне подходили в магазине или на улице и говорили, что смотрели мою программу. Я как-то встретил несколько своих бывших студентов. Они сидели в том же кабаке, куда я зашел вместе с Пегасом и Белерофонтом. «Знаете, вы делаете очень хорошую передачу, мы даже собираемся ее смотреть всей группой. Почему бы вам не вернуться к нам в университет?» Мне стало неудобно оттого, что больше никого из «Аргонавтов» они не узнали. Пегаса все это забавляло. Чтобы привлечь внимание одной будущей философички, он положил голову на свои длинные изящные пальцы с накрашенными черным лаком ногтями. Белерофонт же опустил глаза в стол и стоически терпел, пока уляжется шум вокруг моей персоны. К сожалению, я был в определенном смысле их должником. Кого только не приглашая в свою программу, я ни разу не позвал людей, с которыми вместе выступаю, потому что журналисту не положено рассказывать о себе. А мы были единым целым. Я надеялся вернуть долг на музыкальном конкурсе, ведь кто знал меня, рано или поздно должен был узнать и о них. А пока говорящая голова Орфея была гораздо более известна, чем Орфей-музыкант.

Этот мой взлет на телевидении не остался незамеченным. Теплым весенним днем меня вызвал Мидас. Шеф стоял у окна, за которым развевались на ветру наши флаги.

— Орфей, наша компания является медийным партнером одной из продюсерских фирм. Они начинают продажу музыкальных дисков, и от тебя как от ведущего культурной программы требуется представить каждого исполнителя. Коллектив называется «Транс».

На этот раз не было «как поживает твой отец» и «нам нужен только качественный продукт». Он даже не закурил сигару, чтобы окадить свою обитель священным дымом. С тех пор как я подписал договор с Мидасом, он начал вести себя как мой единоличный собственник. Об этом «Трансе» я слышал впервые.

— Что это за музыка?

— Современная. Наша. Ты же хочешь, чтобы все новое пробивало себе дорогу.

— Но кто эту музыку выбирал?

Мидас вскинул руку, пресекая тем самым все мои дальнейшие расспросы.

— Подборка уже сделана. От тебя требуется только познакомить публику с исполнителями. К слову, почти все из них — женского пола.

Я просмотрел диски. Для выхода на рынок было все готово: коробки для дисков, фотографии юных исполнительниц в бюстгальтерах. Ни одна из них не была мне знакома.

— Эээ… Я не уверен, что мне понравится. Все же я должен это послушать.

Мидас церемонно вручил мне комплект. Его перстень царапнул по пластиковой упаковке.

— Слушай сколько угодно. «Хеброс» займется их раскруткой, и половина твоего эфирного времени выделена на это.

— Не может быть! — возмутился я.

— Это все, что я хотел сказать, — ответил Мидас и посмотрел на дверь.

Вернувшись вечером домой, я принялся за врученные мне диски. Песни были энергичные и в большинстве своем списанные с творчества соседних балканских народов. Кое-где голоса певиц подправляли с помощью студийной аппаратуры. Я не мог поверить, что кто-то заставлял меня заниматься этим. Хотелось поделиться своими чувствами с Эвридикой, но ее не было. Дома меня ждали только ее растения, цветущие так, словно они росли в тропиках.

Я обошел комнаты. Кровать в спальне была аккуратно заправлена. Моя скрипка лежала на шкафу в чехле, чтобы не мешала в прихожей. В кухне посуда была помыта и расставлена по шкафчикам. Только мой рабочий стол с пыльным компьютером оставался завален распечатками из Интернета и раскрытыми энциклопедиями. Я впервые задался вопросом, сколько, собственно, человек живет в этом доме. Открыв окно, я взглянул на нескончаемый поток машин. Ветер поднимал пыль даже до нашего пятнадцатого этажа.

Мобильный Эвридики женским голосом предлагал оставить для нее сообщение. Я решил подождать спокойно до десяти часов и потом только начинать волноваться. Не выдержал я уже в восемь. Она вернулась в одиннадцать.

Я ожидал, что она будет выглядеть встревоженной. Или виноватой. Или готовой произнести какую-нибудь ложь. Ничего подобного! Она просто светилась неземным счастьем.

— Привет! Я принесла нам ужин, надо только подогреть.

Достала две пластиковые коробочки. Внутри лежали китайские палочки, рис, отбивная и отдельно — салат с помидорами. Аппетитно запахло жареным мясом.

— Эвридика, где ты была все это время?

— В Салониках.

— Где?!

— На съемочной площадке. Утром мне позвонил Сабазий. Он продюсер одного боевика, то есть, не он конкретно, а его фирма. Спросил, не интересует ли меня это. Конечно интересует! Так что вместе с несколькими актерами мы слетали в Грецию и вернулись назад на его личном самолете. Все были американцы, одна девушка из Польши.

Рассказывая, Эвридика разулась, достала бутылку вина и начала ей размахивать. Я стоял и смотрел на нее. Смотрел и слушал.

— Снимали какую-то гонку на скутерах. Полнейший бред. Сабазий забронировал для меня номер в отеле «Электра Палас», чтобы после обеда я могла отдохнуть. Сейчас там очень жарко. С террасы ресторана открывается потрясающий вид на море и панорама всего города. Знаешь, море в Салониках совсем другого цвета, не такое, как у нас. Словно светится изнутри. Сабазий представил меня режиссеру, и я ему очень понравилась. По крайней мере, так мне показалось. Сабазий лично довез меня из аэропорта до дома. Он не захотел подняться, но просил передать тебе привет.

— Большое ему спасибо!

— И вино. Это какое-то очень дорогое вино, что-то вроде… — взглянула беспомощно на этикетку на греческом, — божественного эликсира.

— Не сомневаюсь.

Я постелил себе на диване в гостиной, лег и отвернулся к стене. Спать мне не хотелось, но и смысла лежать с открытыми глазами я не видел.

— Орфей, Орфей, — потрясла меня за плечо Эвридика. — Что случилось?

Я даже не обернулся. Я не мог на нее смотреть.

Она сидела в кресле, обтянутом искусственной шкурой леопарда, и поочередно закидывала то правую ногу на левую, то левую на правую. На ней был обтягивающий черный комбинезон, который, как генеральские лампасы, украшали золотистые цепочки. По крайней мере половина ее густых русых волос была своей. Я мог бы поспорить, что в тот момент, когда мы с оператором повернемся к ней спиной, она готова забросить свои туфли подальше, потому что на таких каблуках, как шпиль виолончели, не способен выходить никто. Как всегда, я пропустил самое важное: декольте ее комбинезона начиналось где-то в районе пупка, а сзади на шее образовывало стоячий воротник, наподобие того, что был у Маленького принца. Посередине выпирали два гладких возвышения, которые посылали мозгу импульсы определенного характера и начисто лишали способности рассуждать здраво в течение долгого времени. Я на всякий случай обернулся, чтобы проконтролировать, что именно снимает наш оператор, и не напрасно. «Не забудь про ее лицо», — напомнил я ему.

Но и мне не удавалось сосредоточиться, что, однако, едва ли было заметно на фоне ответов гостьи.

— Для меня самое важное, чтобы мои поклонники получали удовольствие от соприкосновения с музыкой. Потому что музыка наполняет наши души любовью. Нам предстоят тяжелые гастроли, но все мы — исполнители коллектива «Транс» — порадуем своих поклонников новыми песнями.

Чтобы поприветствовать зрителей, она слегка пошевелила пальцами на камеру, медленно взмахнув при этом густыми тяжелыми ресницами. Вопреки своему желанию я испытал эрекцию и накинул на колени куртку, чтобы это не так бросалось в глаза. Но ее взгляд уловил и верно истолковал

мое движение. Меня предали все, и в первую очередь — собственное тело. Когда же это закончится?

— А в свободное время я люблю принимать расслабляющую ванну с ароматическими солями… смотрю телевизор… слушаю музыку…

— Каких композиторов вы предпочитаете?

— Ну… хороших.

— А точнее?

— В каком смысле?

— Кто ваш любимый композитор?

Она свела брови в недоумении, напомнив ребенка, который обнаружил непонятное пятно на месте, где ожидал увидеть рождественскую елку с подарками.

— Знаете ли… между композиторами существует большая разница. Одни мне нравятся за одно, другие — за другое…

И растянула свои пухлые губки в улыбке. По ее мнению, она была на высоте. Я сказал оператору, что мы закончили.

— Подождите! Давайте я вас угощу чашечкой кофе, — вскочила на ноги певица. — Или, может быть, виски?

Мне стало стыдно. Я воспринимал ее как клише, от которого надо избавляться. А она считала себя прежде всего человеком и хотела нам понравиться.

Мидас вызвал меня сразу после выхода программы в эфир. Наши с ним отношения к тому времени напоминали отношения близких родственников. Пока я проходил мимо секретарского стола к его кабинету, девушка провожала меня испуганным взглядом.

Внутри я застал что-то наподобие мини-собрания. Моя начальница была плотно зажата в кресле для посетителей между двумя подлокотниками, а Мидас сидел за рабочим столом.

— Нам надо поговорить с тобой, Орфей, о чем-то очень важном.

Слова «очень» и «важном» были произнесены отдельно и подчеркнуто твердо. В голосе таилась ненависть воспитателя к своим питомцам. Я так и остановился посередине комнаты. В тот момент я осознал, что нахожусь в полной его власти. Прежде меня удивляло, почему мои коллеги менялись в лице, когда видели шефа. Тогда я был независимым человеком. Теперь же он решал мою судьбу, и высоты второго этажа было достаточно, чтобы моя никчемная жизнь разбилась вдребезги.

— Что ты думаешь о последнем выпуске твоей программы?

— В котором вы меня заставили брать интервью у этой?

Начальница резко обернулась ко мне. На этот раз все ее осветленные пряди были тщательно уложены, но цветом лица она скорее походила на умирающего.

— И ты называешь это интервью, Орфей? Ты сделал все возможное, чтобы выставить ее полной дурой.

— Я только задавал вопросы.

Мидас повелительно взмахнул рукой, говоря тем самым: «Помолчи, теперь я во всем разберусь». Удивительно, как много сказал Мидас этим жестом. Он был красноречив, как регулировщик, который в силу своей профессии пользуется системой жестов.

— Что значат эти вопросы о заложенном в ее песнях смысле? — продолжил он. — Или об экспериментах в современной музыке? Ты определенно рискуешь своей трудовой. Ну что ж, давай, раз так решил! Только знай, что это насмешка над профессией журналиста.

Все фавны, оборотни и голые пастушки выглядывали с картин над головой Мидаса и ждали, что же я предприму в ответ.

— В таком случае этот «Транс» — издевательство над музыкой.

Я произнес это очень тихо, но по реакции Мидаса понял, что от меня вообще не ждали какого-либо ответа. Так что мою реплику с полным правом можно было считать героической.

— Свободен. Завтра тебя уведомят о судьбе программы.

Я вышел. Эвридика ждала меня дома с приготовленным ужином, но мы до сих пор друг с другом не разговаривали. Я накрыл на стол, мы поужинали. Я думал о том, что совсем скоро стены, крыша над головой, этот стол, плита, кухонные приборы, кровать и все остальные вещи исчезнут, как мираж. Я не имел понятия, о чем в этот момент думает Эвридика. Не разобрал и не запомнил, что, собственно, мы ели.

***

...Эвридика чувствовала, что Орфей зовет ее, пытается вернуть назад...

Эвридика

Ночью я услышала, как он играет в прихожей. Я не заметила, когда Орфей вошел в спальню и взял скрипку, но сразу почувствовала музыку, которая сквозь сон звала меня за собой. Орфей прокладывал пути, рыл тоннели к тому месту, где находилась я. Они извивались, становились все уже, ползли ко мне, сворачивали в сторону и снова угадывали верное направление, но неизменно продвигались вперед, как кровь течет по сосудам, не давая организму погибнуть. Орфей искал то тепло, которое исходит даже от самого холодного тела. Вдруг передо мной открылась одна галерея, приглашая пройти по ней. Пути освещали горящие во мраке факелы на стенах. Где-то в противоположном конце коридора меня ждали, и это затаенное ожидание я ощущала кожей. Я знала, что Орфей не может долго держать проход открытым. Времени на раздумья не оставалось. Но не все так просто, когда люди начинают жить в разных мирах.

Он считал меня мертвой. Сколько раз мы такими и являлись друг для друга!

Продолжение: Орфей

На следующий день я сидел в монтажной и ждал. Работы не было, но уйти я тоже не мог. Мне сказали, что здесь решится судьба «Горящих голов». Утром я на всякий случай навел справки, нельзя ли вернуться на прошлое место работы. Как выяснилось, там я окончательно утратил свои права преподавателя, восстановить которые могу только после объявления неизвестно когда нового набора. Если пройду по конкурсу, разумеется. Поход в университет оказался безрезультатным, но с одним исключением — в коридорах я встретил бывшего коллегу, который сказал мне, двусмысленно улыбаясь: «Орфей, ты таких вакханочек в программу приглашаешь! Четыре тысячи лет цивилизации, чтобы снова вернуться к древнейшей профессии. А знаешь, в этом есть своя прелесть!»

За монитором я обнаружил остатки бурбона Каллирои. Мой мобильный был включен. Мидас мог бы сообщить свое решение, пока я ждал в кафе, дома или на берегу Средиземного моря, даже во время лекций, которые я мог бы все еще вести, но мне надо было торчать именно здесь, в монтажной.

Мидас преподал мне ценный урок, за который я ему в какой-то мере признателен — благодаря ему я узнал, что значит безграничная власть.

Многие думают, что она подразумевает выполнение чьих-либо приказов. Но это только одно из условий работы в команде. Власть, настоящая власть, одним позволяет отдавать идиотские приказы и обязует других их безропотно выполнять. И тогда действительно становится понятно, кто есть кто. Хорошо еще, что Мидасу не взбрело в голову заставить меня ждать в бочке с ледяной водой. Я и без того дрожал от страха.

Наконец позвонила начальница и попросила зайти к ней в кабинет. Хотя тело ее изменилось до неузнаваемости, голос по-прежнему был таким же молодым и словно принадлежал другому человеку. На столе перед ней лежала стопка дисков из коллекции «Транс», пронумерованных в порядке выхода посвященных им программ. Такой же комплект был и у меня.

— Орфей, у тебя, по-видимому, нет никакого желания представлять новый музыкальный продукт подобающим образом, подчеркнув его хорошие стороны. Продажи уже начались, реклама по другим каналам в полном разгаре, от тебя требуется просто взять по одному интервью у участниц коллектива, а ты корчишь из себя невесть что.

Не знаю, кем они меня считали, но мое терпение лопнуло.

— Этот проект, граничащий с порнографией, — оскорбление не столько моих личных чувств, а всех людей искусства, которые привыкли доверять нашей программе.

— Ерунда! Полная ерунда, — вскипела она. — Любой знает, что люди искусства либо мудрецы, либо идиоты. Мудрецы те, на кого укажет власть. С остальными нечего и заниматься, пускай болтают все что угодно. Мы боремся за национальный эфир! Стремимся к воздействию на широкие массы, к авторитету. А ты со своей кучкой людей искусства собрался меня развлекать? И, к сожалению, ты, именно ты, должен понимать эти вещи лучше кого бы то ни было.

Передо мной было три возможности: уйти из «Хеброса» и умереть с голоду; уйти из «Хеброса» и приползти назад к отцу; отправиться к Сабазию, этому новоявленному греческому продюсеру, и попросить его найти мне новую работу. Но я не сдвинулся с места.

Начальница поняла, что я не собираюсь спорить, и успокоилась.

— Мы ожидали от тебя подобной реакции и предлагаем следующее. Программа будет состоять из двух блоков. Первый блок ведешь ты и приглашаешь тех людей, кого считаешь нужным. Ведущим второй части программы мы назначим другого человека, который и будет освещать наш новый музыкальный проект. Что-то повеселее. Разумеется, твоя нынешняя зарплата теперь будет делиться между вами двумя. К сожалению, это все, что мы можем сделать.

Я только не понял, о чем именно они жалеют: что им приходится отнимать у меня половину эфира или что они не могут насадить мою голову на кол на фоне триколора «Хеброса».

— Не подашь мне сигарету? — только и смог произнести я. Это была та самая сигарета, которую я обычно выкуривал, чтобы отпраздновать какое-нибудь знаменательное событие. Умирать — так с песней.

В ответ начальница мило улыбнулась, как несколько лет назад с экрана телевизора, когда читала новости, в которые сама не верила. Я никогда не мог понять, на чьей она стороне. Это был ангел-экзекутор во плоти, претворявший в жизнь решения могущественной верхушки «Хеброса». Но принимала ли она участие в их обсуждении, защищала ли меня перед Мидасом или наоборот топила — непонятно. Ее сын и дочь учились за границей, а это требовало регулярных финансовых поступлений.

Я взял со стола один из дисков. К нему прилагался календарик: певица, подобно укротительнице, стояла, широко расставив ноги, и держала в руках гриф гитары. Волосы развевались над ее головой, как от урагана.

— Ну что ж, очень даже секси.

— Да?.. — полусогласилась начальница.

Я повертел диск в руках и впервые заметил, что в уголке мелким шрифтом написано: «Trance & Vision». До сих пор я думал, что это полное название коллекции. И тут я вспомнил, почему оно мне кажется знакомым. Это было уже слишком!

— Сабазий, мне надо с тобой поговорить.

На другом конце телефонной трубки слышался гул, как на базарной площади.

— Сейчас?

— Как можно скорее.

— Сейчас я на совещании, — сказал он и продолжил шепотом: — Собрал двадцать болванов, чтобы придумали мне маркетинговую стратегию, а они только и знают, как деньги выпрашивать. Прошу вас, выслушайте, наконец, друг друга, и чтобы к часу у нас уже было готовое решение.

Последнее было произнесено ледяным тоном и адресовалось не мне.

— Через час я подберу тебя у «Хеброса», тогда и поговорим.

За эту неделю я звонил Сабазию второй раз. Первый — чтобы поинтересоваться, с какой стати он повез мою жену в Салоники, в ответ на что услышал: «А разве ей не понравилось?» Я покрывался холодным потом от одной мысли об этом человеке.

Убив время за чтением журналов, за пятнадцать минут до встречи я ждал у входа. На улице было ни холодно, ни жарко, ни солнечно, ни облачно — погода никоим образом не могла подействовать на мое настроение. Но я был в бешенстве. Что делать, если Сабазий не приедет? А если всетаки приедет? За пять минут до назначенного времени Сабазий остановил передо мной свой огненно-рыжий «Ягуар».

— Запрыгивай!

Я привык ко всяческим неудобствам, которые доставлял мне мой рост, и ожидал, что в машине придется прикрывать уши коленями. Но ничего подобного. Сабазий только опустил немного спинку моего сиденья, чтобы я не бился головой о потолок. Кресла в машине были обтянуты мягкой кожей, нежной, как крем-карамель. «Ягуар» неслышно тронулся с места. Я представлял наш с Сабазием разговор более статичным.

— Куда мы едем?

— Так, покатаемся немного. Куда скажешь.

— Я хотел с тобой кое о чем поговорить.

— Говори, я слушаю.

В этот момент мы обошли джип, который в свою очередь обгонял другую машину. Сабазий проскочил между едущими навстречу автомобилями и в последний момент успел перестроиться на свою полосу, затормозив ровно перед светофором. Цель сего маневра заключалась в том, чтобы джип оказался за нами. Еще на желтом сигнале светофора Сабазий вжал в пол педаль газа и оставил колонну машин далеко позади. Мы никуда не опаздывали, просто Сабазий обгонял всех, методично, неминуемо, с настойчивостью педагога, который будто объяснял, кто на дороге главный. Он так развлекался. Приближался на расстояние считаных сантиметров к едущему впереди автомобилю, практически дышал ему в затылок и при первой возможности неожиданно выскакивал на встречную.

— Сабазий, у тебя нос в чем-то белом.

— А? Угостить?

Я не мог сосредоточиться, постоянно следил, между каким грузовиком мы вклинимся на этот раз, словно толстое письмо, которое случайно пролезло в почтовый ящик. Сабазий вытер нос рукавом и опустил стекло.

Порыв ветра растрепал его рыжую шевелюру. В двух местах чуть выше лба волосы у него росли как-то странно. Может, легенда о рогах не была таким уж вымыслом.

— Давай, Ленка, Ленка, Ленка, крошка моя, Ленка, — напел тихо Сабазий, постукивая пальцами по баранке. Он обернулся с ухмылкой на губах, чтобы насладиться произведенным на меня эффектом. Вдоволь насмотревшись на мою физиономию, включил радио.

Но я его тут же выключил.

— Сабазий, ты причастен к выпуску так называемой «Коллекции “Транс”»?

— Я? Я лично ничего не выпускаю. Более того, не перестаю удивляться, чем же я занимаюсь целыми днями.

— Диски — продукт «Trance & Vision». Такая же вывеска висит на здании, в котором располагаются твои офисы.

— Ну и?

— Из-за этой «коллекции» безумных, бессмысленных и ворованных песен я чуть не вылетел с работы.

— Подожди, как это понимать?

— А вот так! У меня уже отобрали половину эфирного времени, чтобы крутить этих певичек. Причем это показывают не как рекламу, а как самый новый музыкальный продукт на нашей эстраде.

— А чем они, в таком случае, являются на самом деле?

— Пошлостью в чистом виде! Между искусством и безвкусицей все же есть кое-какая разница.

— Это понятно, но в чем именно она заключается? — настаивал Сабазий. Если бы в его тоне сквозила ирония, я бы наверняка разозлился. Но он на самом деле не понимал разницы.

Мы пересекли черту города, и на нашем пути встречалось все меньше машин.

— Ну хорошо. Смотри. Одни производят что-либо лишь для того, чтобы заработать. А другие вкладывают в свои действия определенный смысл, стараются донести до людей свою правду… Для них слова «труд», «знание», «риск» — не пустой звук…

— …и не приносят ни копейки дохода, — со счастливым видом закончил мою мысль Сабазий.

Смеркалось. По кривым улочкам горной деревушки, изменившейся за последние годы до неузнаваемости, мы приближались к коттеджной застройке. Недавно построенные дома были огорожены высокими бетонными стенами с железными воротами. Никаких табличек с именами хозяев, только звонок и камера. О зданиях можно было судить по балконам верхнего этажа и скошенным углам крыш. Одни были выполнены в баварском стиле, другие — в венецианском, третьи — в национальном болгарском. Люди, которые зарабатывают миллион за одну ночь, строят дома так, словно выбирают себе конфету из коробки: «Мне нравится эта, потому что она треугольной формы и отличается от всех остальных круглых». Ни один из них не мог с точностью сказать, живет ли в его доме кто-то или охранник просто регулярно кормит собак. Насколько мне было известно, здесь до сих пор не провели канализацию.

— А может, приносить деньги способны и серьезные вещи, если не ставить их в унизительное положение, заставляя рекламировать всякие глупости.

Сабазий прямо-таки расцвел. Мне давно следовало остановиться: что бы я ни сказал, его это веселило все больше и больше.

— Заметь, Орфей, это сказал не я! Хоть и полностью с тобой согласен. Все завязано на рекламе, а это значит — на мне. Так что не имеет никакого

значения, в чем разница между искусством и безвкусицей. И то, и другое — моих рук дело.

Сабазий притянул меня к себе, и я с ужасом понял, что избежать его отеческого поцелуя мне не удастся.

— Сабазий!

— Ладно, ладно. Я уже понял, что «Транс» тебе не нравится. Очень жаль, потому что я это дело бросать не собираюсь. Я хотел, чтобы вы записали вместе альбом.

— Забудь об этом!

Привычным движением руля Сабазий вклинился между плотно припаркованными автомобилями, дожидавшимися своих хозяев перед неоновой вывеской какого-то развлекательного комплекса, в стенах которого находились ресторан, бар, отель и бог знает что еще. Рядом преобладали в основном черные БМВ и мерседесы, кое-где их компанию разбавлял какой-нибудь ситроен. Я ступил на тонкий слой снега. Его кристаллы припудрили крыши домов, лапки сосен, стоящие рядом авто.

— И как я теперь доберусь отсюда домой?

Сабазий перебил меня: «Даже и не думай. Сначала мы с тобой пропустим по стаканчику. Зачем ты меня так обижаешь?» После того как я на протяжении всей дороги пытался задеть его музыкальный вкус, теперь оказалось, что я его обижу, отказавшись от совместного ужина. Мы зашли в отель. Видимо, у меня еще оставалась какая-то надежда.

Наверху в ресторане все было новым, чистым и преимущественно пустым, словно всем было прекрасно известно, что вечеринка сегодня состоится не здесь. За стенами, выполненными из стекла и прикрытыми бледно-зеленым тюлем, внизу виднелся город. Освещенный первыми огнями, издалека он казался столь же мелким и незначительным, как и любые проблемы после принятия ванны с ароматическими солями. Рубиновое вино. Очищенные королевские креветки на зеленых листьях салата. Мягкая брынза с аккуратными дырками. Незаметные официанты. Неслышные и деловые посетители ресторана, расположившиеся в противоположных углах зала. С каждой последующей минутой я забывал свои недавние желания и стремления. На меня навалилась ужасная усталость.

— Пока нам приготовят ужин, можем заказать что-нибудь перекусить, — произнес Сабазий и стал диктовать официанту. — А ты что будешь?

Я собрался с силами и попытался возразить:

— Сабазий, не знаю, о чем вы там с Мидасом договаривались, но прошу тебя: избавь мою программу от этого «Транса».

— Прости, не могу. Я вложил в них деньги и должен вернуть их с процентами. Я сделаю группу популярной, ты привнесешь в нее капельку культурной ценности, и все пройдет идеально. Такими звездами станут, что люди тебя не забудут.

В зале звучала тихая музыка — классическая, успокаивающая, без нарушающих пищеварение акцентов, — из которой, постаравшись, с трибуны «Хеброса» мне бы удалось сделать хит.

— Сабазий, не в моих силах придавать ценность бездарным вещам. Я могу лишь показать их истинную суть. Или солгать. Но не могу их переделать.

Тут принесли одно из блюд, заказанных Сабазием, и он, хищно склонившись над тарелкой, принялся жадно рвать зубами кусок мяса, словно кто-то собирался его отобрать.

— Ну и замечательно! Обманывай! Зритель только этого и ждет, у него это в крови. Женщины должны краситься, мужчины — брить бороды, топливо должно быть экологически чистым, убийца — сидеть в тюрьме,

герой — жить вечно, а идиот — чувствовать себя особенным. Этого хотят люди. А разве в этом есть правда? Людям нужно счастье, и я им его дарю. Мы оба. Не думаешь ли ты, что мне легко? Я никогда не чувствовал себя счастливым, потому что не было никого, кто бы со мной этим счастьем мог поделиться. С твоей правдой я прожил в приютах и приемных семьях все детство и могу тебе сказать, что никому ее не пожелаю.

Этой морализаторской лекцией из уст человека, который собирался отнять у меня все, что составляло мою жизнь до сих пор, я был сыт по горло.

— Ты лжешь, и тебе это прекрасно известно. Ты не настолько глуп. Единственное твое желание — видеть перед собой тупое бессловесное стадо, которое ничего не стоит себе подчинить.

Сабазий внимательно посмотрел на меня.

— Лучше это сделаю я, чем кто-то другой, — ответил он, указав при этом на меня ножом, которым только что резал отбивную. — Меня они, по крайней мере, любят. У большинства из них нет шансов, не то что у тебя. Посмотри только, как они волочатся по улицам. Что еще им остается, если не напиться и немного расслабиться? Орфей, тебе никогда не говорили, что ты ужасный зануда? Истина, искусство, бла-бла-бла…

Наконец принесли мой заказ. Огромная тарелка, политая сливочным соусом, с вырезанной из помидора розой, двумя листочками мяты и небольшой дымящейся горкой с краю, давшей название всему блюду. Неожиданно яркому, учитывая, с каким невниманием я отнесся к его выбору. Да и порция оказалась гораздо меньше, чем я ожидал.

— Пускай искусство — иллюзия, но в нем вся моя жизнь. И я тебе не позволю ее опошлить.

— Вот видишь! Ты зануда. Серьезно, тебе никто этого не говорил?

Я отвернулся к окну и засмотрелся на дрожащие огни от миллионов зданий, автомобилей, уличных фонарей, раскинувшиеся в бездонной темноте ночи. Где-то там, на пятнадцатом этаже, мой дом, в котором с недавних пор не разговаривают друг с другом.

— Я думаю, Эвридика хотела бы мне это сказать. Не знаю только, что ее останавливало.

Сабазий рассмеялся.

— Да, ты действительно ничего не знаешь.

Я встал из-за стола и собрался расплатиться, но счет, оказывается, уже был оплачен. Тогда я направился к выходу, но Сабазий перехватил меня и потащил вниз, к беспрестанно хлопающей двери, которая напомнила мне бабочку. Она взмахивала своими крыльями после каждого вошедшего клиента и на мгновение открывала постороннему взгляду залитый красным светом коридор, строгого швейцара, гардероб с кожаными пальто, облака сигаретного дыма. Оттуда вырывались пульсирующие ритмы сборника «Транс». Зачем Сабазий меня привел сюда? Он что, идиот? Или подстроил все нарочно? Чтобы получить ответ на свой вопрос, я внимательно посмотрел на его физиономию, но, к сожалению, она подтверждала оба моих предположения. В отличие от камерной атмосферы ресторана, здесь царило оживление.

Сверху послышался стук высоких каблучков — это спускались по лестнице две солистки «Транса». Они были одеты в одинаковые платья золотого и серебристого цветов, похожие на солнце и луну в шикарном издании карты звездного неба. Увидев среди гостей Сабазия, они бросились его обнимать, как если бы сам бог снизошел на эту вечеринку в отеле. Сабазий снова потянул меня за собой.

— Пойдем. Сейчас их выход.

Видимо, это заявление должно было привести меня в неописуемый восторг. Девушки прильнули к Сабазию своими гиперболизированными

формами, образуя своеобразную барочную рамку, а их волосы ниспадали с его плеч живым плащом. Сабазий был прав: они обожали его.

— О'кей, если ты не хочешь их слушать, мы выпустим вас на сцену вместе. Скажем, что ты несчастный слепой и имеешь право на тактильный доступ. Вперед!

Сабазий вытянул руки перед собой и пощупал воздух на уровне бюста своих спутниц. Юные прелестницы весело рассмеялись.

— А потом закроем заведение только для нас двоих, вызовем парочку проституток… — Сабазий генерировал новые идеи со скоростью света.

— А как же Эвридика?

— Отличная идея! — воскликнул Сабазий и достал свой мобильный. — Сейчас мы ей позвоним.

— Ты точно идиот.

Следующие несколько недель жизнь «Горящих голов» текла по-прежнему, но с меньшим размахом. Первую половину передачи я рассказывал о новых книгах, проблемах археологии, охране архитектурных памятников, спонсорстве в кино и идейных битвах, сопровождающих очередной разбор классики. Делал это поверхностно, на скорую руку и в постоянном страхе, что мне не хватит времени. Во второй половине программы в ответ на поставленные мной вопросы гремели песни и танцы. Нельзя не согласиться, что смотрелось все это очень разнообразно. Только вот мои зрители оставались разочарованными, а те, чье внимание я надеялся завоевать, собирались перед экраном телевизора сразу к началу нашего второго блока. Ведущим выбрали эдакого красавца, который не уставал петь дифирамбы юным примадоннам с неестественно пышными формами, ползал у них в ногах, танцевал под издаваемые ими звуки, расспрашивал об очередных любовниках, поливал их шампанским со сливками, облизывал остатки и с сияющим взглядом поворачивался к камере. Звали его Ганимед. Парень с простодушным лицом и пушистой копной волос.

Как бы я ни открещивался от такого приторно-сладкого завершения своей программы, люди все равно связывали меня с ней. Иногда благодарили за странную музыку, иногда с брезгливым выражением лица вставали из-за стола при моем появлении. Обе эти реакции были для меня в равной степени оскорбительны. Все же аудитория наша понемногу увеличивалась, но не всегда, как бы нам того хотелось. Однажды «Винил» оказался против обыкновения переполнен. Выяснилось, что в тот день на афишах, помимо привычной надписи «Аргонавты», напечатали наши имена и половина пришедших в клуб ожидали увидеть на сцене также девушек из «Транса».

Как бы то ни было, мы с Пегасом и Белерофонтом продолжали свои репетиции в зале библиотеки. Нам был необходим более серьезный репертуар. Выиграв конкурс, мы надеялись принять участие в нескольких важных концертах за границей. У нас появился шанс: выпустить диск, отправиться в свое первое турне, прославиться, наконец! Но не как случайно возникший на экране журналист, русский псевдомонах и бывший подающий надежды композитор, а как группа «Аргонавты», под своим собственным именем. Как минимум раз в неделю я заходил в супермаркет, где работал Пегас, и мы вместе шли на репетицию.

Последний раз я встретил там же и Белерофонта. Пегас стоял на невысокой стремянке, а Белерофонт подсказывал ему, куда поставить ту или иную баночку с томатной пастой. Рядом с ним, в тележке, лежала его гитара. Народ метался от одного прилавка к другому. То и дело мы чувствовали на себе любопытные взгляды посетителей: мамаш с ревущими детьми, скрытыми в тележках среди рулонов туалетной бумаги; семейств с расшатанными нервами, навьюченных запасами провианта; пенсионеров с паке-

тиком морской соли и упаковкой вафель в корзине и других посетителей, пришедших за чем-то своим. За несколько лет у меня выработалась привычка, если рядом со мной находится больше двадцати человек, задаваться вопросом, это ли мои зрители и неужели среди них найдется хоть один, кого бы интересовали вещи, о которых я рассказываю по телевизору.

— Орфей, ты что, заснул? — прервал мои мысли Пегас.

Я поставил скрипку рядом с бас-гитарой Белерофонта и помог ему с оставшимся товаром. Пегас закинул свою форму в подсобку за мясным отделом, и мы отправились на репетицию.

— Орфей, а почему бы тебе не познакомить нас с одной из этих секс-бомб из твоей передачи? — не сдержался Белерофонт.

Я страшно на него разозлился.

— И ты, Брут?

— И я. А что тут такого?

— Вы будете репетировать или нет?

У Белерофонта на лице появилась двусмысленная ухмылка, которую сразу же понял Пегас.

— Э, нет! Это пускай она учится играть на моей дудочке. Вот я тогда запою!

— Арию из «Волшебной флейты», — подсказал Пегас, и они оба рассмеялись. Переглянулись и снова покатились со смеху.

— На вас смотреть противно. Вы сейчас смеетесь сами над собой. Над всем, что мы делаем.

— Перестань. В последнее время ты на все обижаешься. Что общего между «тем, что мы делаем», и твоей программой? Только не говори, что ты договорился об интервью с нами!

— А обо мне программы каждый день снимают, да? И что вообще зависит от меня там, где каждый во мне видит сплошное недоразумение?

— Значит, и в этом наши судьбы схожи, — с наигранным пафосом воскликнул Белерофонт. — И ты еще с таким невниманием относишься к нашим просьбам…

Я развернулся к двери, но Пегас догнал меня и схватил за руку.

— Орфей, подожди, сейчас всем нелегко.

Одному Пегасу удавалось заставить меня задуматься о своих поступках. Лица других людей оставались непроницаемыми, что бы им ни говорили, а на лице Пегаса каждое слово оставляло свой след. Действительно, глупо было на кого-то злиться. В первую очередь я злился на себя и собственную беспомощность. А может, я просто предчувствовал, что Белерофонт вот-вот заговорит об Эвридике. Еще немного — и запишет меня самого в желающие исполнить арию волшебной флейты. Разумеется, я ничего не рассказывал ему о том, что происходит у меня дома, но у Белерофонта был дар безошибочно определять чужие слабые места. Он их вынюхивал и тотчас атаковал.

Вечером в нашем здании светились только окна двух кабинетов английского и танцевального зала. Периодически открывалась входная дверь, и из нее выходили родители с детьми, говорили им надеть шапки и снимали с плеч раздувшиеся от тетрадей и учебников рюкзаки. Потом дверь закрывалась, и потухал еще один квадратик света. Люди растворялись в многоцветном однообразии улиц. Нас ждали темные окна библиотеки. Что еще я ждал от жизни, как будто мне пообещали что-то конкретное?

С Эвридикой мы по-прежнему не разговаривали. Она — из-за недоверия, с которым я к ней отнесся, а я — из-за того, что она собиралась сделать, независимо от того, удалось ей это или нет. По крайней мере, таким было мое объяснение сложившейся ситуации. Об уменьшении своей

зарплаты я жене не сказал: подумал, что она, если видела мою передачу, все поняла и так. Когда пришло время платить за квартиру, я оставил нужную сумму вместе с деньгами на продукты в коробке от печенья, которую мы использовали в качестве семейной кассы, и в результате сам оказался с пустыми карманами. Перед Эвридикой я принял решение любой ценой поддерживать иллюзию, будто ничего в нашей жизни не изменилось, если не брать в расчет повисшее между нами тяжелое молчание. Зачем мне это было нужно, я не знаю.

Вскоре выяснилось, что руководство «Хеброса» имеет виды и на серьезную, то есть мою, часть программы. С другой ведь не было никаких проблем.

Каждый раз я должен был долго и подробно объяснять начальству, кого я приглашаю в эфир и почему, если эта личность занимает такое важное место в своей области, а руководство канала никогда о ней не слышало. С того момента, как я заупрямился рекламировать «Транс», иммунитет вокруг меня распался. То, что вначале, с крепкими рукопожатиями, предоставлялось как «карт бланш», оказалось моей «карт нуар», почерневшей от множества зачеркиваний, исправлений и замен одного имени другим. Половина моих задумок приводила к бесконечным спорам с начальством, которые неизменно заканчивались поражением. Оставшиеся идеи проходили в эфир лишь в том случае, если у руководства не было других предложений. Меня никогда не разубеждали напрямую. Обычно говорили что-нибудь вроде: «Это не будет интересно зрителю», или «Он ведь никому не известен. Так с какой стати нам его приглашать?», или «Нет, сейчас у нас иные приоритеты», или «Опять музыкант? Но вторая часть программы и без того целиком о музыке». Все эти отговорки означали одно: «Зачем ты зовешь тех, от кого нам никакой пользы?»

Руководствуясь именно этим принципом, начальство регулярно присылало ко мне своих протеже, которые разваливались напротив меня в кресле, как у себя дома. Чаще всего их речи начинались с фразы «Я как творец…» или «Сегодня, когда все забыли о духовности…» Заезженные клише — лучший материал для изготовления масок «людей искусства». На экране телевизора пустоголовые личности смешивались с редкими представителями культурной интеллигенции, и в результате получалось некая общая масса с коэффициентом, близким к нулю. Так, через мою программу прошли: модная писательница (внучка Гермеса), ставшая в последнее время популярной актриса (любовница Ареса), молодой режиссер (племянник Фемиды) и скульптор Гефест (приятель шефа). А я им прислуживал, превращая свою работу в ад. Не стоит и говорить, что произносить какую-либо критику в их адрес было запрещено. Вскоре я перестал критиковать вообще что бы то ни было.

В целом всех их можно было разделить на две группы. Одних приводили в студию, чтобы потом они могли увидеть себя по телевизору. Мидас с приятельской щедростью дарил им такую возможность: услуга за услугу. Других приглашали на программу с определенной целью. Задача ставилась прямо, еще по телефону: «Гефест, привет! Ну как дела? Хорошо? Отлично. Ты уже читал новое постановление Минкульта? Полнейший абсурд! Не мог бы ты высказаться на эту тему? Буквально пару слов. Чтобы зритель услышал мнение образованного человека». И Гефест высказывался. Он озвучивал точку зрения «Хеброса» от своего лица, а «Хеброс» в свою очередь напоминал о масштабе личности выступающего. Вначале я и не подозревал о такой взаимопомощи, пытаясь разнообразить устоявшуюся компанию новыми именами. В определенной степени мне это удавалось, но второй раз моих гостей уже никто не приглашал. Они исчезали с телевизионного экрана без следа, как капельки росы солнечным утром.

В сущности, передо мной предстал мир, существование которого в спорах с отцом я отрицал с пеной у рта. А теперь я бродил по его темным коридорам без единого шанса выбраться, не надеясь, что когда-либо удастся отразить реальное положение вещей и добавить хоть немного жизни. Я встречался с людьми, которые не существовали вне эфира, и сам постепенно становился таким же, теряя собственное Я.

Странным было то, что отец мой тем временем приобретал все большее влияние. Словно стряхнул пыль с некогда убранных на полку крыльев, взмахнул ими и поднялся над миром. На других каналах, в газетах и журналах он давал интервью, высказывался по наиболее острым, наболевшим вопросам, сочувствовал народу, открывал СПА-центры. Его высокопарный слог переживал второе рождение, и пока я бродил по Гадесу, отец прогуливался по Олимпу. Не знаю, как у него это получалось. Я его давно похоронил, а он оказался живее меня. Если только мертвецы не захватили наш мир…

Как-то после обеда, собираясь уходить, я застал в монтажной Каллирою.

— Чего т-тебе? — с трудом произнесла она, еле ворочая языком, и повернулась ко мне всем телом. Огромные мешки под глазами скрывали ее острые от природы скулы. Бутылка за монитором, видимо, не первая, была пуста.

— Каллироя, что с тобой происходит?

В ответ она сделала неопределенный жест, означающий «не знаю, объясни ты». Потом решила немного мне подсказать и включила на экране нечеткую запись. Снимали вечером, вероятно, из окна чьего-то дома. По одному из столичных бульваров, недалеко от центра, прохаживалась группка мамаш с детьми. Однако при ближайшем рассмотрении становилась заметной нехарактерная для женщин угловатость, слишком длинные ноги и дешевые, выкрашенные в белый цвет парики. Почти на всех были надеты гротескно высокие сапоги. Дети, сновавшие между «родительницами», были разного возраста. Все они замерзли и переступали с ноги на ногу. Двое трансвеститов начали танцевать друг перед другом, пощелкивая при этом пальцами. Короткие юбки не помешали им с настроением исполнить мужскую партию танца живота. Остальные принялись хлопать в такт их движениям.

— Так легко им от меня не отделаться! — не сдержалась Каллироя.

— Что ты мне хочешь показать?

— Я готовила материал о мужской проституции. Ш-ш-шш! Тише! Сейчас будет самое интересное.

В этот момент в поле зрения камеры попал черный БМВ. Водитель остановился у бордюра и опустил боковое стекло. Несмотря на плохое освещение, были хорошо видны марка и номер машины. К ней подошли несколько переодетых юношей, дети остались сзади. Очевидно, переговоры проходили не так, как того хотелось одной из сторон, поскольку открылась водительская дверь и к детям направился мужчина с козьей бородкой. Их было трое, и смотрели они на все происходящее безучастно, без вызывающего кокетства, с каким вели себя старшие.

— Это же Силен! — воскликнул я.

Он присел на корточки перед самым маленьким мальчиком, достал из кармана шоколадку. Словно взамен на угощение, ребенок подал свою ручку, и депутат повел его к машине. На миг свет фар проезжающей мимо машины выхватил из темноты острые детские коленки.

— Это был Силен!

Каллироя в подтверждение кивнула.

— Я так легко не сдамся. Если понадобится, эта запись попадет на другие телеканалы. Они, — Каллироя указала пальцем наверх, на второй этаж, где сидело руководство, — правы только в одном: я слишком стара, чтобы участвовать в их делишках.

В этот момент с грохотом распахнулась дверь и в комнату влетела секретарша Мидаса.

— Будь так добра, Каллироя, поднимись к шефу. Быстро!

На этот раз я обрадовался, что отношусь к журналистам той категории, которые не имеют никакого отношения к политике. Однако это не означало, что у меня мало было своих забот.

* * *

...Говорят, в одной из священных для Сабазия пещер голова Орфея начала произносить пророчества, но Аполлон, разгневанный тем, что его прорицательницы в Дельфах остаются без поклонников, воскликнул: «Я уже сыт по горло тобой и твоим пением!»...

Незадокументированная встреча — 2 : Аполлон

Блудный сын наконец вернулся. Как я и ожидал. Несколько месяцев я наблюдал, как он корчится на экране, словно его заставляют глотать хинин. Можно подумать, у него когда-нибудь была реальная необходимость сражаться за место под солнцем. Это все его мать испортила. Сын застал меня в кабинете. Я как раз заканчивал работу над одной поэмой о современности. Надо было ее еще немного пригладить: поддать жару в метафорах, в конце не забыть звезды и небо, добавить что-нибудь на тему отцов и детей, упомянуть о мудрости прожитых лет и поре бурной молодости. У меня найдется место для всего.

Пришел, сел напротив, смотрит в пол. Жду, когда заговорит первым.

— Ты знаком с Мидасом, не так ли?

— Сынок, мы столько времени не виделись, а ты вместо приветствия спрашиваешь меня о Мидасе. Как он поживает?

Я встал, чтобы обнять Орфея, но он отпрянул от меня, как от огня.

— Хорошо. Скажи, чтобы он прекратил это.

— Прекратил что?

— Приводить ко мне в программу всяких идиотов.

— Среди них есть и достаточно интересные личности.

— Люди перестали верить в искусство. Не говоря уж о том, что мне не верит никто.

— Но что общего у меня с твоей программой? Я сыт по горло тобой и твоими жалобами! Кроме того, Мидас — твой начальник. Ты сам к нему пришел. И будешь выполнять то, что он тебе скажет.

— И это самое страшное! Он ни в чем не разбирается, но тем не менее вмешивается в мои дела, — сорвался я.

— Сынок, тебе еще многому предстоит научиться.

Орфей выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Я вышел за ним в коридор и крикнул вслед: «Ты бы хоть попрощался!» Орфей стоял у входной двери, обнявшись с матерью. Склонился над ней, спрятал лицо в ее волосах, а спина вздрагивала от неслышных рыданий. Каллиопа не понимает, что таким образом она ему не поможет.

Он же никому не признается, что приходил ко мне за помощью. Я его знаю, бревно неотесанное.

Продолжение: Орфей

В кафе «Хеброс» я узнал, что Каллирою все же уволили. Но она сдержала слово и распространила запись по нескольким каналам. Сопровождаемая гулом кофемашины и позвякиванием блюдец с подогретыми булочками, история ее бунта передавалась из уст в уста.

Я несколько дней подряд сидел перед телевизором и скупал все газеты. Ничто не указывало на то, что кто-то заполучил пленку с депутатом-развратником. Эвридике, может, и не нравилось мое чрезмерное увлечение телевидением и прессой, но она молчала. Поскольку мы по-прежнему не разговаривали, то и я не объяснял, что хочу отыскать. А может, стоило ей сказать: «протеже твоего любимчика конец». Мы пили кофе, который Эвридика продолжала варить каждое утро, и пока она застывшим взглядом смотрела в окно, я перечитывал новости. Только однажды Эвридика нарушила молчание:

— Орфей, нашу жизнь определяют значительные или мелкие события?

— Я не знаю, Эвридика. На самом деле не знаю. Человек ведь надеется, что он сам хозяин своей судьбы.

Я был не против поговорить еще, но жена встала и вышла из-за стола.

Только я хотел оставить поиски, как в конце недели на страницах одного таблоида появилась злобная разоблачающая статья с несколькими фотографиями, на которых была запечатлена ночная жизнь Силена (странно, что никак не реагировали более авторитетные издания). Потом то тут, то там, в газетах и по телевидению, началась кампания по опровержению данного порочащего факта, существование которого отвергалось напрочь.

* * *

...Однажды пьяный и потонувший в сладострастии Силен отвлекся во время очередного безумного пиршества, устроенного Сабазием, и потерялся. Заснувшего в розовых кустах сатира обнаружил и спас Мидас. Долгое время он опекал его, пока Силен рассказывал неслыханные истории о далеком, никому не известном континенте. В конце концов Мидас вернул старого сатира Сабазию, и взамен тот пожелал отплатить за услугу. «Я хочу, чтобы все, к чему я прикасаюсь, превращалось в золото», — попросил Мидас. Сабазий понимал, что потом он сильно раскается, но делать было нечего: улыбнулся и выполнил просьбу. Через некоторое время Мидас сам умолял его забрать назад такой подарок, ставший проклятием.

Что касается Орфея, то учителем Мидаса он пробыл недолго...

Мидас

Я приказал секретарше позвать ко мне Орфея. Этот парень создавал неприятности с первого дня своего назначения. Люди вроде него ничего не стоят. У них есть свое мнение по всякому вопросу, и необходимо постоянно контролировать, чтобы они не сделали очередную глупость. В итоге такие работнички выстраиваются в очередь за заработной платой, наивно полагая, что она упадет им с неба. Поэтому я предпочитаю иметь дело с иным контингентом: пришедшими из ниоткуда, готовыми на все ради куска хлеба. Орфей, даже умирая от голода, никогда не станет побираться. Что бы ты ему ни дал, он все равно будет недоволен. А следовало бы в благодарность руки лизать. Да я прямо сейчас могу найти по меньшей мере человек сто, которые мечтали бы оказаться на его месте. Я передал секретарше, что хочу его видеть у себя немедленно, предоставляя ему последний шанс отблагодарить нас за заботу.

Орфей вошел в кабинет: волосы растрепаны, одежда висит, как на вешалке, оглядывается.

— Если тебя не снимает камера, это еще не значит, что ты можешь ходить в кедах, как оборванец. У нас приличная организация.

Кивок.

— Кроме того, постригись.

Снова кивок. Что он себе думает?

Я указал ему на стул, закурил сигару. Мне самому требовалось немного успокоиться. Я сам чувствовал себя, как в приемной у дантиста, где мне должны были вырвать зуб.

— Орфей, ты уже многому научился, овладел профессией журналиста. Пора выходить на иной уровень, показывать важных, авторитетных лиц.

— Я и так их приглашаю.

— Да, есть и такие. Но сейчас я хочу, чтобы ты провел интервью с известным тебе депутатом — Силеном. Это будет и актуально, и интересно зрителям.

— Я с политикой не связываюсь.

Я всегда знал, что ему надо многое объяснять. Я это предчувствовал, так и получилось.

— Мы все так или иначе связаны с политикой. Только не пойми меня превратно. Интервью будет абсолютно на другую тему, как раз по твоей части.

— Что общего у Силена с «моей частью»?

— Не перебивай. Силен издал книгу о своей родине во времена, когда он еще не был местным прокурором. Держи, она тебе понравится. Здесь говорится о его семье, бабке с дедом, о природе… Это очень интересный край, бунтарский. Письменных материалов о нем почти не осталось, а Силен вот так просто, по детским воспоминаниям попытался восстановить…

— Я очень сомневаюсь, что по детским воспоминаниям можно…

— Я же сказал, чтобы ты не перебивал! Твоя задача — преподнести его публике как творца, представителя интеллектуальной элиты. Чтобы стало понятно, что это глубокая многогранная личность, играющая заметную роль в культурной жизни общества. Заодно свою передачу разбавишь чем-то новеньким.

Орфей принялся качаться на стуле, как если бы он в любой момент мог встать и уйти. Но не уходил.

— Отлично! Значит, договорились, — сказал я и передал секретарше, чтобы Орфея проводили. Девушка открыла дверь и застыла в ожидании, когда мой посетитель встанет.

— Я не стану помогать вам в продвижении пособников Сабазия, — ответил, наконец, Орфей. — С меня хватит.

Я не поверил своим ушам. Возможно, не смог тогда сдержаться и наорал на него. Уже не помню…

— И это говоришь ты, кого устроил сюда Сабазий? Да если бы не он, тебя уже давно бы уволили! Ты бы здесь и месяца не продержался! Тебя терпят и закрывают глаза на твои проколы только благодаря Сабазию. А знаешь, почему? Да потому что, если ты этого еще не заметил, собственником всего является именно Сабазий, и если бы не он, все мы давно были бы на улице. Но я больше молчать не намерен. Я позвоню Сабазию и все ему расскажу. Как есть на самом деле. Вы друг другу родственники, вот и разбирайтесь. А мне надо работать.

Орфей даже не пошевелился. Сидел и смотрел на развевающиеся за окном флаги. На мгновение я испугался, что переборщил и довел человека до инфаркта. Попросил секретаршу принести нам воды, но Орфей вдруг встал и вышел. Больше я его никогда не видел.

С Силеном мы закончили работу быстро. Ганимед еще в тот же вечер взял у него интервью. Расспросил о его семье, смонтировал красивую картинку с мест-

ными пейзажами, добавил положительные отзывы земляков о Силене. А сам Силен так разошелся, что в завершение еще и спел. Согласен: навести необходимый интеллектуальный лоск нам не удалось — Орфей был все же незаменим в этом отношении, и надо признаться, даже я кое-чему от него научился — но сюжет вышел неплохой. Теперь проще простого было внушить людям идею, что Силен хотел лишь дать бедному ребенку шоколадку, накормить его и по причине безмерной скромности предпочел сохранить это в тайне.

Сабазий остался очень доволен результатом и пожелал меня отблагодарить. Но я сам все испортил, попросив слишком ответственную должность. Сейчас, глядя на свою дочь, приколоченную после катастрофы золотыми гвоздями, я понимаю, что это было моей ошибкой.

* * *

...Каллироя отвергла любовь одного из жрецов Сабазия, чем вызвала его страшный гнев. Сабазий наслал на нее чуму, спастись от которой можно было только ценой принесенной жертвы. И Каллироя сама себе перерезала горло...

Каллироя

Стою у окна в одной ночнушке и пью, но выпивка уже не помогает. Я абсолютно одна. Живу так много лет, а замечать начала это только сейчас. Правда, приходится все же выходить за продуктами. Деньги у меня есть, не жалуюсь. После недавнего скандала мне не позвонил ни один человек. Пока я работала, телефон в доме не умолкал. Сейчас в лучшем случае позвонит какой-нибудь коллега из провинции, который еще не в курсе случившегося. Так выглядит взбунтовавшийся герой в ожидании расплаты — как допущенная в слове досадная ошибка, которую вот-вот должны убрать. На всякий случай я опустила шторы на окнах. Из-за постоянных сумерек я перестала ориентироваться во времени.

Но, как я уже говорила, из дома выходить все же приходится. В магазине я опасаюсь подходить к задним стеллажам с продуктами, где нет людей. На остановках оглядываюсь. Слежу за тем, чтобы все были на одинаковом расстоянии от меня. Пытаюсь угадать, кто действительно ждет трамвай, а кто умело маскируется. Это нелегко. Однажды ко мне подошел мужчина и спросил, который час. Я ответила, что не ношу часы. Я боялась опустить глаза и потерять его из поля зрения. Как будто это могло его остановить. Ранее так пострадала одна моя коллега: ей плеснули в лицо кислотой. Я не хочу повторять чужих ошибок. Может, если удастся продержаться подольше, они забудут обо мне. Быть может, в один прекрасный день империя Сабазия утратит свою силу. Не представляю, что могло бы его остановить. Истина?..

В дверь позвонили. Странно, я никого не жду. Неужели пора? За дверью стоит незнакомая мне женщина с квитанциями в руке. Может, проверяют оплату? А если она не одна?

Кем бы она ни была, я не открою. Но долго я так не выдержу. Рано или поздно придется вызвать сантехника, забрать почту, оказаться на троллейбусной остановке одной. Только вот спохватилась я слишком поздно. И сама перерезала себе горло.

* * *

...Орфей спустился в ад...

Перевод с болгарского Ольги ПЕТРЕВИЧ.

Окончание следует.

АРСЕНИЙ ТУРЦЕВИЧ

Русские крестьяне под владычеством Литвы и Польши

Краткий исторический очерк[*]

V

Аренда и застава имений. — Права арендаторов и заставных владельцев. — Угнетение ими крестьян. — Продажа крестьян без земли.

В Западной Руси, во время польского управления, был сильно распространен обычай отдавать имения в аренду. Арендаторами обыкновенно являлись шляхтичи, но нередко среди них встречались и евреи. Например, еврею Абрамку Шмойловичу и его жене Рикле Юдинне отдано было в аренду в 1595 году обширное имение Кошары, Киевской губернии, принадлежавшее князю Сангушке[1]; еврею Бенциану Хацкелевичу и его жене Илце Мовшовичовне отдано было в трехлетнюю аренду в 1793 году имение Судовщизна, Могилевской губернии[2], и т. д. Кроме аренды существовала еще **застава.** Она представляла собою особый вид залога недвижимости, при котором имущество находилось во владении не заемщика, а арендатора, пользующегося доходами имения в уплату процентов на занятую сумму. Имение отдавалось в заставу обыкновенно на определенный срок, но если заемщик не возвращал занятой суммы в назначенное время, то застава продолжалась на второй срок, а потом на третий и т. д., впредь до выкупа имения. Заставный владелец (zastawnik) мог передавать свои права на имущество, находящееся у него в заставе, другому лицу; эта передача называлась *влевком* (wlewek, wlewkowe prawo, wlewkowy list, zapis). Арендных и заставных сделок в актовых книгах Виленского Центрального Архива встречается очень много[3].

Арендаторы и заставные владельцы пользовались всеми правами вотчинных владельцев и страшно притесняли своих временных подданных. Им нечего было заботиться о благосостоянии крестьян, что иногда имелось в виду вотчинными владельцами, и если имение приходило в полное разорение, это их нисколько не могло обеспокоить. Во множестве актов упоминается, что эти временные владельцы произвольно увеличивали число барщинных дней, заставляли крестьян работать по праздникам, не исключая даже первого дня Пасхи, высылали крестьян на работы в оковах и принуждали оставшихся крестьян отбывать повинности за бежавших[4].

---

[*] Окончание. Начало в № 9, 2012 г.

[1] «Памятники Киевск. Арх. Комиссии», т. 1, стр. 83.

[2] Виленск. Центр. Архив, кн. № 1550, л. 78.

[3] Например, в актовой книге Россиенского земского суда за 1598 год под № 1461 находится 57 заставных листов.

[4] «Архив Юго-Западной России», ч.VI, т. 1, стр. 174, 309, 41. Особенно мало дорожили крестьянами временные владельцы в малоземельных имениях. Так, в им. Соболевке Мстиславского повета, где крестьянские наделы состояли из $^1/_4$ и $^1/_8$ уволоки, заставный владелец Бржезицкий совсем выгнал (wypędził) трех крепостных крестьян, о чем заявляет в инвентаре сам владелец. («Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 19).

Таким притеснениям подвергали крестьян не только какие-нибудь незначительные лица или евреи, стремившиеся к быстрой наживе, но и знатные паны. Так, мозырский маршалок Котовский и его жена, продержав в течение пяти лет в заставе деревню Вольку Пневенскую, совершенно разорили и разогнали своих временных подданых, «посылая их с подводами за несколько десятков миль в Ломоз и другие места, подвергая побоям, обременяя тяжкими необычными работами и повинностями, придумывая необыкновенные подати и стации и взыскивая их силою и грабежом»[1].

При отдаче имения в аренду владельцы передавали арендаторам, в качестве доходной статьи, и право суда над крестьянами, причем иногда добавляли и дозволение казнить смертью виновных. Например, в арендном листе князя Сангушка Кошарского вышеупомянутому еврею Абрамку Шмойловичу на местечко Кошары, с принадлежащими к нему селениями, от 24 мая 1595 года, сказано: «По этому арендному листу с нашими печатями и собственноручными подписями нашими имеет он (Абрамко Шмойлович) право владеть вышеупомянутыми имениями, пользоваться ими, брать себе доходы и пользоваться ими, судить и рядить бояр путных, которые ездили с листами, также всех крестьян наших виновных и непослушных наказывать денежными пенями и смертью (горлом карати) по мере проступков[2]. Такие же права предоставлялись и лицам, взявшим имение в заставу. Так, в заставном листе от 1649 года помещика Николая Есьмана, отдавшего в заставу на один год трех крестьян, сказано, что заставный владелец имеет право этих крестьян судить и казнить смертью (na gardle karać)[3]. В 1705 году супруги Войны-Ясенецкие отдали в заставу Константиновой Войниной-Ясенецкой местечко Цихиничи с деревнями также с правом судить и казнить крестьян[4].

Отдавая крестьян в аренду и заставу, владельцы, конечно, и продавали их, притом не только вместе с землею, но даже и без земли. Последнее подтверждается целым рядом документов. Так, в 1605 году земяне господарские повета Вилкомирского Петр Монкевич и жена его Дорота Миколаевна… «маючы в спокойном держанью и уживанью подданного своего, до именича Ужуройтского, в повете Вилкомирском лежачего, приналежачего, на имя Петра Павловича, з женою и с детьми его, отлучивши того свыше помененого именича, продали и на вечность в моц и векуистое уживание спустили есмо того подданного нашего… с женою, с детьми и со всякою маетностью его, с повинностью того подданного, яко нам самым до имене нашего служил, его милости пану Каспору Малхеровичу Довмонт-Сесицкому за двадцать коп грошей личбы и монеты литовское»[5]. В 1606 году «Балтромей Станиславович, земенин господарски повету Вилкомирского… будучи потребен сумы пенезей, продал… на вечность подданного своего властного отчичаименья своего Пенянского, лежачого у повете Вилкомирском, на име Петра Яновича Бобрунца за певную суму пенезей, за тридцать коп грошей монеты великого князства Литовского, самого одного головою только с маетностью его, кроме кгрунту (земли)… пану Левоновичу Униковскому, судьи кгродскому Вилкомирскому, и малжонце его, детем, потомком его вечными часы»[6]. В 1661 году пинский подсудок Войтех Земенский освободил на волю боярина Петра Рафановича, которого записала ему на вечные времена жена его Катерина, бывшая раньше замужем за ковенским писарем[7]. В 1787 г. шляхтич Доменик Босяцкий продал шляхтичу Франциску

[1] Вилен. Центр. Архив, кн. № 13019, л. 777.

[2] «Памятники Киевск. Археогр. Ком.», т. 1, стр. 83.

[3] Вилен. Центр. Архив, кн. № 1785, л. 453.

[4] Ibid., кн. № 1692, л. 251. — Здесь кстати заметим, что в Статутах прямо нигде не выражено право владельцев казнить крестьян смертью; его можно выводить только косвенно из определения смертной казни за известия преступления и из предоставления суда по тем же преступлениям помещикам.

[5] Ibid., кн. № 13886, л. 54—55, документ № 28.

[6] Ibid., кн. № 13886, л. 151—152, документ № 76.

[7] Ibid., кн. № 13211, л. 383.

Затовскому своего крепостного крестьянина Якова и жену его Марину Юзупуков с сыновьями Димитрием и Василием и дочерьми Анастасией и Мариной, издавна живущих в деревне Босяч, Брестского повета, с их движимым имуществом: двумя упряжными волами, одною лошадью, одною коровою, четырьмя овцами, старыми и молодыми, одной свиньей и с домашней утварью, кроме построек, земли и посевов в разных местах, за 500 польских злотых, «так как, — сказано в купчей крепости, — закон разрешает владельцам по их желанию управлять и распоряжаться своим имуществом и своими крестьянами» (jako prawo statutowe pozwoliło swoiemi dobrami, poddanstwem należnemi, jako chciec, rządzic, dysponowac[1]. Все эти документы, явленные в книгах судебных учреждений, с соблюдением всех формальностей, ясно указывают, что продажа крепостных людей без земли в западно-русских областях в период полького владычества не представляла каких-нибудь злоупотреблений, а производилась на законном основании[2].

VI

Стация. — Грабежи и разные насилия жолнеров. — Разорение крестьян. — Меры правительства против жолнеров. — Насилие над крестьянами шляхты.

Крестьяне, жившие в имениях королевских и духовных, обязаны были давать **стацию**. Сначала стацией назывались, как уже сказано выше, временные сборы по случаю проезда великого князя и послов, но впоследствии этим именем стала называться поставка продовольствия для войск. Право на сбор стации обыкновенно определялось великим гетманом Литовским, который в каждом отдельном случае выдавал тому или другому военачальнику особый документ, известный под названием ассигнации. Каких размеров достигали эти поборы, видно, между прочим, из Уставы стаций от 1657 г. Согласно этой Уставе, крестьяне должны были давать войскам: с 4 уволок — 1 бочку ржи, 1 бочку ячменя, 1 бочку гречихи; с 6 уволок — 1 бочку гороху, половину свиной туши; с 10 уволок — 1 яловицу, 1 кадку масла, 1 копу сыров; с 3 уволок — 1 бочку овса, 1 барана; с 2 уволок — 1 воз сена, 1 гуся, 2 куриц[3]. Стация собиралась или хлебом, или деньгами, поэтому и ассигнации выдавались гетманом «на хлеб», иногда «на полхлеба», и «на хлебные деньги». Буйные *жолнеры*, или *солдаты*, не признававшие никакой дисциплины, нередко превращали сбор стации в открытый грабеж и производили над мирными жителями самые возмутительные насилия. Хотя все эти насилия относятся к разряду явлений более или мене случайных, но они так часто повторялись, так много страдало от них все население, особенно сельское, что нельзя на них не остановиться при описании положения крестьян. Приведем несколько примеров жолнерских насилий из документов XVII—XVIII веков.

[1] Ibid., кн. № 7399, л. 653.

[2] Ф. Леонтович говорит, что на первых порах продажа, мена и другие способы отчуждения отчизных людей допускалась не иначе, как с землею, но уже Статут 1588 года дозволил продажу беглых людей без земли, «откуда вообще развилось право продажи крестьян не только с землею, но и без земли» («Крестьяне Юго-Западн. России по литовскому праву XV—XVI столетий, стр. 15). Другой исследователь крестьянского вопроса в Западной России, г. Новицкий, также признает продажу крестьян без земли, но только высказывает мнение, что такая продажа «могла установиться никак не ранее конца XVI столетия, когда крестьяне, слитые почти в один бесправный разряд, окончательно были подчинены частному праву владельцев» (Архив Юго-Западной России», ч. VI, т. 1. предисловие, стр. 69—70). Впрочем, продажу крестьян в Польше без земли признает и польский историк князь Любомирский («Rolnicza ludność w Polsce». T. X-cia L, стр. 9—10).

[3] Универсаль Павла Сапеги, великого Гетмана Литовского, от 1657 года. Виленский Центральный Архив, кн. № 13009, л. 884 (оборот).

В 1654 году оберштерлейтенант Эрнест Нольд с тремя офицерами и несколькими десятками драгун приехал в одну небольшую деревню Пинского повета, принадлежавшую Купятицкому монастырю, и потребовал 320 злотых денежной стации. Монахи, не имея наличных денег, заложили часть церковного имущества и заплатили требуемую сумму за своих убогих крестьян. После этого драгуны, пишет в своей жалобе игумен монастыря Малышевский, монастырских подданых били, мучили и как хотели над ними издевались, приказывая этим подданым, вопреки обычаю, давать то, чего они не имели в домах, собирали с них деньги на пиво, на водку, на мясо и на коренья, а всего причинили убытку на 90 злотых; кроме того, те же господа солдаты силою брали у крестьян фанты, т. е. более дорогие вещи, а именно: мужские рубахи, скатерти, полотенца, рантухи (покрывала), фартухи, сермяги, убранства (ubiory), плахты женские, топоры, буравы, пешни, долота, железо от жерновов, сошники железные, а всего на 20 злотых. Возный, или судебный пристав, явившись в вышеназванную деревню с тремя шляхтичами и допросивши десять крестьян, подтвердил справедливость всего вышеизложенного в жалобе игумена Малышевского; кроме того, он осмотрел избитых драгунами крестьян и записал следующее в своей реляции: «У Трушка знаки синие, вспухшие, налившиеся кровью от побоев палкою по спине и по плечам, а у жены того же Трушка знаки также синие, вспухшие, на обеих руках от побоев палкою; у Грица Макаровича плечи все синие, вспухшие, налившиеся кровью, и спина синяя от побоев палкою; у Поцеки видели также знаки синие, вспухшие, налившиеся кровью, от побоев палкою по спине, по плечам, по руке, по ногам; у войта из Ярмачков видел знаки синие, вспухшие, налившиеся кровью, от побоев палкою по всему телу, а на снохе его также видели знаки синие от побоев палкою по рукам». Далее ввозный заявляет, что он видел одного старого подданного синего, вспухшего, очень больного и замученного солдатами, которые издевались над ним[1]. Тот же самый оберштерлейтенант Нольд немало опустошил и других имений. Между прочим, он простоял три недели в деревне Кунятичах Пинского повета, где солдаты его, не довольствуясь тем, что имели крестьяне в домах своих, приказывали им, по словам ввозного, привозить для них из города Пинска жирное мясо, кур, гусей, пиво, водку, разные коренья для кушанья, хлеб белый, сами убивали и приготавливали кабанов, овец, волов, и чего не могли съесть, прятали в возы, самих же крестьян били, мучили, выгоняли ночью из изб крестьянские семейства, ломали двери и окна[2]. В том же 1654 году пришел в деревню Суч, входившую в состав имения Заполя Пинского повета, ротмистр Рончковский с хоругвью коронного войска и, невзирая на закон, воспрещавший польскому войску переходить через границу великого княжества Литовского[3], брал силою у крестьян хлеб, напитки, домашних животных и самые разнообразные вещи, чего еще не уничтожили разбойники (latrowie poganstwo) и чего не успели взять другие господа жолнеры[4]. В том же году приехали и в имение Новый Двор Пинского повета паны Самуил и Даниил Загурские и пан Красовский с десятком всадников, называя себя депутатами хоругви Овруцкого старосты Немерича, и потребовали у войта Ершевского 300 злотых стаций, не показывая, впрочем, гетманского универсала на право этого сбора. Войт заявил, что он известит об этом своего пана, которого не было дома, а их просил быть терпеливыми, но те ответили, чтобы им немедленно дали требуемую сумму, и тотчас же войта избили и изранили обухами

[1] Виленский Центральный Архив, кн. № 13008, л. 320.

[2] Ibid., кн. № 13008, л. 317.

[3] Вот как об этом выразился в своей жалобе Якуб Панкевич, один из служащих в Запольском дворе: «Nie oglądaiąc sią na konstitutie artykułami postanowione, jako też swieżymi konstitutiami warowano, żeby żolnierze granice korony Polskiey do wielkeigo xięstwa Litewskiego nie przychodziły».

[4] Виленский Центральный Архив, кн. № 13008, л. 395.

и палками, а других хлопов повязали и четыре дня били палками. Ввиду такого смертоубийства (morderstwa) крестьяне вынуждены были дать с четырех волок 240 злотых. Получив эту сумму, жолнеры поотбивали еще замки (kłodki) в амбарах и побрали все вещи, которые им понравились; кроме того, в корчме выпили водки, пива и меду на 30 злотых[1]. В 1658 году капитан Коссаковский с драгунскою хоругвью напал на село Сворйчевичи Пинского повета и, не обращая внимания на невинность убогих крестьян и на частые сборы с них стации разными другими хоругвями, самовольно и незаконно забрал у них хлеб, лодашей, рогатый скот и другое имущество и отправил все это в место своей стоянки Дуброву, а затем в ночь с 18 на 19 апреля сжег все село с остальным недограбленным еще имуществом, чем совершенно его уничтожил[2]. В 1667 году пришел в деревню Новый Двор с хоругвью пан Рокотанский и не только совершенно ограбил крестьян, но и сжег их постройки. «А где хлопов из домов повыгоняли, — жаловался управляющий этого имения Казимир Будзицкий, — там печи поразбивали, двери и косяки повынимали, доски с потолка поразбрасывали и сожгли; шесть амбаров хлопских совсем разобрали и три сарая только наполовину и также сожгли и всю деревню опустошили и уничтожили»[3]. Таким грабежам и опустошениям подвергались имения не только мелких владельцев, но и самых знатных. Так, в 1662 г. войты и крестьяне Черейской волости великого гетмана Литовского, Павла Сапеги, принесли присягу в том, что им причинены были «убытки, обиды, мучения людей, убийства, насилия и побои» полком коронных войск Стефана Чарнецкого, воеводы русского, по приказанию последнего[4]. В 1669 году Андрей Мурашко, полковник его королевкой милости, напал со своим полком на имение Лельчицы Мозырского повета, принадлежавшее Виленскому епископу Александру Сапеге, и, собрав с крестьян стацию, дал обещание больше не останавливаться в этом имении; несмотря, однако, на это обещание, он через месяц опять напал на Лельчицы и произвел там полный погром: избил управляющего и войта, ограбил крестьян и даже раскопал в лесу 150 ям, в которых крестьяне спрятали свое имущество; кроме того 8 душ крестьян, скрывавшихся в лесу, погибли от холода (3 мужчин, 2 женщины и 3 детей)[5]. В 1704 г. поручик Хризостом Бенкин напал с толпою вооруженных людей на деревню Хочинки Речицкого повета, принадлежащую Михаилу Бялозору, и не только ограбил крестьян, но еще их бил, мучил, подвергал заключению и причинял разные обиды, а одного подданного, Микиту Бондара, так жестоко избил, что он, по словам возного, «должен был умереть» (aż umrzec musiał)[6]. В 1705 г. поручик Франк и капралы Салишевский и Пиотровский с 50 вооруженными людьми остановились на ночлег в деревне Гурчах Речицкого повета и потребовали от крестьян разных кушаньев и денег, после чего всех их с женами и детьми в мороз повыгоняли из домов, так что некоторые чуть не умерли, а одного пожилого крестьянина так избили, что он на третий день душу Богу отдал[7].

Бывали случаи, что жолнеры не только вымучивали у крестьян последнее их достояние, но позволяли себе еще и издеваться над ними. В 1667 году пришли в деревню Всемирово, приписанную к Лещинскому монастырю, две татарские хоругви под начальством Улана Корицкого и Мурзы. Согласно установившемуся уже обычаю, жолнеры крестьян били, заставляли давать им

[1] Ibid., кн. № 13008, л. 442.
[2] Ibid., кн. № 13010, л. 342.
[3] Ibid., кн. № 13019, л. 449.
[4] Ibid., кн. № 11785, л. 414—419.
[5] Ibid., кн. № 12344, л. 192.
[6] Ibid., кн. № 1692, л. 317.
[7] Ibid., кн. № 1692, л. 339.

деньги, хлеб, отбивали замки у амбаров и брали все, что им только нравилось, пасли лошадей на засеянных полях и сенокосах, а потом, «когда бедные подданные стали готовить себе в праздничный день кушанья, понаваливали в горшки дегтю, по причине которого, — пишет в своей жалобе наместник Лещинского монастыря, — те подданные не могли есть»[1]. А вот шутка и более жестокого характера. В том же году Грыць Останович, подданный пана Бржовского, возвращался со своими соседями из местечка Янова, куда он ездил продавать скот, чтобы собрать немного денег для уплаты подымного. На дороге к крестьянам подъехали жолнеры татарской хоругви, и один из них выстрелил в крестьян из пистолета, но промахнулся; тогда жолнер (перепуганные крестьяне не заметили, тот самый, который уже стрелял, или другой), прицелившись и сказав: «Продай, хлопе, жену», вторично выстрелил. После этого жолнеры уехали, а вышеназванный Грыць оказался убитым[2].

Буйные жолнеры, не останавливавшиеся ни перед какими насилиями над крестьянами, не могли, конечно, оставить в покое их жен и дочерей. В 1658 году помещик Одаховский жаловался на товарищей хоругви, бывшей под командой Фабиана Паруля, а именно: на панов Миленского, Бельского, Лущинского и Пожарыского, что они ночью с 19 на 20 июня наслали свою челядь в несколько десятков человек на деревню Заплесы, входившую в состав имения Довечорович Пинского повета. Эти челядники сначала разогнали выстрелами крестьян и разграбили их имущество, а потом, не довольствуясь большим количеством награбленных вещей, стали гоняться ночью за крестьянскими женами и ворвались за одною из них в избу, но встретили там мужа последней, Павла Ясковича, и, несмотря на то, что он стал уходить от них, без всякой причины убили его из бандолета. После этого челядники немало искалечили других хлопов и их жен обухами и едва на другой день уехали, угрожая сжечь деревню и всех перебить[3]. В 1664 г. пришли в имение Кузьмичи Овручского уезда хоругви Станислава Малявского и капитана Погоржельского, посланные туда из Мозыря Самуилом Оскеркой, мозырским земским судьей. Возный, произведя подробный осмотр разгрома, произведенного в Кузьмичах мозырскими жолнерами, представил в Пинский гродский суд список 26 крестьян, с оценкой всех взятых у них вещей. Между прочим, относительно некоторых крестьян в списке ввозного сделаны такие добавления: у Васька Саченка жолнеры силою взяли невестку и держали у себя три дня; у Опанаса Оладки оскорбили жену; у Назара Мельника оскорбили жену; у Алексея Саченка оскорбили жену; у Ивана Шинкаренка утопили дочь. Это донесение ввозного было подтверждено под присягою самими крестьянами, которые при этом пояснили, что дочь Шинкаренка утонула в реке, спасаясь от преследования жолнеров[4].

Подобных примеров жолнерских грабежей и всевозможных насилий можно найти в актовых книгах Виленского Центрального Архива очень много. Сами обыватели нередко заявляли, что они больше страдали от своих собственных жолнеров, чем от «неприятеля казака»[5], и сравнивали жолнерские насилия с чисто стихийными бедствиями, как пожар, разные болезни, моровое поветрие и т. п.[6]). При таких порядках многие крестьяне не в состоянии были вести своих хозяйств и часто бросали их. Так, в 1665 году провентовый писарь Токарский жаловался, что во многих деревнях Пинской державы княжны Радзивилл от постоя полка гетмана Павла Сапеги и от прохода в течение целого года других

---

[1] Ibid., кн. № 13019, л. 844.

[2] Ibid., кн. № 13009, л. 205.

[3] Ibid., кн. № 13009, л. 105.

[4] Ibid., кн. № 13017, л. 171.

[5] Вот как об этом выразился в своей жалобе на шесть хоругвей державца имения Кольна Мозырского повета: «Nie tak dalece przez nieprzyjasciela kazaka, jako barziey przez swoje woysko i choragwie» (Вилен. Центр. Архив, кн. № 13018, л. 361.

[6] Вилен. Центр. Архив, кн. № 11786, л. 73. Инвентарь имения Кричин Минского воеводства. См. также кн. № 11785, л. 451.

хоругвей и значков крестьяне до такой степени обеднели (zubożeni, zniszczeni, ogłoceni zostali), что вынуждены были оставить свои дома и разойтись[1]. То же самое происходило и во многих других имениях: в 1655 году в Пинском старостве было 58 пустых дымов[2]; в 1657 году в местечке Немекштах Россиенского повета все дома мещан оказались пустыми[3]; в 1666 году в имении Опол Пинского повета было 133 пустых дыма[4]) и т. д.

Такое систематическое разорение страны теми самыми желнерами, которые обязаны были защищать ее от внешних врагов, не могло не обеспокоить польское правительство. Беспокойство это еще увеличивалось от опасения, что угнетенный народ может, наконец, потерять терпение и произвести восстание[5]. Ввиду таких обстоятельств король и великий гетман не переставали принимать самые решительные меры против своевольных жолнеров. Так, король Ян Казимир 5 августа 1654 года обратился к жителям Пинского повета со следующим универсалом: «К нам доходят частые жалобы из разных мест, а в особенности от жителей Пинского повета, что в наших владениях ныне находится немало таких лиц, которые, назвавшись нашими ротмистрами и капитанами, расхаживают по деревням нашим, духовным и шляхетским, без наших предписаний и гетманских универсалов, и невыносимыми поборами и вымогательствами опустошают и разоряют бедных крестьян. Поэтому, желая предохранить бедных людей от дальнейшего разорения, объявляем нынешним универсалом нашим, чтобы тех, которые под названием добровольцев или каким-либо иным будут ходить по деревням и производить без наших и гетманских универсалов вымогательства, сами жители общими силами разбивали и уничтожали, как своевольную толпу и врагов отечества[6]. С такими универсалами король неоднократно обращался к своим подданным[7]. Еще чаще, чем король, рассылал подобные универсалы гетман великого княжества Литовского, в которых он то приказывал жолнерам немедленно прекращать грабежи и спешить в места расположения войск, угрожая ослушникам смертною казнью[8], то советовал, подобно королю, самим жителям уничтожать своевольные толпы грабителей и разных ротмистров и капитанов[9]. Наконец, для обеспечения безопасности жителей король и гетман выдавали многим лицам охранные листы, которыми жолнерам запрещалось в имениях этих лиц «останавливаться, ночевать, требовать продовольствия, брать подводы и стации и отягощать крестьян нималейшими поборами»[10].

Но королевские и гетмански универсалы и охранные листы не могли прекратить жолнерских насилий: с одной стороны, своевольные жолнеры, не признавая над собою никакой власти, мало обращали внимания на правительственные распоряжения, а с другой — сами жители в очень редких слу-

[1] Ibid., кн. № 13017, л. 636.
[2] Ibid., кн. № 13008, л. 1713.
[3] Ibid., кн. № 14469, л. 282, об.
[4] Ibid., кн. № 13018, л. 520.
[5] 24 декабря 1656 года подскарбий и польный гетман вел. кн. Литовского Винцент Корвин Госевский обратился к обывателям Жмудского княжества с универсалом, в котором, между прочим, высказал следующее: «Należy obmyslic, strzegąc, aby uciążone pospolstwo stey okazij do jakiego nie żuciło się buntu i szkodliwey nie uczyniło rewolucij». (Вилен. Центр. Арх. кн. № 14468, л. 854).
[6] Ibid., кн. № 13008, л. 1271.
[7] Ibid., кн. № 13008, л. 1786.
[8] Ibid., кн. № 13009, л. 649; кн. № 13018, л. 285, 317, 680, 944; кн. № 13019, л. 462, 640, 751, 825 и др.
[9] Ibid., кн. № 13010, л. 325, 493, 494, 643; кн. № 13018, л. 410, 411, 412; кн. № 13016, л. 1034; кн. № 13019, л . 732 и др.
[10] Охранных листов в актовых книгах Виленского Центрального Архива очень много. Так, в книге Россиенского гродского суда за 1654—1656 годы под № 14468 помещено таких листов семнадцать.

чаях могли оказывать сколько-нибудь серьезной сопротивление вооруженным людям[1].

Независимо от жолнеров, немало причиняла крестьянам всевозможных обид и шляхта. В Польском королевстве государственная власть совершенно не вмешивалась в отношения владельцев к крестьянам, поэтому как бы жестоко ни обращался со своими хлопами помещик, он не подлежал никакой ответственности. Дело доходило до суда только в том случае, когда шляхта производила насилия над чужыми крестьянами, так как за последних обыкновенно заступался их собственный владелец. Но при отсутствии в Польше сильной исполнительной власти очень трудно было приводить в исполнение судебные приговоры, поэтому шляхта нередко обижала не только своих, но и чужих крестьян. Проезжает, например, по большой дороге со своими людьми какой-нибудь шляхтич и встречает крестьян; для последних эта встреча часто оказывалась весьма плачевной, так как гордый пан нисколько не считал для себя предосудительным напасть на них, избить, искалечить и ограбить, и все это делалось без всякой причины, а только ради «особенной наглости и пьянства» (z szczegulnego zuchwalstwa i opilstwa), как обыкновенно выражались в своих жалобах потерпевшие[2]. Нередко шляхта подвергала крестьян всевозможным истязаниям по самым ничтожным поводам. Так, в 1775 году Михаил Война, помещик Витебской провинции, задержал на незасеянном поле лошадь крестьянина Петрука Шидловского, и когда последний явился к Войне с просьбой возвратить ему лошадь, жестокий пан, питая к Шидловскому какую-то злобу, приказал отсчитать ему по голому телу по сто ударов кнутом с обеих сторон (kazał bizunem okrutnie po gołym ciele po sto plag z obu stron wyliczyć). Возный, удостоверяя этот факт вместе со шляхтой и мужами, заканчивает свою реляцию такими словами: «Видели такие большие знаки жестокого избиения, как будто тело ножом вырезано с обеих сторон; видел также крестьянский и помещичий яровой посев — овес, горох, гречиху и ячмень — потравленным и вытоптанным скотом Войны»[3]. Не уступали в жестокости шлятхичам и шляхтянки. В 1724 году княгиня Марианна Радзивилл, крайчина вел. кн. Литовского, жаловалась на Петрунелю Оржешко, войскую мельницкую, что последняя постоянно угрожала ее подданным, жившим в селе Бельчицах Новогрудского повета, наконец, управляющий пани Оржешко, по ее приказанию, избил, окровавил и искалечил в поле девушку княгини Радзивилл,

[1] О нападении крестьян на вооруженных жолнеров в актовых книгах не упоминается, но шляхта и такие сильные корпорации, как иезуитские коллегии, иногда расправлялись с ними с большою жестокостью. Приведем один случай. Капитан одного драгунского полка Иоганн Веиорский, проезжая мимо Пинска 28 января 1667 года, заехал по своим делам в этот город и остановился в доме цирулика еврея Мордухая. 30 января он послал драгун Николая Скурата и Григория Афанасевича и подростка Андрея Марциновского разыскать купленные им вещи. В это время вооруженные саблями бурсаки Пинской иезуитской коллегии (не известно, сказано в жалобе Веиорского, по приказанию своего ректора, ксендза Станислава Тупика, или по своему умыслу) выскочили со своими помощниками из бурсы и, догнавши упомянутых драгун недалеко от богадельни отцов иезуитов, без всякой причины жестоко и немилосердно их посекли, изранили и искалечили, особенно подростка Марциновского; при этом бурсаки ограбили драгун: у Николая Скурата взяли наличными деньгами 12 злотых, шапку фалендышевую (из тонкого английского сукна), стоящую 8 злотых, и посекли и искалечили его коня, стоящего 70 злотых; у Григория Афанасовича взяли голубой люндашовый (тонкого сукна) кунтуш, стоящий 20 злотых, шапку голубую фалендышовую, стоящую 8 злотых, и у подростка Андрея шапку, стоящую 4 злотых, и пояс, стоящий 3 злотых. Капитан Веиорский в тот же день отправил Грегиера Лупинского, фурьера своей хоругви, с жалобою к отцам иезуитам, но иезуиты не только не подвергли взысканию своих бурсаков, а еще чрез ксендза Фортуната дали такой ответ: «Жалеем, что не приказали в колокола ударить и вас всех уничтожить» (źałuiemy tego, ze nie kazalisme we dzwone uderzye y was wssystkiech zhosic). Виленск. Центральный Архив, кн. № 13019, л. 289.

[2] Виленский Центр. Арх., кн. № 13013, л. 199; кн. № 12525, л. 937.

[3] Ibid., кн. № 66 (131), л. 366.

так что она не могла отбывать барщины; избил также одного крестьянина и двух евреев, из которых один скоро умер, а другой очень долго лечился у цирюльника и не мог платить арендных денег[1]. Еще большую жестокость проявила другая шляхтянка. В 1666 году пан Николай Кунцевич жаловался, что пани Марианна Яниковская, желая добиться по одному делу сознания у крестьянина из имения Поречье Пинского повета, приказала привязать его обнаженным к скамье за ноги и руки и бить розгами и мучить на ее глазах, а потом и «сама своими руками, как адская фурия (jako furia piekielna), не насытившаяся кровью человеческою, мучила его и издевалась над ним»[2]. Хуже всего приходилось крестьянам во время наездов панов друг на друга. Поссорятся, например, два соседних пана, и вот один из них собирает свою дворню и ближайшую мелкую шляхту и вооружает их как обычным оружием, относящимся к бою (do boiu należytym, armata m nu), так и необычным — палками, цепами, косами, топорами, кто что мог иметь. С таким импровизированным войском воинственный пан нападал на имение своего врага, и тут уже никому не было пощады: били, грабили, увечили, иногда убивали не только самого владельца и членов его семьи, но и его крестьян[3].

VII

Наказания, каким подвергались крестьяне. — Обычай обращения лучших крестьянских участков в пользу двора. — Бедность крестьян. — Отзывы современников о положении крестьян. — Сравнение западно-русских крестьян с великорусскими по их экономическому положению.

Имея право жизни и смерти над своими крестьянами, помещики могли подвергать их каким угодно **наказаниям**; в этом отношении права их были вполне неограниченны. На основании инветарей можно установить, за какие проступки и каким наказаниям подвергались крестьяне. Например, в старостве Рекантишском Трокского повета полагалось 15 ударов веревками (postronkami, powrozami) за опоздание на барщину[4]; в Полангенском старостве Ковенской губернии крестьяне обязаны были на своих низких полях проводить канавы для стока воды, но если кто-нибудь из них этого не исполнял, то платил 5 талеров (около 50 злотых) штрафа и подвергался 50 ударам веревками; в том же старостве за установку в лесу силков (sideł) для ловли птиц виновный подвергался штрафу в 10 талеров и 100 ударам веревками[5]; в имении Раклишках Лидского повета за неоднократную неявку на барщину виновный подвергался, как уже сказано выше, бичеванию у столба[6], а при описании построек имения Шелели Ковенской губернии встречается такая подробность: в каморе (при кухне) четыре больших хороших хозяйских жернова и железная цепь для двух лиц (łancuch żelazny na osoby dwie), вделанная в стену; весьма возможно, что посаженные на цепь люди должны были еще вертеть жернова[7]. Наконец, в некоторых имениях крестьяне подвергались телесным наказаниям даже за неаккуратное посещение костела. Так, в вышеназванном

[1] Ibid., кн. № 12525, л. 957.

[2] Ibid., кн. № 13012, л., 749.

[3] Реляции, или донесения, ввозных о наездах панов друг на друга назывались *обдукциями.* Таких обдукций в актовых книгах Виленского Центрального Архива встречается очень много, особенно в XVIII веке. Например, в книге Ковенского земского суда под № 13809 за 1795—1797 гг. находится 16 обдукций, в книге Россиевского гродского суда под № 14572 за 1795—1797 гг. — также 16 обдукций и в книге Ковенского городского магистрата под № 13876 за 1793—1796 гг. — 11 обдукций.

[4] «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 23.

[5] Ibid., кн. № 9.

[6] «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XIV, стр. 315.

[7] «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 85.

старостве Рекантишском сделано было владельцем следующее распоряжение: «По всей волости Рекантишской должно быть чрез лавников и осочников строго объявлено, что если кто в воскресенье или какой-нибудь другой торжественный праздник не пойдет на обедню или, чего Боже сохрани, пойдет в лес с ружьем, или с топором, или за грибами, ягодами и орехами, такой подвергается 45 ударам веревками и дает на приходской костел 3 фунта воску[1].

Вообще наказания крестьян помещиками упоминаются во многих инвентарях, но в большинстве случаев без обозначения количества ударов.

Свой произвол по отношению к крестьянам помещики проявляли еще обращением лучших крестьянских участков в пользу двора, взамен которых давались крестьянам другие худшие. Подобные распоряжения помещиков незачем было заносить в какие бы то ни было актовые книги, поэтому попадали они в инвентари совершенно случайно. Приведем один такой случай. В 1773 году был упразднен папой орден иезуитов, и все их имения, расположенные в пределах Польского королевства, перешли в казну. Принимая одно из таких имений, Иванчицы Пинского повета, королевские люстраторы сделали следующее изменение в прежнем инвентаре: «Был обычай давать от каждой уволоки подводу за 30 миль или платить 24 злотых подорощизны; однако, имея в виду убожество крестьян вследствие недавнего отнятия у них для двора самой лучшей пахотной земли и сенокоса и предоставления им неудобных песков и болотистых долин, с которых они никогда не могут собрать достаточного пропитания ни для себя, ни для скота, а также принимая во внимание, что они с этой скудной земли отбывают барщину, которая вместе с несправедливо возложенной на них подорощизной довели их до крайней нищеты и оставили их без всяких средств (z których uciskow przyszli do ostatniey nędzy y beź źadnego sposobu zostaią), мы уничтожаем означенную подорощизну, а вместо нее устанавливаем чинш по 12 злотых с уволоки вместо вносимых прежде 2 злотых[2]. В этом имении крестьяне отбывали с 1 уволоки следующие повинности: барщины — 8 дней в неделю, гвалтов — 9 в год, шарварков — сколько нужно будет, овса давали 1/2 бочки (на 2 зл.), хмелю — 1 бочку (на 4 зл.), грибов — 4 копы (на 40 грошей), нерет, или жаков (сеток, натянутых на обручи) — 4 штуки (на 40 грошей) и корзинок для ловли вьюнов — 4 шт. (на 24 гроша). Зная обо всех этих повинностях, а также и о том, что иванчицкие крестьяне доведены уже до крайней нищеты, люстраторы признали справедливым уменьшить денежную подать только на 14 злотых, оставляя, кроме издельной повинности, всех даней и платежей на 21 злот 14 грошей. Этот факт свидетельствует, что и королевские чиновники, подобно помещикам, смотрели на крестьян как на существа, которые должны влачить самое жалкое существование.

Произвол помещиков и тяжелые повинности, которыми обременены были крестьяне, послужили причиною не только приниженности и забитости последних, но и крайней их бедности. В обширном и благоустроенном имении Ортели, приписанном к Бельскому графству князя Радзивилла, установлены были (в 1787 г.) следующие степени кредитоспособности и состоятельности крестьян: «Тем же подданным арендаторы не должны давать взаймы более 10 злотых богатым, 6 злотых среднесостоятельным и 2 злотых бедным; богатым же разумеется тот, кто имеет две запряжки и немало нерабочего скота, среднесостоятельным — тот, кто имеет половину того, что имеет богатый, бедным — тот, кто имеет половину

[5] Налагая такое строгое наказание на крестьян за сбор лесных продуктов в праздничные дни, владелец тем не менее требовал этих продуктов с каждого двора в следующем количестве: по 1 венку грибов и по 1 гарнцу орехов и разных ягод. Любопытно также распоряжение владельца относительно ружей, о которых было упомянуто в вышеприведенном объявлении: «разрешаю своим крестьянам, — говорит владелец, — иметь ружья, но если кто убьет какую-нибудь птицу или зверя, должен доставить их, под страхом штрафа и наказания, двору, а последний обязан вознаградить охотника за порох и труд» (Ibid., № 23).

[2] Вилен. Центр. Архив, кн. № 13199, л. 250.

или менее того, что имеет среднесостоятельный»[1]. Следовательно, среднесостоятельным, по тогдашним понятиям, признавался такой крестьянин, который имел запряжу из двух волов. Но очень часто крестьяне имели только по одному волу; таких крестьян, ради их бедности (dla ich ubóstwa), помещик снабжал *скарбовым*, или дворовым, волом, так как без этой помощи они не могли бы исправно отбывать возлагавшихся на них повинностей. Скарбовые волы упоминаются во многих инвентарях. Так, в имении Дрогичин Пинского повета из 47 хозяев 23 имели по одному скарбовому волу[2], в имении Светляны Ошмянского повета из 15 хозяев 5 имели по скарбовому волу[3], в имении Станиславово Лидского повета из 18 хозяев 8 имели по скарбовому волу[4] и т. д. Иногда крестьяне вместо одного вола имели полконя, т. е. два крестьянина сообща владели одною лошадью, но бывали и такие случаи, что крестьяне не имели никаких домашних животных. Например, в инвентаре имения Мойсеевки Мозырского повета (составленном в 1667 году при отдаче имения в заставу Лешкевичем земскому судье Оскерке) записано 20 крестьян со следующими замечаниями: Каленик — на дворовой работе, Левон — имеет вола, Зайко — $^1/_2$ коня, Карп — $^1/_2$ коня, Улас — ничего не имеет, Огей — ничего не имеет, Федор Дегтяренко — имеет вола, Радюк ничего не имеет, Пляс — имеет вола, Васько — имеет вола и теленка, Яцко — имеет вола, Юрка — ничего не имеет, Мицюра — тоже, Василенко — тоже, два портных — тоже (на дворовой работе), войт Лесневич — имеет двух волов, вдова Павлиха — ничего не имеет, кузнец — имеет лошадь и корову и Кузьма — ничего не имеет. Таким образом у 20 крестьян-хозяев показано всего 7 волов, 2 лошади, 1 корова и 1 теленок; а между тем эти крестьяне должны были отбывать по 4 дня (2 мужских и 2 женских) в неделю барщины, а также платить подати (podatki), чинш и давать хлеб (zboze) по соглашению (umiarkowaniu) с ними владельца[5].

Такая бедность западно-русских крестьян поражала как иностранных, так и польских наблюдателей. Русский помещик Д. Б. Мертваго, проезжавший в 1789 году через Литву, говорит, что у него «надседалося сердце от жалости и досады. Богатая земля населена людьми, томящимися в работе, и глупые паны, водимые жидовскими плутнями, управляют с необузданною властью крестьянами, доведенными до совершенной нищеты. Обычай отдавать имения в аренду уничтожил всякое человеколюбие и промышленность… Много наезжал я таких селений, где нельзя было достать кусок хлеба, а между тем в городах царствовали беспутная роскошь и сластолюбивая праздность… Грабеж (повсюду) бессовестный и бесстрашный»[6]. Еще более мрачными красками рисуют нам положение сельского населения под польским владычеством в конце XVIII века сами поляки. Вот, например, что говорит об этом известный польский публицист Сташиц: «Пять частей польского народа стоит у меня пред глазами. Я вижу миллионы творений, из которых одни ходят полунагими, другие покрываются шкурой или сермягой; все они высохшие, обнищавшие, обросшие волосами, закоптевшие, грустные и глупые, с глубоко впавшими глазами, они беспрестанно вздыхают; они мало чувствуют и мало думают, и в этом их величайшее счастье. В них едва можно заметить разумную душу. Наружность их с первого взгляда выказывает более сходства со зверем, чем с человеком. Они носят позорное имя хлопа. Пища

---

[1] Ibid., № 7406, л. 655.

[2] «Акты Вилен. Арх. Ком.» т. XXXV, № 68.

[3] Ibid., № 77.

[4] Ibid., № 81. См. также № 46, 49 и др.

[5] Приведем здесь, кстати, описание Мойсеевской церкви: «В этой деревне церковь с образами и окнами (smolanemi) и колокольня на столбах (na sochach) без колокола, а с железным клепалом (klepadlo źelazne)». Следовательно, Мойсеевские крестьяне были так бедны, что не имели возможности повесить на своей жалкой колокольне хоть малый колокол, а сохраняли у себя остаток седой старины — клепало (Вилен. Центр. Арх., кн. № 12344, л. 127).

[6] «Русский Архив» 1867 г. Приложение, стр. 134.

их — хлеб из непросеянной муки, а в течение четверти года — одна мякина; их напиток — вода и жгущая внутренности водка. Жилищами им служат ямы или немного возвышающиеся над землею шалаши: солнце не имеет туда доступа, они наполнены только смрадом да тем благодетельным дымом, который, вероятно, для того, чтобы они менее смотрели на свою нужду, лишает их света и, чтобы они менее страдали, днем и ночью душит их и укорачивает их жалкую жизнь, но особенно убивает малюток. В этой смрадной и дымной темнице хозяин, утомленный дневной работой, отдыхает на гнилой подстилке; рядом с ним спят нагишом малые дети на том же ложе, на котором стоит корова с телятами и лежит свинья с поросятами… Добрые поляки! Вот роскошь той части народа, от которой зависит судьба вашей Речи Посполитой. Вот человек, который вас кормит. Вот положение земледельцев в Польше»[1]. Эта характеристика быта сельского населения, сделанная Сташицем, относится к польским крестьянам, но она вполне применима и к крестьянам западно-русским, так как последние, по отзывам многих современников, были беднее и приниженнее польского хлопа[2]. Вообще положение польских и западно-русских крестьян было хуже не только положения западно-европейских, но даже и великорусских.

Главное преимущество великорусских крестьян пред западно-русскими заключалось в том, что почти половина их состояла на оброке, между тем как в Польше и Литве оброчная система хозяйства почти не практиковалась. Известный историк В. И. Семевский, установив самым точным образом, что оброчные крестьяне в Великороссии в XVIII веке составляли 44 % всего числа крепостных, говорит в заключение следующее: «Огромное значение в истории крепостного права в России имеет то, в какой степени были распространены оброчная и барщинная системы хозяйства. Оброчные крестьяне находились в гораздо более льготном положении: они в весьма значительной степени пользовались самоуправлением, были гораздо более, чем барщинные, удалены от помещичьего произвола, и мы знаем даже один случай, когда весьма сложное хозяйство с фабрикой, с отправкою значительного количества хлеба по Волге и т. п. было передано в полном составе крестьянам за уплату известного оброка; такая крестьянская община самостоятельно вела обширные хозяйственные предприятия до тех пор, пока исправно уплачивала свой оброк господину»[3]. Затем в Великороссии существовал многочисленный класс государственных крестьян, которые пользовались сравнительно очень широкой свободой, тогда как в Польше и Литве большая часть коронных имений составляли староства, отдававшиеся в пожизненное владение частным лицам. Наконец, лучшему положению великорусских крестьян сравнительно с западно-русскими содействовали, по словам г. Мякотина, еще следующие две причины: «Это — община, сохранившаяся в русском крестьянстве, и отсутствие той арендной системы, которая так губительно влияла на положение крестьян в Польше. В России невозможно было для помещика, несмотря на всю силу его произвола, лишить всех своих крестьян земли и заставить их работь исключительно на себя, как это делали иногда польские помещики; правда, что кроме инертной силы сопротивления общины, здесь влияла, как заметил еще раньше один исследователь (Де-Пуле), и самая низкая степень земледельческой культуры в России: русским помещикам самим прежде всего были бы невыгодны подобные действия. Отсутствие арендной системы также влияло в благоприятном смысле на положение крестьян, устрання возможность злоупотреблений, разрушавших крестьянское хозяйство.

[1] В. Мякотин: «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов», стр. 77—78.

[2] Англичанин Сохе в описании своего путешествия говорит: «Чем больше мы приближаемся к Литве, тем чаще встречаются нам евреи, тем беднее становится вид сельского населения». То же самое говорят и польские авторы (В. Мякотин: «Крестьянский вопрос в Польше», стр. 80).

[3] «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II», т. I, введение, стр. XI.

Даже самый помещичий произвол, бесспорно существовавший и у нас и доходивший до полной дикости, навряд ли мог равняться с произволом польских панов: в Польше государственная власть отказалась от всякого вмешательства в отношения между помещиками и крестьянами еще в XVI веке, в России это же произошло только к концу XVIII века. Но оставляя и это в стороне, предполагая совершенно равное участие помещичьего произвола в судьбе русских и польских крестьян, мы должны будем все-таки сказать, что положение первых было значительно лучше, так как они не испытывали такой эксплуатации своего труда, какая выпала на долю их польских собратьев; русские помещики если и эксплуатировали труд своего крестьянина, то лишь непосредственно самый труд, не прибегая к таким средствам, как пропинация и запрещение торговли в селах помимо двора. Немудренно поэтому, что русские помещики, увидавши быт польских крестьян, удивлялись их печальному положению так же, как и западные путешественники»[1].

VIII

Побеги крестьян. — Опасности, каким подвергались беглые. — Побеги крестьян в Северо-Западной и Юго-Западной Руси. — Насилия крестьян над помещиками. — Гайдамаки.

Тяжелое положение западно-русских крестьян доводило их до отчаяния и заставляло искать спасения в бегстве. Но побеги крестьян сопровождались величайшими для них опасностями. Пока крестьянин находился в своем селе, закон хотя и не оказывал ему защиты по отношению к его владельцу, но последний, соблюдая свои собственные интересы, старался оградить личность и имущество своих крестьян от посягательства на них со стороны других шляхтичей. После же бегства крестьянин лишался единственного, законом признаваемого защитника и должен был, подобно самому обыкновенному бродяге, безропотно выносить всякие обиды от первого встречного. Например, если какой-нибудь шляхтич встречал на дороге беглых крестьян, то он или выдавал их прежнему владельцу, или водворял в своем имении, или же отнимал у них скот и другое имущество, а самих прогонял. Сами владельцы, узнав о побеге своих крестьян, немедленно снаряжали погоню, и если настигали беглецов, подвергали их жестоким наказаниям. В то же время принимало меры против побегов крестьян и польское правительство. Так, с конца XVI и по конец XVII века, т. е. в течение только одного столетия, сеймы издали 42 постановления о беглых, из которых 20 относится специально к областям бывшего великого княжества Литовского. Этими постановлениями 1) воспрещалось шляхтичам принимать, под опасением штрафа в 100 гривен, слуг и крестьян, если они не предъявят письменного свидетельства от владельца, на земле которого жили прежде, что они свободны, высидели у него обязательный срок и уплатили выход; 2) за принятие чужих крестьян устанавливался штраф в 500 гривен за каждого крестьянина, а впоследствии штраф этот был увеличен до 1000 гривен; 3) за неявку в суд по первому требованию в деле о передержательстве беглых крестьян, а также при малейшем сопротивлении выдать их и уплатить штраф, виновный подвергался баннициии, т. е. изгнанию и лишению всяких гражданских прав; 4) иски о беглых крестьянах разрешалось вести в ближайшем городе, не стесняясь местом жительства истца и ответчика и т. д.[2] Сколько, однако, ни хлопотали польские сеймы, сколько ни

[1] «Крестьянский вопрос в Польше», стр. 81—82.
[2] См. Volumina legume: т. II, стр. 166, 176, 185, 189, 208 и 269; т. III, стр. 24, 337 и 456; т. IV, стр. 14, 20, 329, 376, 438, 471; т. V, стр. 230, 327 и 367.

гонялись за беглыми сами владельцы, побеги крестьян не прекращались как в Северо-Западной, так и в Юго-Западной Руси.

Древнейшие известия о побегах крестьян в Северо-Западной Руси относятся к концу XVI века. Так, в книге Упитского земского суда за 1585—1587 годы находится 18 актов, в которых говорится о беглых[1]. В этой же книге находится 13 актов о «выводе» крестьян[2]. В последующие века количество беглых, по-видимому, не уменьшается. Приведем несколько примеров из инвентарей XVIII века. Из имения Мельники Ошмянского повета сбежал один крестьянин с семьей сам девять[3]; из им. Помуша Упитского повета сбежали один крестьянин с семьей, два без семьи и две женщины[4]; из староства Радость Бресткого повета сбежали две крестьянские семьи[5]; из имения Подбиржи Упитского повета сбежало трое юношей, из которых один тотчас после порки розгами (po wycwiczeniu[6]; из имения Войдзюлишки Виленского воеводства в 1796 году убежало семь человек с женами и детьми, а раньше, в различное время, убежали двадцать пять семейств, причем некоторые из этих беглых, по заявлению самого владельца Кордзюка, были выведены (wyporowadzeni)[7]. На значительное количество беглых указывает обилие пусток, или пустошей, т. е. свободных участков, оставшихся после сбежавших (wyszłych) крестьян. Например, в имении Мейшагол Виленского повета было 10 пусток[8], в имении Ходилонь Лидского повета было 11 пусток[9], в имении Кляпине Речицкого повета было 6 пусток[10], в им. Савиничах Мстиславского воеводства было 14 пусток[11] и т. д. Насколько обычны были побеги крестьян, видно также из того, что некоторые арендаторы включали в арендный договор условие, в силу которого вотчинный владелец лишался права привлекать их к ответственности за побеги крестьян[12]. Из Ковенской губернии, как пограничной, некоторые крестьяне уходили в Пруссию, а из Минской — на Волынь, но подобные случаи бывали очень редко. Обыкновенно беглые не выходили из пределов своей родины и оседали где-нибудь поблизости на землях других владельцев (gdzie indziey osiedli)[13], а чтобы их не могли отыскать, переменяли свои фамилии (zwykło odmiano y dobranien kilka nazwisk znayduią się), как об этом свидетельствует вышеупомянутый помещик Кордзюк. Эти новые поселенцы назывались новиками, слобожанами, захожими, прихожими и даже чужопанцами (cudzopaniec) и в течение известного времени, до окончания свободы (do wyisci słobody), пользовались различными льготами[14]. В некоторых имениях число новых поселенцев было весьма значительно. Например, в имении Подбиржи Упитского повета в 1755 г. было 26 крестьян, из которых только семь были крепостными (wieczysty z dawnych czasow), а все остальные — позднейшие переселенцы[15]. Некоторые из переселенцев, взявшие у помещика «запоможене» деньгами, домашними животными и хлебом, заключали с ним договор, которым признавали себя со своими семьями на веч-

[1] См. «Опись документов Виленск. Центр. Архива», вып. VII, № 132, 293, 783, 825, 1054, 1119, 1180, 1200, 1208, 1237, 1238, 1525, 1526, 1527, 1561, 1163 и 1185.
[2] Ibid.,№ 161, 693, 825, 1063, 1073, 1074, 1075, 1103, 1150, 1166, 1227, 1378, 1509 и др.
[3] «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 17.
[4] Ibid., № 29.
[5] Ibid., № 70.
[6] Ibid., № 8.
[7] Вил. Центр. Архив., кн. № 14225, л. № 64.
[8] «Акты Вил. Арх. Ком.», т. XXXV, № 4.
[9] Ibid., № 20.
[10] Ibid., № 13.
[11] Ibid., № 31.
[12] Ibid., № 82.
[13] Ibid., № 70.
[14] Ibid., № 87.
[15] Ibid., № 8.

ные времена его отчичами, или крепостными[1]. Иногда помещики знали, где находятся убежавшие от них крестьяне, но, при отсутствии в Польше сильной исполнительной власти, не всегда могли возвратить их. Ввиду этого они придумывали всевозможные меры против крестьянских побегов и, между прочим, обязывали самих крестьян следить друг за другом. Так, в имении Засекле и Гражине Оршанского повета, принадлежавшем в 1688 году Георгию и Адаму Рутским, все крестьяне обязаны были наблюдать, чтобы кто-нибудь из них не ушел прочь, под тяжелой карой по двести веревок и по двести (?) коп штрафа на каждый двор во всей деревне, и если бы кого-нибудь из своей среды по недосмотру упустили, то, получивши удары и заплативши штраф, обязаны были сбежавшего хлопа на свой счет отыскать, посадить на прежнее место и дать ему вспомоществование, если бы он обеднел (zubożał), а пока хлопа отыщут, сами обязаны были за него отбывать барщину[2].

Побеги крестьян в Юго-Западной Руси, по словам профессора Антоновича, приняли значительные размеры уже в XVII веке. Крестьяне из Полесья, Волыни и западного Подолья бросали тяжелые условия быта и бежали то в одиночку, то целыми толпами в степную Украйну, где еще много было незаселенных мест. Туда манили их льготные условия, дававшие возможность рассчитывать хоть на временное облегчение тяжелого их экономического состояния. Нередко сами владельцы, сильно нуждаясь в рабочих руках, являлись на Волынь и Полесье, разъезжали по селам и переманивали чужих крестьян к себе на «слободу», или «выкачивали» их, по техническому выражению того времени. Особенно усилились побеги крестьян в первой половине XVIII века. Так, в одной только Киевской декретовой книге помещено 95 приговоров по поводу передержательства беглых крестьян, в другой декретовой Винницкой таких приговоров 34, в третьей Киевской записано 56 жалоб по поводу крестьянских побегов. Об огромной численности беглых можно заключить из жалоб некоторых помещиков. Например, Шлюбич-Заленский жаловался, что из его села бежали в один раз 14 крестьян с семействами и имуществом; Иосиф Потоцкий требовал у Конских возврата перебежавших к ним из его имений 30 крестьянских семейств; Стецкий отыскивал 30 бежавших семейств и т. д. Разные административные и законодательные меры не могли ни прекратить, ни даже ослабить количество побегов; только полное заселение Украйны и водворение в ней достаточного количества крестьянских рабочих сил могло повлиять на уменьшение побегов или, по крайней мере, на прекращение бегства крестьян из более отдаленных местностей. Условие это и выполнилось к концу XVIII века, и в это время количество дел о беглых крестьянах значительно уменьшается[3].

Если крестьянам не удавалось освободиться от своих притеснений бегством, то, не находя законного выхода из своего невыносимого положения, они иногда

---

[1] Вот один из таких договоров: «Году от нароженя сына Божого тисеча шестсот трынадцатого м-ца Марца пятого дня. Я, Юры Матеевич, чоловек похожый, вызнаваю тым своим листом, добровольным записом, иж я принявшы оселост под его милостю паном Рафалом Андреевским на именю его милости Зарецком, в повете Упитском лежачом, до того запоможенем од его милости взялом не малое, а то ест штом взял запоможеня готовых пенезей коп тры и грошей чотырнадцат, также розным быдлом и розным збожем засевки, чого всего пораховавшы чынит на осм коп грошей литовских, а за тое все с того кгрунту маю и тым листом моим описуюсе, прымуючы собе его милости за пана вечного, его милости верне служыт, яко розказане и воля его милости, о котором часе будет и вжо его милости, яко природным паном своим одступовати и одходити не маю и мочы не буду вечными часы, а где бым одступил не ведоме од его милости и отышол, тогды его милость не толко того запоможеня, што мне от его милости дано ест, але и мене самого у кождого пана суду и права за власного очыча своего отыскати моцен и волен будет…» (Вилен. Центр. Архив., кн. № 15193, л. 348).

[2] Вил. Цент. Арх., кн. № 1550, л. 368.

[3] См. о побегах крестьян в Юго-Западной Руси соч. В. Б. Антоневича: «Архив Юго-Зап. России», часть VI, т. II, предисловие стр. 27—36.

мстили им поджогами и убийствами. Так, некий пан Матыс Харковский, живший в селе Кобче Луцкого повета, в 1582 г. жаловался, что во время его отсутствия человек пятнадцать крестьян пришли в его двор, заперли камору, где были его жена и дети, а прислугу заперли по ее избам, и подожгли двор; хотя люди успели спастись, но все постройки и движимое имущество погибли. По словам Харковского, крестьяне поджигали его двор пять раз[1]. В 1563 г. крестьяне имения Ляховец Кременецкого уезда напали на двор своего помещика, пана Матвея Сенюты, и, вломившись в светлицу, убили его[2]. В 1659 году была убита своими крестьянами помещица Ефризина Вильская в селе Юрковичах Пинского повета[3]. Особенно жестоко расправились со своими помещиками крестьяне Польской Украйны, которые находили в себе достаточно силы даже для открытого бунта. «С тех пор, — говорит В. Мякотин, — как левобережная Украйна отошла под власть Московского государства, в Польше почти, можно сказать, не оставалось казачества в старом значении этого слова: казаки в большинстве перешли к России, а вместе с ними исчезла из Польской Малороссии и та крепкая опора русской национальности и православной веры, какую они представляли из себя. Теперь, когда не стало этих могучих защитников, польским и ополяченным панам предоставлялась, по-видимому, полная возможность угнетать и теснить православное русское население, состоявшее преимущественно из крестьян. Не так, однако, вышло на деле. В угнетениях не было недостатка, но крепкий дух малорусского народа, не сломленный польским владычеством, сказался и тут. На место казаков явились новые защитники угнетенного народа и его «хлопской веры», явились из среды того же народа и получили имя «гайдамаков». Медленно и постепенно развивалось это новое народное движение, начавшееся с простых разбоев и превратившееся под конец в постоянное, строго организованное восстание. В рядах гайдамаков были и русские, и польские обедневшие шляхтичи, и молдаване с валахами, но главный контингент их составляли всегда малорусские крестьяне, к которым присоединялись и беглые крестьяне из чисто польских областей. Каждый год с весною шайки гайдамаков собирались вокруг своих «ватажков» и рассыпались по всей Украйне, разнося с собой гибель и разорение помещикам и их дворам. У крестьян они всегда находили приют и убежище, с помощью их разузнавали все, что делалось в окрестности на далекое расстояние, и благодаря этому сочувствию и содействию крестьянского населения, они становились почти непреодолимой силой, тем более еще, что главная военная сила Украйны, надворные казаки различных панов, набиравшиеся из тех же крестьян, не имели никакой охоты биться с ними за панов, равно им ненавистных. Ввиду этого гайдамаки часто могли безнаказанно грабить и даже убивать панов и их управителей, вымещая на них все угнетения, терпимые крестьянами»[4]. С течением времени гайдамачество все более и более принимало характер народного движения и, наконец, в 1768 году разразилось страшным бунтом Железняка и Гонты, во время которого много погибло панов и арендаторов евреев. Но этот бунт, как и все другие протесты крестьян, не улучшили их положение, и оно продолжало оставаться таким же тяжелым, как и было.

IX

Воссоединение Западной России с Великой Россией. — Ухудшение экономического положения западно-русских крестьян. — Развитие продажи крестьян без земли. — Случаи закрепощения вольных людей. — Усиление власти помещиков. —

[1] «Архив Юго-Западной России», ч. VI, т. I, стр. 128.
[2] Ibid., № 45.
[3] Виленск. Центр. Арх., кн. № 13012, л. 991.
[4] «Крестьянский вопрос в Польше», стр. 85—86.

Отношение польской шляхты к крестьянскому вопросу. — Движение в русском обществе против крепостного права. — Меры русских государств к улучшению положения крестьян. — Манифест 19 февраля 1861 г.

В конце XVIII в. Западная Русь воссоединилась с Великой Россией. С этого времени западно-русские крестьяне опять сделались русскими подданымы, но на первых порах положение их от этого нисколько не улучшилось.

Прежде всего нисколько не улучшилось *экономическое положение* крестьян. Польская шляхта, лишившись права жизни и смерти над своими поддаными[1], во всех других отношениях вполне сохранила свою власть над ними. Она по-прежнему могла устанавливать какие угодно повинности, а так как повинности эти в течение XVIII века все более и более возрастали, то неудивительно, что они продолжали возрастать и при русском управлении.

Выше уже было сказано, что именно в это время во всей Западной России крестьянские повинности достигли весьма значительных размеров. Так, в одних имениях очень увеличилось число сверхбарщинных рабочих дней, в других — количество дани натурою, в третьих — количество денежных платежей и т. д. Например, в большом имении Козяны Виленской губернии, пожалованном в 1797 году императором Павлом I графу Манузи, крепостные с $^1/_4$ уволоки отбывали следующие повинности: барщины — по 3 дня в неделю, чинша платили по 100 злотых, сухой (?) аренды — по 9 злотых и по несколько злотых за котлы; кроме того, каждый крестьянин должен был дать помещику половину собранного им меду и поставить одну подводу в Ригу, которая оценивалась в 40 злотых[2]. На Волыни каждое крестьянское семейство отбывало в начале столетия 194 рабочих дня, в конце — 240; в Полесье в начале столетия — 114 дней, в конце — 200, а в полосе, лежащей на границе Полесья и степной Украины, общая цифра крестьянских повинностей к концу столетия утроилась[3]. Таким образом, экономическое положение крестьян как в Северо-Западной, так и в Юго-Западной России продолжало ухудшаться и после воссоединения этих областей с Великой Россией. Исключение составляли только крестьяне, перешедшие в собственность русских помещиков, так как последние очень часто переводили крестьян с барщины на оброк, а оброчная система хозяйства, по выражению В. И. Семевского, «должна считаться шагом вперед в жизни крепостных»[4].

Затем в западно-русских областях значительно усилилась *продажа крестьян без земли.* Этому способствовало, главным образом, то обстоятельство, что великорусские помещики охотно стали покупать здесь крестьян для отдачи

---

[1] В России дворянство таким правом никогда не пользовалось. Вот что говорит об этом проф. Романович-Славатинский: «Правда, у нас никогда не существовало права жизни и смерти помещиков над крестьянами, подобно тому, как это было в Польше. Потемкин, купив у Ксаверия Любомирского имение, дал ордер своему управляющему: «Все находящиеся в купленном мною у князя Любомирского польском имении виселицы предписываю тотчас приказать сломать, не оставляя и знаку оных» («Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права», стр. 317).

[2] Вилен. Центр. Арх., кн. № 12054, л. 519.

[3] В. Б. Антонович. «Арх. Юго-Зап. России», ч. VI, т. II, предисловие, стр. 42, 46 и 51.

[4] В Витебской и Могилевской губерниях, тотчас после присоединения их к России, императрица Екатерина II начала щедро раздавать населенные имения русским людям, а эти последние начали вводить там, по примеру Великороссии, оброчную систему хозяйства. Из кратких описей имений, составленных во время генерального межевания в конце XVIII века (описи эти хранятся в Межевом Архиве, в Москве), видно, что в двух названных губерниях в то время числилось крестьян 568 942 души мужского пола, из которых 89 226 д. м. п. были переведены на оброк русскими помещиками, а 22 586 д. м. п. — поляками, главным образом Сапегой (11 914 д. м. п.) и иезуитами. Средний размер оброка был следующий: с одной ревизской души — от 2 до 4 руб., или с одного венца, т. е. с одного взрослого мужчины и одной женщины — от 4 до 5 руб., или с одной уволоки земли — от 10 до 15 рублей.

их в рекруты за свои вотчины. Первый белорусский генерал-губернатор, граф Чернышев, тотчас обратил на это внимание и, опасаясь, чтобы от вывода людей в другие губернии не уменьшились сборы в казну, так как белорусские крестьяне обложены были большими налогами, чем великороссы[1], обратился в Сенат с ходатайством о разрешении продажи крестьян только внутри Белорусских губерний и о воспрещении вывоза их в Великороссию. Но Сенат не уважил ходатайства графа Чернышева и особым указом от 15 октября 1776 г. разъяснил, что нельзя отнимать свободы у белорусских владельцев в продаже людей без земли, так как им дано право пользоваться теми же привилегиями, какими пользуется и все русское дворянство[2]. Белорусские помещики поспешили воспользоваться таким разрешением Сената, и скоро торговля крепостными людьми в Белоруссии приняла самые обширные размеры. Например, в Витебском и Рогачевском уезде только в течение тринадцати лет, а именно: с 1783 по 1796 годы было продано 48 семейств, состоявших из 182 душ, и отдельно от семейств 113 мужчин, 48 девушек и 39 мальчиков, а всего 382 души. Продавали крестьян, главным образом, местные помещики-поляки, из которых особенно выделяются следующие: Игнатий Казимирович на Халчи Халецкий, камергер польского двора и маршалок Речицкого повета, продавший в течение четырех месяцев 16 мальчиков и 2 крестьян; Григорий Викентьевич Малиновский, коллежский секретарь, шамбелян польского двора, продавший в течение двух лет 1 семейство из 6 душ, 6 мальчиков и 1 девушку; Фелициан Александрович Быковский, Рогачевский предводитель дворянства, продавший одно семейство из 5 душ, 3 мальчиков и 1 крестьянина. Некоторые помещики продавали своих крепостных крестьян через поверенных, которые иногда прямо отсылали своих людей, преимущественно мальчиков, с просьбой продать их, «ежели будут на оных желающие купцы». Цены на крестьян в среднем выводе можно признать следующие: крестьянское семейство ценилось около 75 рублей, взрослый мужчина — около 50 рублей, мальчик — около 15 рублей и девушка — около 10 рублей[3].

Далее, ухудшилось положение *вольных людей*, живших в имениях частных владельцев по контрактам. После присоединения к России губерний Витебской и Могилевской в 1772 году русская администрация не сделала никакого распоряжения относительно этого класса сельского населения, поэтому во время первой ревизии вольные люди были записаны за теми владельцами, на чьих землях они жили. Такое незаконное закрепощение вольных людей обнаружилось только через 10 лет, во время второй ревизии, когда некоторые гуманные владельцы пожелали возвратить им свободу. Число таких случаев освобождения незаконно закрепощенных было довольно значительно. Так, в книгах Витебского уездного суда в течение трех лет, а именно с 1782 по 1785 годы помещено 17 отпускных, в силу которых получили свободу 52 человека (35 мужчин и 17 женщин). Относительно всех отпущенных на волю людей сказано, что они раньше были людьми вольными, только во время первой ревизии записаны были за теми владельцами, на чьих землях они жили. То же касается ближайших поводов освобождения, то тут выставлялись разные мотивы. Например, староста братства Витебской церкви Успения Богоматери признал, что крестьяне были записаны за братством неправильно, а именно: «по непредусмотрительности и по незнанию русских законов»; витебские иезуиты прямо заявили, что «они не желают незаконно обращать на вечное подданство вольных людей», а некоторые владельцы, как

[1] Налоги, которыми обложены были белорусские крестьяне сверх установленых в Великороссии, по заявлению самого гр. Чернышева, были следующие: «по числу голов денежный и хлебный, также за вольную питейную продажу и на содержание почты». Полн. Сбор. Зак., т. XX, 14376.

[2] Полн. Сбор. Зак., т. XX, 14376.

[3] Вилен. Ценр. Архив, книги Рогачевского уездного суда под № 1752—1765 и книги Витебского уездного суда под № 137—156.

братья Лаппы и священник Василий Юревич, хотя и признали, что записанные за ними по первой ревизии крестьяне не были их крепостными, однако причиной освобождения их выставили «добропорядочную и беспорочную к ним услугу»[1]. Таким образом, благодаря первой ревизии вольные люди в губерниях Витебской и Могилевской в течение целых десяти лет лишены были свободы, а многие из таких людей, вероятно, остались в неволе и на будущее время, так как освобождение их зависело исключительно от усмотрения самих владельцев. В лучшем положении оказались вольные люди в областях, доставшихся России по второму и третьему разделам Польши. Теперь русские власти обратили на них внимание, и в 1793 году генерал-губернатор волынский и подольский Тутолмин сделал распоряжение, чтобы земские комиссары «сочинили всем таковым черноработным вольным людям именной список и имели бы особую книгу, в которую вписывать, в какой парафии, в каком именно селении и чьем владении проживают, кто именно вольные черноработцы и по какому договору или контракту, и если таковым людям случится какая-либо убыль, то в той же книге означат и прилежнейше притом наблюдали бы, дабы они без ведома комиссаров с места на место перехода отнюдь не чинили»[2]. Это распоряжение Тутолмина устранило возможность закрепощения вольных людей, но последние, несомненно, лишились прежней свободы перехода, что не могло не отразиться на условиях их договоров с помещиками.

Наконец, ухудшению положения крестьян в присоединенных западно-русских областях способствовало возникновение здесь *сильной исполнительной власти*, которой и тени не было при польском владычестве. Прежде более состоятельные помещики, пользуясь слабостью польского правительства, совершенно безнаказанно перезывали в свои имения чужих крестьян, что не могло не содействовать хоть временному улучшению их положения, так как новым поселенцам обыкновенно предоставлялись разные льготы. Теперь же русская администрация стала принимать самые решительные меры к разысканию и возвращению беглых прежним владельцам[3]. Такие же решительные меры принимались и к подавлению крестьянских волнений. Так, минский губернатор Неплюев в 1793 году предписал Речицкому земскому суду пользоваться воинскою командою «на усмирение каких-либо людей, буйство заводящих, или против своих владельцев упорствующих»[4]. Вообще русская администрация настойчиво требовала, чтобы крепостные крестьяне исполняли все прежние повинности, вносили все прежние платежи и оставались в полнейшем послушании у своих владельцев[5]. Подобные распоряжения русской администрации во многих случаях весьма тягостно отзывались на крестьянах.

Таким образом, положение западно-русских крестьян после воссоединения Западной Руси с коренной Россией на первых порах несомненно ухудшилось. Но помещики, власть которых над крестьянами получила большую обеспеченность, такими порядками были очень довольны. «Казалось, — говорит профессор Антонович, — что шляхта достигла, наконец, давно желанного полного экономического господства над крестьянами и что, опираясь на покровительство, оказанное ей русским правительством, она, наконец, сломила долго сопротивлявшийся народ и дождалась полного торжества». Но «порядок», продолжает тот же автор, «представлявшийся, по понятиям шляхты, окончательным завершением дела, дальше которого ничего желать не оставалось, для русского

---

[1] Виленск. Центр. Архив, кн. № 136, л. 207, 247, 252, 253, 254, 255, 278, 284, 285; кн. № 139, л. 78, 79, 80, 81 и 84.

[2] Сборник документов, касающихся административного устройства Северо-Западного края при императрице Екатерине II (изд. Виленск. археогр. комис.), предисловие, стр. LII.

[3] Ibid., № 84, 85 и 98, II.

[4] Ibid., № 55 и 117, II.

[5] Ibid., № 120, II.

общества был только переходною ступенью общественного исторического развития»[1].

Действительно, в русском обществе стали высказываться отдельные мнения об ограничении или уничтожении крепостного права уже с конца XVII века, а чем дальше шло время, мнения эти становились все более и более общими. Первое предположение об освобождении владельческих крестьян высказал В. В. Голицын, игравший первенствующую роль в правление царевны Софии Алексеевны. Затем в XVIII в. заняты были вопросом об ограничении крепостного права в России крестьянин Посошков, Татищев, Кантемир, братья Панины, И. П. Елагин, Григорий Орлов, князь Д. А. Голицын, депутат Коробьин, Болтин, Поленов, известный Радищев и др., а в начале XIX века декабрист Пестель предлагал в своем проекте конституции не только освобождение всех крестьян из крепостной зависимости, но и наделение их землей[2].

Весьма рано и русское правительство стало принимать некоторые меры к постепенному улучшению положения крепостных крестьян. Так, Петр Великий дозволил дворовым людям поступать в военную службу и без согласия господина; крестьянам, производившим торговлю на известную сумму, разрешено было приписываться к городам и против желания помещика; имения помещиков, разоряющих своих крестьян, велено было отдавать в управление родственникам владельцев; наконец, государь обратил внимание сената на необходимость мер для ограничения торговли людьми без земли. Императрица Екатерина II хотя ничего не сделала для органичения крепостного права, но она, по выражению В. И. Семевского, «громко поставила вопрос о необходимости улучшения быта помещичьих крестьян, прислав от имени неизвестного в Вольное Экономическое Общество значительную сумму для премирования лучшего ответа на задачу о праве собственности крестьян на землю и движимое имущество»[3]. Павел I повелел «всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам» и запретил требовать барщины более трех дней в неделю. Александр I издал указ о «свободных хлебопашцах», по которому помещикам дозволено было заключать с крестьянами троякого рода условия: 1) когда крестьяне получали свободу с землею, внеся господину при самом освобождении известную сумму; 2) когда при увольнении плата рассрочивалась на известное число лет, в течение которых они обязаны были исполнять в пользу помещика определенные повинности, и 3) когда крестьяне, оставаясь крепкими земле, обязывались на известное число лет, до смерти помещика или навсегда, исполнять известные повинности или платить оброк деньгами или продуктами. В царствование Николая I, кроме отдельных мер, как запрещение продажи крестьян без земли и с раздроблением семейств, был издан указ об «об обязанных крестьянах». По этому указу помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости, давая им в пользование земельные наделы за условленные повинности. Наконец, император Александр II, получивший прозвание Царя-Освободителя, 19 февраля 1861 года подписал манифест об отмене крепостного права: боле 20 миллионов крепостных крестьян получили свободу и были наделены землею.

---

[1] «Архив Юго-Западной России», часть VI, т. II, предисловие, стр. 63. Такой же взгляд на отношение польской шляхты к крестьянам высказывает и г. Мякотин. Указав на то, что попытки улучшить положение крестьян, сделанные в Польше в XVIII веке некоторыми частными лицами, законодательством и правительственными органами, не привели ни к чему вследствие противодействия шляхты, он приходит к следующему выводу: «Шляхта не сумела сама разрешить крестьянского вопроса, и, как предсказывали ей ее собственные публицисты, разрешение его перешло в чужие руки» («Крестьянский вопрос в Польше», стр. 229).

[2] См. об этом исследование известного историка В. И. Семевского: «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века». СПБ. 1888 г.

[3] В. И. Семевский: «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II», т. 1, введение, стр. XXVI.

ВЯЧЕСЛАВ РАГОЙША

«Я не кахаю Вас. Я Вас люблю»

Светлана Сомова в жизненной и творческой судьбе Якуба Коласа

На Ваша «ты» сказаць Вам «ты» не смею,
І калі позірк позіркам злаўлю,
Як птушанё, спалохана нямею.
Я не кахаю Вас. Я Вас люблю.

Святла, што падарылі, не растрачу
І шчырых слоў ніколі не згублю.
...Нашто журба у цёплых зрэнках Вашых?
Я не кахаю Вас. Я Вас люблю.
Ніна Мацяш. «Люблю».

Довольно продолжительное время наша отечественная история литературы, зацикленная на социальных и национально-освободительных темах и проблемах белорусских писателей, совсем или почти совсем не затрагивала интимные, прежде всего — любовные, моменты их биографий и мотивы творчества. Русские и особенно иностранные писатели — дело иное, а вот белорусские литераторы будто бы только и беспокоились о судьбе «пана сахі і касы» (Янка Купала), только и призывали: «Стрэльбы, хлопчыкі, бяры!» (Якуб Колас). Отсюда — своеобразная «забронзовелость» их образов, выявившаяся, кстати, не только в известных минских памятниках Янке Купале и Якубу Коласу (что еще можно понять), но и в историко-литературных публикациях, изданиях для так называемого массового читателя, во всех школьных учебниках… В самое последнее время, правда, и Янка Купала, и — прежде всего — Максим Богданович стали представать перед нами и как обычные живые люди, со своими частными заботами, увлечениями, отношением к женщинам… И это совершенно не отдаляет нас, читателей, от их личностей и творчества, как не отдаляет от Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Федора Достоевского, интимные подробности жизни которых давно уже не секрет. Надеюсь, что и это повествование о Якубе Коласе не отдалит читателей от его творчества, а, наоборот, приблизит к нему, побудит раскрыть книги автора знаменитой «Новай зямлі».

* * *

Как известно, Якубу Коласу, человеку далеко не призывного возраста, в начале Великой Отечественной войны вместе с семьей (женой Марией Дмитриевной, сыновьями Данилой и Михасем) довелось эвакуироваться в далекий Ташкент. Можно себе представить настроение народного поэта, военным вихрем оторванного от родного края, за тысячи километров заброшенного от окровавленного Отечества. Горе, печаль, душевная боль, даже отчаяние — все эти чувства переполняли сердце поэта-патриота, у которого к общенародному горю подключалось и чисто личное. Вспомним только родительские переживания Константина Михайловича за судьбу среднего сына Юрки, мобилизованного на фронт в самом

начале войны и от которого не было никаких вестей (впоследствии стало известно, что он погиб в одном из первых тяжелых боев с фашистами). А тут обычные беженские проблемы с жильем, питанием, здоровьем — своим и жены (Мария Дмитриевна в последние годы часто и тяжело болела, что преждевременно и свело ее в 1945 году в могилу). И вот в это труднейшее время в Ташкенте нашелся человек, который постарался хоть немного развеять мрачное настроение, помочь прижиться в чужом городе, приобрести новых знакомых и друзей. Таким человеком стала Светлана Александровна Сомова (1911—1990), русская поэтесса и переводчица, «краса Узбекистана», как назвал ее народный поэт Беларуси. Она в то время работала в аппарате Союза писателей Узбекистана. Именно знакомство со Светланой Сомовой, и не столько как с «аппаратным работником», сколько с молодой интеллигентной, талантливой и красивой женщиной, переросшее, как оказалось, в пожизненную привязанность, и обусловило довольно скорое «приживание» Якуба Коласа в незнакомом до тех пор городе. Более того — появление множества лирических произведений поэта, значительное расширение жанрового диапазона его творчества военного и послевоенного периода.

Вот несколько моментов из биографии Светланы Сомовой.

Родилась Светлана Александровна 30 апреля 1911 года в Петербурге. Еще девочкой вместе с родителями переехала в «город хлебный» — Ташкент, где прожила большую часть своей жизни, выучила узбекский и некоторые другие тюркские языки. Именно здесь, работая литконсультантом в Союзе писателей Узбекистана, она впервые встретилась, познакомилась и подружилась с Якубом Коласом, которого беженская судьба забросила в Среднюю Азию. Как, впрочем, и многих известных русских писателей и ученых (Анна Ахматова, Дмитрий Благой, Сергей Городецкий, Александр Дейч, Корнелий Зелинский, Борис Лавренев, Владимир Луговской, Николай Погодин, Николай Пиксанов, Владимир Пичета, Илья Сельвинский, Алексей Толстой, Николай Ушаков и др.), а также нескольких белорусских (Эди Огнецвет, Владимир Агиевич, Виталь Вольский, Михась Модель, Ури Финкель). В Ташкенте во время войны вышла первая книга ее стихов, которая так и называлась — «Ташкент» (1943). Затем были другие, изданные и в столице Узбекистана, и в Москве — «Стихи и переводы» (1947), «На полях Мирзачуля» (1950), «Огни Сталинграда» (1953), «Красные гвоздики» (1961), «Огонь в окне» (1966), «Червонный явор» (1974), «На восходе луны» (1984) и др. Тысячи стихотворных строк она перевела на русский язык с узбекского, каракалпакского и некоторых других тюркских языков, редактировала многочисленные переводные издания, выходившие во время Великой Отечественной войны и после нее в Средней Азии и столице СССР.

К сожалению, даже сегодня мы мало знаем о Светлане Сомовой, тем более — о благородной дружбе ее с Якубом Коласом, длившейся без малого полтора десятка лет, начиная с конца 1941 года и до самой смерти белорусского песняра. В частности, ничего не найдем мы ни о взаимоотношениях Якуба Коласа и Светланы Сомовой, ни о ней самой в интересной и в общем богатой на факты книге воспоминаний сына поэта Д. К. Мицкевича (1914—1996) «Любіць і помніць» (Минск, 2000), хотя жизни Якуба Коласа в Ташкенте в ней посвящено несколько отдельных эссе: «У Ташкенце ў час вайны (1941—1943)», «Пра Ташкент, сяброў-таварышаў і няпростыя стасункі песняроў», «Яшчэ асобныя ташкенцкія ўспаміны». В то же время имя (*Святлана, Светлана*), фамилия (*Сомава,Сомова*) или просто криптонимы *С., С. А., С. С.* неоднажды встречаются в различных текстах народного поэта Беларуси. Так, только в его уже опубликованных дневниках «Кніга Ташкенцкага быція: дзень у дзень» (1943) Сомова под криптонимом «*С*» упоминается 15 раз, в «Гаворыць Клязьма» (1944) — 10, «На схіле дзён» (1945—1951) — 6. В некоторых случаях ни ее имени, ни даже криптонима в дневниковых записях нет, но что именно она имеется в виду — не вызывает сомнення. Вот некоторые из таких записей.

«Кніга Ташкенцкага быцця: дзень у дзень»

«*Заходзіў у Дом пісьменніка. Здаў тры тысячы на танкавую калону. Бачыўся з сваёй перакладчыцай. Была рада сустрэцца. Збіраецца ехаць у Маскву на дэкаду ўзбекскай паэзіі*» (23.3.1943 г.);

«*Быў у Саюзе. Нікога не застаў. Пакінуў запіску: «Заходзіў, не застаў, пайшоў, засумаваў». Сустрэў С. Яна спяшалася. Не паспеў запытаць аб перакладзе «Мая зямля» і верш, напісаны для мяне*» (27.3.1943 г.);

«*Вечар прайшоў добра. Назад ішлі той жа дарогай. На плошчы прыпыніліся закурыць. Утраіх дайшлі да 1-майскай. Спадарожніца С. заходзіла ў Дом пісьменніка, а мы з Марусяй пайшлі дамоў*» (9.4.1943 г.);

«*Слухаў радыё. Чытала вершы С.*» (10.4.1943 г.);

«*Быў у Саюзе пісьменнікаў. Напісаны 20.4. С. верш аказаўся надзвычай трапным. Я хваліў яго. Нават некаторыя строфы запомніў і чытаў на памяць*» (22.4.1943 г.).

26 апреля 1943 г. Якуб Колас выехал из Ташкента в Москву на Всеславянский митинг. Вот что записал он в своем дневнике о том дне: «*Каля 12 гадзін дня паведамілі з ЦК, каб зайшоў туды. Звёў шмат часу. «Дрыгву» і «Палескую глуш» у маю адсутнасць прыносіла С. Потым яна заходзіла развітацца. Сабралася на провады шмат народу <…>. Машыну далі з ЦК. Праводзілі Данік, Ізя і Жэня. Да Першамайскай падвезлі С.*» (запись от 15.5.1943 г.). 19 мая поэт выехал из Москвы обратно в Ташкент. Ехать довелось долго, дольше недели, в том числе — и с мыслями о Сомовой. «*У дарозе большую часць дня праводзіў каля акна. Глядзеў на бязмежныя прасторы стэпу. Многа птушак. Пустэля захоплівае сваёй велічаваю маўклівасцю і спакоем. Лічыў арлоў на слупах. Дзевяты арол злучаны з імем С., калі ўбачу яшчэ арла, дык С. не выехала з Ташкента <…>. Прыехаў у Ташкент 27 мая, каля пяці гадзін <…>. Мой дзевяты арол спраўдзіў сваё прароцтва<…>. Сустрэў С. Збіраецца выязджаць з брыгадай у Маскву».* Это Якуб Колас записал в своем дневнике 29 мая 1943 г. А на следующий день, 30 мая, написал стихотворение «Арол» — о «пророчестве» девятого орла…

Светлана Сомова с бригадой писателей выезжала на фронт, на Курскую дугу — выступать перед бойцами и командирами Красной Армии. Приведем отдельные дневниковые записи поэта того времени:

«*Апусцеў, асірацеў Дом пісьменніка — няма С. Няма ад яе і пісем*» (22.6.1943 г.);

«*Сядзеў, многа разоў чытаў «Прощание»* [стихотворение С. Сомовой. — **В. Р.**]. *Сум навеяла на мяне яно. І напісана шчыра, ад сэрца, прыгожа*» (5.7.1943 г.);

«*Напісаў верш «Крынічка». А ці пападзе па адрасу, не ведаю*» (29.7.1943 г.);

«*Учора званілі з Саюза. Сказалі — ёсць пісьмо. Пісьмо было, ды не тое, якога чакаў і якога ўжо не дачакаюся*» (2.8.1943 г.);

«*Быў у Саюзе пісьменнікаў. Адбывалася засяданне прэзідыума, на якое быў заклікан я. Перад Алімджанам ляжала пісьмо С. Заўважыў два словы: «Дарагая мая…». Алімджан паведаміў, што С. сядзіць на тых мясцінах, дзе адбываліся нядаўна баі, што раней верасня яна не прыедзе…*» (18.8.1943 г.);

«*Напісаў санет* [сонет-акростих «Зорка», где прочитываются слова **Светлана Сомова**. — **В. Р.**], *такі ж журботны, як і мой настрой*» (21.8.1943 г.);

«*Напісаў учора верш «Чымган». Канец верша, можа, крыху песімістычны, але ён адпавядае настрою*» (29.8.1943 г.).

Наконец Сомова с фронта, с Курской дуги, вернулась в Ташкент. Вот свидетельсто встреч двух поэтов, двух друзей:

«*Заходзіў у Дом пісьменніка <…>. Заходзіў на пошту з С. Грошай не выдалі: не ўсё сыходзіцца ў пашпарце. С. пераклала верш «Узбекістану». Вечарам чытаў, папраўляў…*» (26.10.1943 г.);

«*Зранку заходзіў да перакладчыцы… Перапісаў верш, паправіў разам з перакладчыцай. Ізноў хадзіў у горад. Заходзіў у рэдакцыю «Праўды Востока», аддаў верш адказнаму сакратару. Абяцаў змясціць за 31/X.*» (27.10.1943 г.).

1 ноября 1943 г. Якуб Колас вместе с семьей выезжает из Ташкента, направляется ближе к освобождаемой от фашистов Беларуси. Через неделю приезжает в Москву, оттуда — в подмосковную Клязьму к родственникам жены, где и останавливается на длительное время. Неоднажды криптоним «С.» встречается и в написанном в 1944 году дневнике поэта под красноречивым названием

«Гаворыць Клязьма»:

«*Хадзіў на пошту. Паслаў тэлеграму, атрымаў 270 руб., была тэлеграма ад С.*» (11.2.1944 г.);

«*Атрымаў пісьмо з Ташкента ад С. Трэба адказаць…*» (26.2.1944 г.);

«*Паслаў пісьмо і павіншаванне С.*» (27.2.1944 г.);

«*Хадзіў на пошту. Было пісьмо з Ташкента. Скардзіцца, што даўно няма ад мяне пісем*» (7.5.1944 г.);

«*Напісаў адкрытку С. Пісаць было трудна*» (6.7.1944 г.);

«*Забягаў на пошту. Газеты атрымалі. Нарэшце адказала С. — прыслала тэлеграму*» (19.7.1944 г.);

«*Напісаў пісьмо. Напісанае 2/VIII не адаслаў, далучыў да яго яшчэ адно. Паслаў з Клязьмы, заказным*» (4.8.1944 г.);

«*Прынеслі шмат тэлеграм — з Мінска, Ташкента. С. прыслала аж дзве, апроч таго вялікае пісьмо…*» (22.11.1944 г.).

В начале декабря 1944 г. вместе с сыном Данилой Якуб Колас возвращается в освобожденный от немцев, разрушенный Минск. Довоенный дом его сгорел. Поэту выделяют небольшую временную квартиру. Больная жена Мария Дмитриевна остается на лечении в Москве. В январе 1945 г. Якуб Колас возвращается в Москву, чтобы находиться рядом с женой, и только наездами бывает в Минске. В ночь с 20 на 21 мая 1945 г. в филиале кремлевской больницы в Сокольниках Мария Дмитриевна умирает. Похоронили ее 24 мая на Военном кладбище в Минске.

Об истории взаимоотношений Якуба Коласа и Светланы Сомовой более позднего времени можно прочитать в дневнике поэта

«На схіле дзён»:

«*С. прыслала тэлеграму — прыехала ў Маскву*» (1.11.1945 г.);

«*Дзень майго нараджэння <…>. Ні Сяргей, ні С. не прыслалі тэлеграм — забыліся…*» (3.11.1945 г.);

«*Думаю пра паездку ў Маскву. Як сустрэне С.? Штось маўчыць, відаць, злуецца*» (10.11.1945 г.);

«*Была ў «Метраполі» некалькі разоў С. Дарогі нашы пачалі разыходзіцца. Цяжка было...*» (13.6.1946 г.);

«*Учора паслаў «Избранное» С. у Ташкент…*» (28.1.1947 г.);

«*Учора вярнуўся з Масквы... Усяго было: былі сустрэчы з С. — перапакутавана, перажыта, асела на дно душы. А ўсё ж...*» (2.7.1951 г.).

* * *

Все цитированные выше дневники Якуба Коласа были впервые опубликованы еще в 1964 г. в 12-м томе Собрания сочинений народного поэта в 12 томах. Уже тогда я заинтересовался и житьем-бытьем Якуба Коласа в Ташкенте, и его взаимоотношениями с загадочной «С.». Поэтому когда в 1974 году я, как член Союза писателей СССР, по предписанию министра обороны страны должен был пройти военную стажировку, причем разрешалось выбрать место стажировки, — я выбрал именно Ташкент. Планировал кроме стажировки в окружной газете поработать в местных архивах и библиотеках, записать воспоминания людей, знавших Якуба Коласа, и, возможно, — встретиться с «С». К сожалению,

по независимой от меня причине я попал не в Ташкент, а в Алма-Ату, в внов созданный Среднеазиатский (а не Туркестанский, штаб которого размещался в Ташкенте) военный округ, в оружную газету «Боевое знамя»…

И все же, возвращаясь из Алма-Аты в Минск, я отклонился от прямого маршрута, заехал в Ташкент, дабы хоть взглянуть на город, где два военные года находился Якуб Колас со своей семьей. Благо в то время в Ташкенте еще жил Степан Лиходиевский (1911—1979), талантливый белорусский поэт и переводчик, доктор филологических наук, профессор местного университета. Со Степаном Ивановичем мы были знакомы заочно, я рецензировал одну из его поэтических книг. Собственно, он и предложил мне «по дороге» заехать в столицу Узбекистана. Он отлично знал Ташкент довоенного и военного времени, где поселился, жил и учился после ареста и ссылки в Казахстан в 1930-х гг. за белорусский «национализм» и «антисоветизм» (после ссылки ему вернуться на родину так и не позволили). Здесь во время войны он и встретился с Якубом Коласом. О Лиходиевском вспоминает и Д. К. Мицкевич в своем эссе: «В Ташкенте в пединституте работал белорусский поэт, переводчик и литературовед Степан Иванович Лиходиевский. Он учился в Белпедтехникуме, когда там работал Якуб Колас. В Ташкенте он неоднажды навещал Коласа, встречался с нами, вместе с Коласом участвовал в литературных встречах. Позже он принимал участие в увековечении памяти Якуба Коласа в Ташкенте, написал воспоминания о народном поэте и посвятил ему стихи. Колас очень любил и уважал этого славного человека». Степан Иванович показывал мне «коласовские улицы», по которым мог ходить поэт, те места, где он мог иметь жилье. Да те улицы и те места были уже совершенно иные, современные, похожие на минские. К сожалению (для меня, а не для жителей Ташкента), это был уже не коласовский, преимущественно одноэтажный, с глинобитными домами, а целиком новый многоэтажный город, построенный после страшного землетрясения середины прошлого века. У Степана Ивановича, знавшего всех тогдашних местных писателей, я спросил и о Сомовой. От него я услышал, что поэтесса еще до землетрясения развелась с мужем, переехала в Москву. А где сейчас проживает и жива ли вообще — ему не известно…

Моя любознательность со временем не остыла, а разгорелась пуще прежнего. Особенно тогда, когда через два года после упомянутой моей военной стажировки в новом, уже 14-томном, Собрании сочинений Якуба Коласа, в его 13-м и 14-м томах, я, как и другие читатели, впервые прочел 17 писем поэта к Сомовой и некоторые стихи, посвященные ей. В конце концов мне посчастливилось узнать московский адрес Светланы Сомовой, сконтактироваться с ней. А во второй половине 1980-х гг. — и встретиться с ней в небольшой ее «хрущевке» на одной из тихих, зеленых московских улиц. Понятно, мне не терпелось прежде всего услышать и записать воспоминания Сомовой о Коласе, узнать о их взаимоотношениях — и не только творческого, но, как теперь говорят, и гендерного характера. Светлана Александровна вспомнила несколько эпизодов из жизни Якуба Коласа в Ташкенте.

…Поэт как-то встретил на улице заплаканного паренька. Остановил, расспросил его. Тот оказался белорусом, рассказал, как немцы убили его маму, как его самого эвакуировали сюда, а теперь он остался один, без пристанища. У поэта по лицу потекли слезы. Он накормил паренька, отвел в детский спецприемник, помог устроиться в детский дом. Этот случай поэт описал потом в стихотворении «Невядомы хлопчык». Правда, в стихотворении национальность паренька не называется. И об устройстве его в детский приют не говорится. Однако в том эпизоде была одна красноречивая деталь, о которой поведала Светлана Александровна. Рассказывал поэт о встрече с тем сиротой у себя дома, и только в присутствии сына Данилы, его друга Феликса Лагуты и Эди Огнецвет. Но о той беседе в тесном кругу сразу стало известно в… НКВД. Вызвали туда Сомову: «Так о каком мальчугане рассказывал Колас?» — «Я ничего не слышала... А вообще о своих друзьях я не считаю нужным говорить», — решительно заявила она. И больше о Якубе Коласе у нее никогда ничего не спрашивали…

Еще один эпизод, рассказанный мне Светланой Александровной. В Ташкенте выдающаяся русская поэтесса Анна Ахматова жила, как и многие эвакуированные писатели, в том числе и Якуб Колас, бедно, иногда не было что в рот положить, во что-нибудь более-менее приличное одеться. Кстати, о ее жизни в Ташкенте интересно рассказала Сомова в своих воспоминаниях «Мне дали имя — Анна» («Москва». 1984. № 4. С. 188—193) и «Тень на глиняной стене» («Москва». 1986. № 10. С. 180—187). У Якуба Коласа в огненном Минске остались все денежные сбережения, вначале он не имел ниоткуда никакой помощи. Но постепенно материальное положение начало налаживаться — благодаря восстановленной (с 1.10.1941 г.) выплате персональной пенсии, небольшим гонорарам. Однажды он предложил Светлане Александровне: «Я дам деньги. Вы, пожалуйста, отнесите Ахматовой, скажите, что кто-то их ей прислал, но не говорите, кто. Она очень гордая, когда узнает, что это я, живущий также не особенно богато, то не примет такой подарок». Так и сделали. Это на какое-то время поддержало Ахматову, на деньги Коласа она купила себе что-то из одежды.

Показывала мне Светлана Александровна разные снимки. Один из них подробно прокомментировала. Вот ее комментарий, написанный ей самой по моей просьбе:

«На снимке — три поэтессы, «три грации разной нации», как пошутил Якуб Колас, принимая в подарок наш коллективный снимок: Эди Огнецвет, Светланы Сомовой и Зульфии [позже — народная поэтесса Узбекистана. — **В. Р.**]. Они склонили головки одна к одной и подружились навек своими стихами. А фотографировались мы в Союзе писателей Узбекистана, на улице Первомайской, 20, 8 марта 1943 года, в комнате, где я провела 12 лет за письменным столом, заваленным рукописями, и где по существу был клуб для писателей, эвакуированных во время войны в Ташкент, и куда приносил часто Якуб Колас свои только что написанные стихи. Карточку эту я подарила Якубу Коласу в том же 1943 году, он ее сохранил, как сохранила и Эди Огнецвет... Хорошо смотреть в ясные глаза, полные ласки и поэтического раздумья, печали и доверчивости. Тогда мы только начинали свой поэтический путь, верили людям и в светлое будущее. А была же война с ее тревогами и бедами. Мы писали стихи, жили поэзией, готовили свои первые книжки. Зульфия работала над книгой «Верность», Эди — над стихами и либретто оперы-сказки «Джаннат» — о дружбе узбекских и белорусских детей (опера, на музыку Льва Шварца, в 1944 г. была поставлена силами ташкентского Дворца пионеров), я — над переводами и своей первой книгой «Ташкент». Помнится, я тогда написала стихотворение «Прощание» — перед отъездом на фронт, на Курскую дугу. Это стихотворение было напечатано в среднеазиатской газете «Фрунзевец» после моего отъезда. Якуб Колас вырезал его из газеты и подарил мне после моего возвращения с фронта. Вот и карточка Якуба Коласа, молодого, с добрыми, светлыми глазами. Тогда он принес в Союз писателей свое стихотворение «Узбекістану». Автограф этого стихотворения на белорусском языке, написанный образцовым коласовским почерком и подаренный мне в 1943 году, сохранился у меня до сих пор. Я тогда перевела это стихотворение, и оно вошло в многочисленные издания стихов Коласа на русском языке. Даря одно из изданий, он надписал: «Очаровательной Светлане, дорогому другу моего Ташкентского шестидесятилетнего юношества. 28.09.1951 г.».

Я спросил у Светланы Александровны, писала ли она когда-нибудь — прозою или стихами — о своих взаимоотношениях с Якубом Коласом. Она, отяжелевшая в свои почти восемьдесят лет, но по-ахматовски «царственная», повернулась в кресле, внимательно посмотрела на меня и начала своим грудным певучим голосом читать стихотворение, вначале попросив прощения, что его, никогда не печатанное и написанное весьма давно, 30 марта 1943 года, в Ташкенте, в свой день рождения, она 45 лет не читала, поэтому может подвести память. Привожу стихотворение целиком — так, как записал его со слов Светланы Сомовой:

А завтра снова день,
И встречу я его
На том тридцатилетнем перевале

Дней человеческих.
Неужто это все?
Как мало прожито, как много пережито!
Ведь сердце еще совсем не начинало жить,
Ведь все оно готовилось к полету,
К расцвету.
А расцвет не наступил...
Любовь я отдаю бегущим буквам,
И верю словам несказанным.
И дальше снова так —
Еще не раз, не уставая за ночь,
Сварю я в поэтическом мартене
Сталь скоростную звонкого стиха.
Еще с ночными звездами поспорит
Якубом Коласом подаренная лампа
На книгами заваленном столе.

«На тот день рождення Якуб Колас подарил мне настольную лампу с зеленым абажуром», — прокомментировала последние строки своего стихотворения Светлана Александровна...

* * *

То, что Якуб Колас приносил Светлане Сомовой свои стихи для перевода на русский язык, вызвало во мне стремление задать ей осторожный, с надеждой, вопрос: может быть, случайно сохранились и рукописи тех стихов? «Конечно! И не только во время войны я их получала, но и много позже, — утвердительно ответила Светлана Александровна. — Приходите завтра, я поищу». На следующий день на столе передо мной лежало три десятка листов бумаги, на котороых синими и фиолетовыми чернилами аккуратным коласовским почерком были записаны стихи. После названий произведений помечены и даты их написания, а также — посвящения Сомовой. Создание некоторых из них она мне прокомментировала.

Многие из стихотворений, адресованные Светлане Сомовой, содержали в заглавиях ее имя. Первое из таких стихотворений — шутливая миниатюра «Святлане», написанная 27 декабря 1942 г. на небольшом листике бумаги как самоэпиграмма Якуба Коласа на его неудачный рисунок черта (поэт рисовал черта по просьбе Светланиных детей):

Відаць, твой лёс ужо такі—
Як ні стараюся, дарма:
Няважны чорт, няма рукі
І выгляду чартоўскага няма.

Фамилия либо имя Сомовой или их криптонимы стояли в заглавиях и других стихотворений белорусского поэта, рукописи которых сохранились в личном архиве поэтессы: «Святлана. 12.IV.1943» («Ці то вечар, ці то рана…»), «С. С—й. 28.VII.1943» («Адступілася радасць мая ад мяне…»), «Святланін кут. 4.IV.1943» («У Ташкенце ёсць не мала…»), «С. А. С—й. 18.XI.1945» («Усё, што поўніла мне сэрца…»), «Из Светланы Сомовой (Светлане Сомовой)» («Празрыстае неба, зялёны грудок…»), «Яшчэ раз Святлане. 10.III.1946» («Што рабіць мне са Святланай…»), «Моя просьба. Светлане (Последней весне). 31.VII.1943» («Прыйшоў мой час падацца далей…»), «На апошняе развітанне. Святлане Сомавай. 12.IV.55» («Ці помніце мяне, ці не…»), «Зорка (Святлане Сомавай). 21.VIII.1943» («Свеціць мне зорка з бяздонных глыбінь…»), «Святлане. 18.XI.1945. Масква» («Усё, што поўніла мне сэрца…»). Рукописи многих других стихотворений также свидетельствуют о том, что они были первоначально посвящены, а возможно, и предназначались, Светлане Сомовой: «Чымган. С. С—й. 29.VIII.1943» («У

мантыі лёгкай з празрыстай сінечы…»), «У Чымгане. С. С. 4.IX. 1943» («Стаіць нерухома Чымган сівагрывы…»), «На восеньскі лад. С—не С—вой. 15.IX.1943» («Травы пажоўклі. Падаюць лісці…»), «Крынічка (С. С.). 29.VII.1943» («Позні час ужо, друг дарагі…»), «Чую голас. С. С. 19.VII.1943» («Студзіць сонца твар гарачы…»), «Хваля. С. С. 5.VII.1943» («Набяжыць-наплыве часам хваля…»), «Салар (Светлане С.). 3.VIII.1943» («Рассыпала сонца…»). Да и те стихи, в названиях и посвящениях которых никак не упоминается Сомова, но рукописи которых народный поэт Беларуси подарил своей подруге, несомненно, в значительной, если не в определяющей, степени возникли вследствие контактов с ней: «На развітанне. 24.I.1943» («Далёкі шлях, прыгод не мала…»), «Песня ў бяссонне самому сабе» («Вецер сцішыўся ў бары…»), «Узбекістану. На развітанне. 23.X.1943» («Прыйшоў мой час. Я пакідаю…»), «Слова (Акростих). 23.VI.1943» («Слова — радасць, слова — чары…»), «І неба хмурна пазірае… 29.III.1943», «Арол. 30 мая 1943 г.» («Шмат думак снуецца ў дарозе…»), «Маёй Вясне. 18.IV. 1943» («Я шмат пісаў, складаў ёй оды…»), «Бывае музыка і ў стуку… 42 г.», «На развітанне. 18. IX. 1947» («Адзін я, самотны, бы крыж заімшэлы…»), «Мой дом» («Між ніў дарожкаю сляпою…»), «У хвалях няспыннага руху…», «Бліснуць у бяздонні вячэрнія зоры…» (даю названия стихотворений и их даты так, как они сохранились в Коласовых рукописях из частного архива Светланы Сомовой).

Некоторые из перечисленных стихотворений — настоящие шедевры интимной лирики. Белорусский поэт их писал параллельно с произведениями антивоенного, антифашистского характера, но большинство из них в условиях военного времени, да и напряженного послевоенного восстановления народного хозяйства, не могло быть напечатано. Понятно, без соответствующего чувства, определенного настроения они и не могли возникнуть. А эти чувства, эти настроения (и далеко не всегда веселые и радостные) возникали прежде всего вследствие взаимоотношений со Светланой Сомовой... Вот строфы из некоторых таких стихотворных произведений:

Хоць можа гэта і дзіўно —
Благаслаўляю тую руку,
Што мне пастукала ў акно.

Жывуць яшчэ той усмех, бровы
І вочы-зоркі з-пад брывей,
І той агеньчык, ветлы, новы.
Што заструменіўся з вачэй.
(«Бывае музыка і ў стуку…»)

Ой, ведаю, будзе хвілін такіх многа,
Няветлых, як склеп.
Пра светлае ж імя — нікому, нічога,
Маўчу, ані шэпт!

Я ведаю, кончацца болі, пакуты,
Загоіць іх час.
І горкую кроплю чароўнай атруты
Успомню не раз.
(«У бяссонную ноч»)

Далёкі шлях, прыгод нямала,
І вабіць душу новы край,
А горыч суму ў сэрца пала,
І цяжка мне сказаць: «Бывай!» <...>

Не толькі рад, шчаслівы буду
Ад Вас далёка ў старане,
Калі Вы ў шуме сярод люду
Хоць зрэдку ўспомніце мяне.
(«На развітанне»)

Мне цяжка-цяжка, горка-горка,
Калі падумаю, што я
Не стрэну больш Вас, мая зорка,
Вясна апошняя мая!

Што ж мне сказаць на развітанне
Прад тым, як рушыць у свой край?
Скажу — сагрэй мой час змяркання
І аб сабе мне весць падай.
(«Мая просьба»)

Полностью эти, как и другие стихотворения Якуба Коласа, посвященные Светлане Сомовой, сегодня можно прочесть в 3-м и 4-м томах издающегося сейчас наиболее полного, 20-томного, Собрания сочинений народного поэта Беларуси (Минск: Беларуская навука, 2008).

* * *

Во время той встречи я спросил Светлану Александровну и об оригиналах писем Якуба Коласа к ней, первопубликацию которых я видел в Собрании сочинений народного поэта в 14 томах. Она охотно показала мне их. При этом сказала, что где-то в самом конце 1950-х гг. ее разыскал в Москве сын Якуба Коласа, тогдашний директор минского Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Данила Константинович Мицкевич, с которым она была знакома еще по Ташкенту. Светлана Александровна (согласно ее словам) показала ему письма, позволила перефотографировать под ее присмотром, не вынося из квартиры, все сохранившееся коласовское рукописное наследие — и стихи, и письма. Как я понял, вследствие той акции отдельные стихотворения из этого наследия (без указания на место хранения оригиналов) и появились, в частности, в журнале «Полымя» (1960, № 5; 1962, № 6), газете «Літаратура і мастацтва» (1962, 9 октября), позже — во 2-м томе Собрания сочинений Якуба Коласа в 14 томах (1972), отдельные письма — в 13-м (1977) и 14-м (1978) томах того же издания. Я спросил Светлану Александровну, почему она коласовские рукописи не передала через Д. К. Мицкевича или кого-либо в архив Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. Высказал и свое желание исполнить эту почетную миссию. «Они мне очень дороги. Пока я живу, пусть они будут вместе со мной, грея мою душу. Иногда я достаю их, перечитываю некоторые стихи, письма…» Не позволила она и мне вынести рукописи из квартиры, дабы в ближайшей фотостудии перефотографировать их. Своего фотоаппарата тогда у меня не было. Поэтому условились, что во время следующего моего приезда в Москву я привезу соответствующие тома Собрания сочинений Якуба Коласа, чтобы из чисто текстологического интереса сопоставить рукописи с их публикациями, определить полноту и верность этих публикаций.

Так оно и случилось через некоторое время.

Передо мной снова лежали рукописи песняра. Светлана Александровна брала в руки тома Собрания сочинений Якуба Коласа. Потом передавала мне, просила зачитывать буквально все, связанное с ней (стихи, письма, дневники), переводить отдельные непонятные ей белорусские слова. Я зачитывал и переводил. На ее лице засветилась заинтересованность, однако вскоре сквозь нее проступила неудовлетворенность. «Интересно, кто взял на себя смелость выступить в качестве цензора? Я же позволила печатать все письма Якуба Коласа ко мне. А здесь они опубликованы избирательно, причем в публикациях — масса пропусков. Даже все обращения Константина Михайловича ко мне сняты… Как и посвящения на стихотворениях». Неудовлетворенность перешла в раздражение, потом — в гнев.

Действительно, подготовка к печати стихов и — особенно — писем проведена в Собрании сочинений не по правилам текстологической науки. Из стихот-

ворений изъяты посвящения, иногда изменены их названия, зафиксированные в коласовских рукописях. Из всех писем поэта к Сомовой, которые она бережно хранила у себя и позволила Д. К. Мицкевичу лишь переснять, напечатано немногим более половины. Да и в них сделаны те или иные купюры, причем без указания места этих купюр принятым в текстологии знаком <...>.

Якуб Колас в письмах к Светлане Александровне, в том числе в начальных обращениях, высказывал свое весьма дружественное отношение к ней: «*Милая, дорогая Светланочка, мой далекий прекрасный друг!*», «*Милая, дорогая Светланочка!*», «*Мой дорогой друг, радость и печаль моя!*», «*Мой чудесный, неповторимый друг!*», «*Далекая, но дорогая и милая Светлана!*», «*Милая, дорогая Светланочка, Краса Узбекистана!*», «*Дорогая Светланушка!*», «*Милая, дорогая Свет—Ланочка!*», «*Светлая—Лана, далекий мой и неповторимый друг Светлана!*» и т. д. Все такие многозначащие обращения почему-то убраны, будто это не частные письма, а какие-то деловые, чисто официальные документы. В самих письмах опущены отдельные, точнее — личностные фрагменты (снова же без указания места купюр, а только заменой их многоточием, которое может быть и авторским знаком препинания). Как, например, следующие: «*…в Узбекистане я обрел моего лучшего, прекрасного друга, пленившего все мои мысли и лучшие чувства, и он всегда неразлучно со мной*» (из письма от 29.11.1944 г.); «*Я вспоминаю пышные цветы на столе и того, кто гораздо лучше и краше тех цветов. Пусть радостно и весело живется ему на земле. И как радостна была бы встреча с ним в моей родной Белоруссии*» (из письма от 6.12.1944 г.); «*Милый мой далекий друг! Откликнитесь, дайте о себе весточку. Ведь я так часто думаю о Вас, хожу вместе с Вами по Пушкинской, Первомайской улицам, по Ульяновской и часто заглядываю под крышу Вашего домика в саду, где на столе горит лампа с выщербленным белым абажуром*» (из письма от 24.12.1944 г.); «*Уйти от того, что пережито и перечувствовано, нельзя. Вот почему мне дорого все, что напоминает о Вас: и дымка тумана, опоясывающая неясные очертания далеких гор вокруг Ташкента, и самый Ташкент с его стройными тополями, и арыки, как-то значительно и неумолчно булькающие летом — днем и ночью — вдоль улиц, и сами улицы, и Мельничный переулок, куда я очень часто заглядывал с большим волнением, а иногда просто как вор, и тот колодец, куда я сопровождал своего кумира и помогал ему нести воду, и горленки, воркующие, словно добродушные старушки, и своеобразный стук в закрытые ворота...*» (из письма от 21.6.1947 г.) и т. п. И гнев Светланы Александровны вполне можно было понять. Тем более что тексты (как, впрочем, и сама личность) классика национальной литературы — не чья-то частная собственность, и редактировать либо цензурировать их не имеет права никто. В том числе и ближайшие родственники. Чтобы успокоить адресата, я пообещал опубликовать все сохраненные письма и стихи в том виде, в котором они воплощены в коласовских рукописях. Что, кстати, и делаю. С одним только исключением: стихи публиковать не стану, ибо они, как уже говорилось, наконец заняли свое законное место в 3-м и 4-м томах издающегося сейчас Собрания сочинений Якуба Коласа в 20 томах. Предлагаемая же полная публикация писем поэта к Светлане Сомовой, надеюсь, станет своеобразным открытием для русскоязычных читатей журнала.

* * *

Как определить сущность взаимоотношений Якуба Коласа и Светланы Сомовой, начавшихся в августе 1941 года (в Ташкент Якуб Колас с семьей приехал 14 августа 1941 г.) и закончившихся только вместе со смертью песняра? Каким словом их назвать? Несомненно, эти взаимоотношения в значительной степени предопределялись необходимостью решения чисто утилитарных проблем. Светлана Сомова, работая в Союзе писателей Узбекистана, помогала многим писателям-

беженцам решать бытовые проблемы (поселение, питание, трудоустройство). Как мы знаем, помогла она в этом и Якубу Коласу, что не могло не вызывать чувства благодарности к ней. Но она же была, кроме того, и оригинальной поэтессой, часто печаталась, выступала на разных литературных вечерах. Скажем, на первом же литературном вечере в Ташкенте, в котором принял участие Якуб Колас (2 декабря 1941 г.), выступила — вместе с Анной Ахматовой, Владимиром Луговским, Гафуром Гулямом, Хамидом Алимжаном, Зульфией — и Светлана Сомова. Чувство уважения и любви к Якубу Коласу не раз воплощалось в ее искренних строках, посвященных белорусскому поэту, которые она читала непосредстваенно ему или присылала в своих письмах. Некоторые из них хранятся в архиве Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа в Минске. И белорусскому поэту это также не могло не импонировать.

В начале 1944 г. Светлана Сомова задумала написать целую поэму, главным героем которой был бы Якуб Колас: «*Милый, родной мой Константин Михайлович, если бы Вы знали, как мне не хватает Вас, Вашей доброты и внимательности, как я скучаю без Вашей улыбки и Ваших стихов, — Вы писали бы мне чаще… Задумала поэму «Друзья» — писать в ней нужно много, а вот рассказать бы интересно, тем более, что Вы являетесь ее героем. Буду посылать Вам отрывками. Недели через две — ждите*» (из письма от 20.2.1944 г.).

А вот несколько строф поэтического послания Светланы Сомовой «доброму другу» в только что освобожденную от фашистов Беларусь из далекого Ташкента (стихотворение «Когда зацветали вишни»):

Добрый друг мой! Двенадцать часов.
Может быть, Вы за книгой сидите.
Может, белый полет лепестков
У распахнутой двери следите.

В предвесенней встречаете мгле
Белорусскую ночь, не такую.
…О невиданной мною земле,
Вспомнив Вас, я сегодня тоскую.

Вешний ветер пускай понесет
Эту песню по дальней дороге,
Пусть внезапно она опадет
Лепестками на Вашем пороге.

Сколько ночью цвело их кругом,
На рассвете осыпалось сколько…
Это белым своим рукавом
Прошумела весна издалека.
(Из письма 1944 г.)

В другом письме поэтесса вспоминает свое стихотворение «Полночь», посвященное Якубу Коласу: «*Сейчас я заново переписала свою посвященную Вам «Полночь». Хочу, чтобы эти стихи вошли в мой сборник. Сегодня я пришлю Вам (или еще лучше — привезу!) эту книжку с теплой надписью*» (из письма от 27.7.1944 г.).

Или еще одно стихотворение — также проникнутое токами сердечности, — посланное в письме от 4 декабря 1946 г. со следующими словами: «*Сейчас я вспомнила строки одного, посвященного Вам, стихотворения. Кажется, оно даже неизвестно Вам. А если известно, прочтите еще раз и напишите свое мнение. Мне вдруг захотелось снова записать его.*

Одному человеку
Опять подходит ночь. И неудобно с ней,
Внимательной, вдвоем внезапно оказаться.
Ее не обмануть, как множество людей,
Скороговорке слов привыкших улыбаться.
Что нужно мне сейчас? Десяток папирос?

Неразрешимую житейскую задачу?
Охапку хризантем в тяжелых каплях рос
Да счастья грустного немножечко в придачу?
Мне знать бы (только знать!), что возле дальних рек
Всю ночь не спит доверчивый, как дети,
Немолодой уже, усталый человек.
Не спит… И я одна нужна ему на свете.
Мне только это знать… Но жизни ход таков,
Что бесприютен день и ночь неколебима.
А счастье грустное — в мгновениях стихов,
Стихов, плывущих вслед за синей струйкой дыма.

Заметим, что ни одного стихотворения Светланы Сомовой мы не отыщем в поэтических сборниках-посвящениях народному поэту Беларуси. Более того, эти посвящения даже не зафиксированы в его персональных библиографиях.

* * *

Светлана Сомова проявила себя и как талантливый переводчик, прежде всего — узбекской поэзии на русский язык. Один только факт в доказательство этому. Когда в 1945 г. возникла необходимость издать в Москве большую антологию узбекской поэзии, то именно ей поручили не только перевести многих узбекских поэтов, но и отредактировать воссозданное другими переводчиками. Якубу Коласу, оторванному от белорусскоязычной среды, также был необходим свой поэт-переводчик, который бы наладил постоянную связь с читателями, донес его мысли и чувства к населению и Узбекистана, и всего Советского Союза. Публицистические тексты народный поэт мог сразу писать (и часто писал) на русском языке, поэзия — дело другое: наиболее органично она проявляется только в родном слове. И Светлана Сомова (конечно же, не только она) на какое-то время стала для белорусского поэта связной между им и читателями — перевела ряд стихотворений на русский язык. Так, в коллективный сборик «Залп» (Ташкент, 1942) в переводе Сомовой вошли стихотворения Якуба Коласа «Москве», «Расставанье», «Над могилой партизана», в журнале «Славяне» (1942, № 2) была напечатана в ее переводе «Засада», в газете «Правда» (1945, № 239) — «Лесам Белоруссии» и т. д. О переводах произведений белорусского поэта свидетельствуют, в частности, и строки из отдельных писем поэтессы-переводчицы к Якубу Коласу:

«*Что-то Вы пишете сейчас? Пришлите мне свои стихи, а я переведу и напечатаю здесь во «Фрунзевце» (по старой памяти). Мне очень бы хотелось хоть изредка получать от Вас весточку и стихи и отвечать тем же… Я перевела Ваши стихи о Свислочи. Следующий раз пошлю Вам на память*» (февраль 1942 г.);

«*Вчера мы с Эди читали «Сымона-музыку». Я уже перевела при ее помощи несколько отрывков. Какая чудесная, благоуханная поэма! Это — не только музыка слова, это музыка светлой человеческой души, музыка природы, тоненького, нежно-зеленого стебелька под солнечным лучом. Я горда тем, что Вы доверяете мне перевод поэмы. Принимаюсь за нее с трепетом. Никому не под силу сделать перевод эквивалентным поэме. Боюсь за себя. Боюсь за Поэму. Одно только — может быть, любовь к Вам, удивление перед Вашим светлым талантом помогут как-то решить эту неразрешимую задачу*» (из письма от 27.7.1944 г.);

«*Хочу выехать в начале сентября и привезти Вам в Москву забавный подарок — свои переводы всех Ваших оставленных у меня лирических стихов. Это — целый сборничек, необычайной чистоты и тонкости. Отпечатаем его тиражом 2 экземпляра — Вам и мне. Перевод — это второе рождение стиха. Второе рождение этих стихов было очень радостным для меня…*» (из письма от 1.8.1944 г.);

«*Я всерьез увлеклась переводом Ваших стихов. Вот еще одно, грустное. Грустные у меня всегда получаются лучше.*

Травы пожухли. Листы облетают.
Ветер пригнулся до самой земли.
Шепчет цветам: холода наступают!
Шепчет он лесу: засни, задремли!

Ветер, ты — друг мой! Я слышу намеки:
Хочешь и ты мне на ухо сказать —
Близок твой вечер, путь недалекий,
Узел последний пора завязать.

Ветер, ты — брат мой! Слушать мне горько
Шум твоих крыльев и твой разговор.
Хочется верить — выплывет зорька,
Выйдет из тени на самый простор.

Может, я хворый, измучен дорогой,
Тяжким раздумьем своим отягчен…
Справлюсь я, друг мой, с житейской тревогой,
Вынесут волны мой парус, мой челн.

Тихой дремотой объятые горы!
Тонущий в мраке ореховый чай!
Сердце не слушает ветра укоры,
Сердце не хочет сказать вам — прощай.

Понимаете ли Вы сами, какие это прекрасные стихи? Как сквозь глубокую, несравненную по своей чистоте грусть прорывается страстная жажда жизни?

Вы — исполинский поэт. И именно в лирике, в таких вот стихах. Бросьте всякие казенные дела и пишите стихи. Милый мой! Я как-то очень взволновалась сейчас, когда окончила перевод этого стихотворения (и перевела его без Эди — видите, как уже знаю по-белорусски!). Так вот, я хочу, чтоб Ваша жажда жизни не изменила Вам, чтоб она вытащила Вас из унынья и вернула Вам бодрость» (из письма от 7.8.1944 г.);

«*Сейчас окончила перевод «Салара». Посмотрите, какая прелесть получилась! Вы его написали 3/VIII—43 г. И вот, год спустя, стихотворение родилось заново, чтобы украсить собой русский язык.*

Не сердитесь за некоторые, очень маленькие, отклонения. Вы повторяете слово «Салар», рифмуя его со словами, которых нет в русском языке — гушчар, мар, абшар. Пришлось вводить новые. Но они так органически звучат в общем образном и эмоциональном строе стиха, так он задушевен и тонок, что, ей-богу, Вам не надо на меня обижаться.

Спасибо Вам, дорогой мой, за эти стихи, за то, что они лежат на моем столе, украшают мои ночи и помогают мне самой становиться поэтом» (из письма от 15.8.1944 г.);

«*И опять ночь. И опять Светлана пишет Вам неровные строчки возле светлой свидетельницы своих ночей — Вашей лампы. Перевожу Ваши стихи. Сегодня отделала дочиста мои самые любимые — бессонную ночь, криничку, Весну, отступилась радость и… окошко. Пожалуй, пошлю Вам его обратно. Уж очень оно мне дорого… И не только потому, что очень помню, как стукнула в окно и как приветливо Вы взглянули, а и потому, что это — близкие мне интонационно и вообще прекрасные стихи.*

Вот они! Конечно, получилось хуже, чем у Вас, и чуть по-моему. Здесь уж ничего не поделаешь.

Бывает, сердце радо стуку,
Лишь им, как музыкой, полно.
И я благословляю руку,
Что постучала мне в окно.

Еще живут — усмешка, брови
И звезды глаз из-под бровей,
И огонек приветный, новый,
Что заструился из очей…

Как сладко вспоминать об этом,
Как больно вслух произнести —
Иль мало песен непропетых?
Иль мало огоньков в пути?

Волна волну встречает в море
И прочь плывет за рубежи,
Но грустно ей в седом просторе.
А что ей грустно? Расскажи!

И я мелькну волной печальной,
Огни и песни притаю,
Окликну только песней дальней
Ее, красу-весну мою…

А знаете, оказывается, Вы много научили меня своему языку. Я работаю над Вашими стихами и поэмой уже почти без помощи Эдди» (из письма от 4.12.1946 г.).

В частном архиве родственников Якуба Коласа находится машинописный сборник «Последняя весна» (первоначальные названия: «Ташкентская тетрадь», «Светлана»), состоящий из 16 произведений поэта в переводе на русский язык Светланы Сомовой. Это прежде всего стихи, написанные благодаря теплым взаимоотношениям с самой переводчицей («Светлана», «Светланин уголок», «Позабыла ты, радость моя, обо мне…», «В бессонную ночь», «Стук», «Криничка», «Моей весне», «Последняя весна» и др.), а также стихотворение «Памяці герояў» и отрывок из поэмы «Рыбакова хата». Некоторые из названных (и неназванных) переводов печатались в разных изданиях. Оригиналы этих произведений поэт в свое время дарил Светлане Александровне. Благодаря этому, кстати, многие из них и сохранились до сегодняшнего дня. Так, в письме к Якубу Коласу от 16 февраля 1952 г. Светлана Сомова писала: «*Знаете, до того я растосковалась, что начала рыться в своих архивах, вытащила все Ваши старые письма, стихи — и стала перечитывать. Помнится, Вы просили найти эти стихи, говорили, что у Вас они не сохранились. И, знаете, их много — 30 стихотворений. Это целая книга, нежная и грустная, но светлая — совершенно прозрачная по своему рисунку, как солнечный день осенью…*».

* * *

Уже одно это — родственность духовная, близость поэтических талантов, литературных интересов, творческая заинтересованность друг в друге — не может не предопределить глубину и продолжительность контактов двух лиц. А если еще это лица разного пола? И если они внешне нравятся друг другу? Здесь в дружбе не препятствие и значительная разница в возрасте (о чем свидетельствуют многочисленные примеры из среды современной творческой элиты), и семейные обязанности…

Несомненно, Якубу Коласу нравилась Светлана Сомова и как женщина, а не только как родственный поэтическим талантом, близкий духовно и душевно человек, о чем мы найдем доказательство во многих письмах Его к Ней. Молодая женщина (моложе народного поэта на 30 лет), мать двух «хлопчыкаў-янтарыкаў» (так называл Якуб Колас ее загоревших на южном солнце деток), среднего роста шатенка с какими-то необычными васильковыми глазами (Эди Огнецвет запомнила ее именно такой), она была чрезвычайно привлекательной той красотой женщины-матери, которую в своих стихах прославлял еще Максим Богданович.

Чувство, возникшее в душе нашего поэта к Светлане Сомовой, видимо, точнее всего можно было бы выразить русским словом «увлечение» или даже словом «любовь», но только в его белорусском значении.

В русском языке, в отличие от белорусского, существует понятийная лакуна: «любовь» не разделена на специфическое психофизиологическое чувство к лицу противоположного пола («каханне») и горячие эмоциональные отношения ко всему остальному («любоў» — к природе, родине, другу и т. д.). По существу, на русский язык нельзя адекватно перевести стихотворение Нины Мацяш «Люблю» — эпиграф данной статьи, наиболее верно, как мне кажется, выражающий характер продолжительных личных взаимоотношений классика белорусской литературы и русской поэтессы. «Я не кахаю Вас. Я Вас люблю» могли бы сказать они друг другу: Светлана Сомова — Якубу Коласу и Якуб Колас — Светлане Сомовой…

Именно в таком — белорусском — значении, только в русском написании и произношении, и использовал Якуб Колас слово «любовь» в своих устных и письменных, стихотворных и прозаических обращениях к Светлане Сомовой. Вот два характерных высказывания из писем к ней: «*Просмотрел сегодня — хочется все написанное перечеркнуть и написать только одно или два, самое большее — три или четыре слова: «Как Вы дороги мне!». «Как я люблю Вас!»* (из письма от 30.11.1944 г.); «*Милый мой, дорогой друг, желаю Вам успехов, мирного и радостного благополучия. Не забывайте того, кто больше всех на свете любил Вас и желает Вам счастья*» (из письма от 14.10.1948 г.). О таком чувстве белорусского поэта к Светлане Александровне знали и многие из их окружения, о чем с понятной женской радостью и гордостью сообщала она самому Константину Михайловичу: «*А сегодня вечером я была у Эди. Она позвонила, что от Вас телеграмма. Мы сидели с ее разговорчивой мамой, которая все говорила о Вас и о том, как Вы меня любили. И неловко, и радостно мне было слушать эту недалекую добрую женщину. А все-таки, хоть и неловко, приду и послушаю еще. Очень хорошо, когда любят…*» (из письма от 11.7.1944 г.). Именно это чувство любви породило целый ряд теплых, проникновенных лирических стихотворений Якуба Коласа тяжелого военного и хлопотного послевоенного времени, что в *тех* условиях без *этого чувства* было бы невозможным. И Светлане Сомовой как женщине мы, читатели, в большой степени обязаны значительному расширению жанрового диапазона творчества народного поэта Беларуси, буквально до последнего времени слывущего мастером лишь гражданской и пейзажной лирики. Видимо, недолго осталось ждать издания и отдельного сборника интимной лирики Якуба Коласа.

Впрочем, свое чувство любви в отношении к Якубу Коласу в таком, белорусском, значении этого слова носила в своем сердце и Светлана Сомова. Об этом, в частности, свидетельствует и одно ее четверостишие, вызванное, видимо, укорами Якуба Коласа: мол, Вы, Светлана, меня, старого пня, не любите…

Зачем же сравнивать со старым пнем себя?
Вы старый, но не пень.
Вот если б не другого тень…
Но как же полюбить уже любя?

У каждого из них в жизни была своя любовь («каханне»): у Якуба Коласа — к жене, матери его детей Марии Дмитриевне, у Светланы Сомовой — к мужу, отцу ее детей Игорю Андреевичу Герарди (1911—1983), известному во всей Средней Азии инженеру-ирригатору, «тень» любви к которому («Но как же полюбить уже любя?») ложилась и на отношения двух поэтов. А то, что Светлана Александровна любила («кахала») своего мужа (во всяком случае, до определенного времени), говорят факты, засвидетельствованные и в ее письмах к Якубу Коласу, к которому она обращалась тепло и нежно: «*Самый дорогой друг*», «*Милый мой Константин Михайлович*», «*Родной мой Константин Михайлович*», «*Ненаглядный мой Константин Михайлович*», «*Хороший и все более любимый*

Константин Михайлович», «*Солнышко мое белорусское, ласковое и нежаркое, и никогда не потухающее*»… В одном из писем (от 5.4.1944 г.) она жаловалась, что ее «*муж, как всегда, очень равнодушен к семье*». В другом письме, через месяц, с отчаянием писала: «*3-го мая я отправила своего мужа на полевые работы в Бухару, а вчера узнала, что он живет (какое страшное слово!) с одной женщиной, инженером*» (из письма от 6.5.1944 г.). И все же даже измену она простила мужу (только любимому — «каханаму» — можно такое простить!). Когда он через какое-то время «*приехал с температурой выше 40 и каким-то новым, страшным типом малярии*», она все же не отказалась «*укладывать его в больницу, выхаживать, дежурить там и два раза в день носить туда ему пищу*» (из письма от 9.10.1944 г.).

Про любовь (а не «каханне»!) Светланы Сомовой к белорусскому поэту говорят ее многие открытые признания, которые могли бы в пору романтизма сойти за образцы любовных посланий. Вот, в частности, что она писала Якубу Коласу из Ташкента в Москву 4 сентября 1944 г.: «*Вышло так, что я отдельно от Вас, много пережив и перечувствовав за этот год, много подумав над Вашими стихами, надышавшись ими, — гораздо глубже оценила и полюбила Вас. Большое всегда лучше видно на расстоянии. Я не знаю, занимаю ли в Вашей душе такое большое место, как Вы в моей. Думаю, что нет. Но если все же я со своей неровной горячностью хоть немного оживила Вашу жизнь и Вы меня чуточку любите — не уезжайте из Москвы до моего приезда. Давайте встретимся еще раз на круглом земном шарике и улыбнемся друг другу. Для того, чтобы жить стихом, надо хоть изредка радоваться*». Поздравляя своего любимого друга с днем рождения, Светлана Сомова в письме от 23.10.1944 г. сообщала: «*День Вашего рождения — праздник не только в Белоруссии и в Вашей семье, это — праздник в далеком Ташкенте, у меня. В этот день я куплю для Вас чудесные хризантемы у Полякова (помните, какие приносила Вам, пунцовые с седым отливом?), поставлю на своем столе и буду радоваться Вам издалека... Душою я с Вами, около Вас, улыбаюсь Вам и греюсь Вашей доброй ответной улыбкой. Милый мой! Как давно уже я Вас не видела, как соскучилась!..*» А как хотелось Светлане встретиться с Якубом Коласом в Москве во время ее запланированного приезда в столицу страны! «*Конечно, в стихе человек всегда любит больше, чем в жизни. Конечно, Вы уже забыли ту самую Светлану, которая полтора года спустя переживает Ваши стихи и старается не плакать над ними. Все это так, но, пожалуйста, вспомните, что Вы меня немножко любили, и не уезжайте из Москвы, не дождавшись меня. Я хочу еще Вас видеть! Ей-богу, жизнь отпускает человеку очень мало радости, и надо ее, радость, уважать. Вы стали моей радостью, я хочу видеть Вас, хочу слушать Ваши стихи и читать их Вам, и свои стихи тоже хочу читать Вам*» (из письма от 4.12.1946 г.). Ибо, как не раз в своих письмах искренне признавалась Светлана Сомова, «*без Вас для меня и Москва — не Москва*» (из письма от 23.10.1944 г.)…

* * *

Может возникнуть вопрос: знала ли о контактах со Светланой Александровной Сомовой жена Якуба Коласа Мария Дмитриевна? И, если знала, как к ним относилась? Знала. Подтверждение этому находим, в частности, в дневниках поэта: «*Беглі з Марусяй наперагонкі к тэлефону: званіла С.*» (1.4.1943 г.); «*Маруся купіла на рынку тытуню. Яна спаткалася з С.*» (24.4.1943 г.); «*Прыехала Маруся. Прывезла газету і пісьмы — ад Ігнася і С. С., відаць, у гэтым годзе не прыедзе*» (24.10.1944 г.). Да и сама Светлана Александровна в своих письмах к Константину Михайловичу непременно передавала привет Марии Дмитриевне, волновалась за ее здоровье: «*Марию Дмитриевну нужно всеми силами поправлять. Я думаю, что самое хорошее было бы устроить ее в какой-нибудь санаторий, туда, где не*

будет хлопот. Дома она не усидит. И перед тем, как переезжать на отдельную квартиру, что тоже требует немало сил, устройте ей месяц-полтора хорошего санаторного отдыха. Передайте М. Д. от меня большой привет, будьте здоровы и подольше не забывайте свою Светлану» (из письма от 5.4.1944 г.); «*Крепко Вас целую. Передайте мой привет Марии Дмитриевне и сынам. Светлана*» (из письма от 9.10.1944 г.); «*Я очень тревожусь за Вас и Марию Дмитриевну. Говорят, что эта операция мучительна и опасна. Дай Бог ей справиться со всеми напастями и чувствовать себя хорошо! Все это время душою я с Вами. Думаю о том, как Вы безумно волнуетесь, как бесприютно Вам без тихой и ласковой заботы М. Д., как страшно подходить к больнице. Мужайтесь, дорогой мой друг!.. Берегите Марию Дмитриевну. В ней — Ваша жизненная опора. О, как тяжело человеку одному на свете!..*» (из письма от 12.1.1945 г.).

Иногда (и это можно вполне понять) увлечение мужа Светланой Сомовой вызывало у Марии Дмитриевны и определенную ревность, о чем свидетельствует та же «Кніга Ташкенцкага быція: дзень у дзень»: «*Маруся захварэла. Ніколі такой цяжкай хваробы ў яе не было. Прычына... ну што казаць? Можа, нават і я прычына*» (запись от 10.6.1943 г.). Но тут же Константин Михайлович открыто и искренне (ибо запись не для посторонних) признается: «*Мая бедная Маруся! Як блізка да сэрца яна ўсё прымае. Не ведае, што* ***больш дарагога чалавека за яе ў мяне нікога на свеце няма*»** [подчеркнуто мной. — **В. Р**.]. И это были не просто слова. Так, в одном из писем к той же Светлане Сомовой, когда уже не стало Марии Дмитриевны, поэт писал: «*Сегодня было бы ровно тридцать два года совместной жизни с моей незабываемой Марусей, если бы она была жива. Но не судила ей доля дожить до этого дня. Время идет, а моя острая боль тяжелой утраты сжигает меня, и когда я говорю о своем потерянном друге, мне трудно удержать слезы. Моя жизнь как-то поблекла и потеряла для меня свой интерес. Хожу я и езжу по улицам сожженного и разрушенного Минска, а вокруг полное одиночество*» (из письма от 16.6.1945 г.). А буквально через несколько дней, жалуясь на плохое самочувствие, сообщал своему адресату: «*Мне иногда кажется, что я хожу на каких-то соломенных ногах, а в черепной коробке налито олово. И не с кем мне поговорить, немножко пожаловаться и получить заботливую поддержку. Но когда я говорю об этом, то мне трудно удерживать слезы. Два раза за эти дни был на могиле М[арии] Д[митриевны]. Ее могила аккуратно обложена дерном. В ближайшие дни будет сделана железная ограда, а в недалеком будущем я поставлю скромный памятник своему искреннейшему, чуткому другу, который, на мою огромную скорбь, отстал в пути и покинул меня в одиночестве*» (из письма от 20.6.1945 г.). Еще в 1943 г. в стихотворении «М. Д. М.» Якуб Колас признавался: «*…ты ў душы маёй адна*», а в те дни, когда писал цитированные выше письма Сомовой, в стихотворении «На ростанях» (17.6.1945 г.) с болью поведал: «*Мне не стае душы паловы*», пожаловался на горькую судьбу: «*…я не ўбачу больш ніколі // Цябе, мой лепшы ў свеце друг!*» Таким образом, поэт в своих интимных чувствах определенно отдавал преимущество своей первой и единственной любимой («каханай») женщине — жене, матери родных сыновей. Со своей стороны, Мария Дмитриевна в целом спокойно, мудро, с пониманием относилась к увлечению мужа: он же — натура поэтическая, а кто из поэтов не преклонялся перед женской красотой и молодостью!..

Светлана Александровна во время одной из наших встреч рассказала мне, что отношения между ними, двумя женщинами, были вообще вежливыми, приятельскими. Когда Мария Дмитриевна заболела, они с Константином Михайловичем навещали ее в больнице. А когда ее саму на несколько месяцев послали на фронт выступать перед бойцами, то, с другой стороны, Мария Дмитриевна даже взяла своеобразное шефство над ее детками: сушила сухари и приносила им. «Да и какими другими отношения могли быть, ведь мы с Константином Михайловичем были лишь друзьями, всегда сохраняли определенную дистанцию, обращались друг к другу только на «Вы»! И не только при жизни Марии Дмитриевны, но и после ее смерти».

Интересны следующие факты взаимоотношений белорусского песняра и русской поэтессы (из воспоминаний Светланы Александровны). В 1950-х гг. Светлана Сомова с детьми из Ташкента переехала в Москву. Во время посещений Якуба Коласа столицы страны (участие в сессиях Верховного Совета СССР, заседаниях Комитета по Сталинским премиям, пленумах Союза писателей СССР и др.) они, бывало, встречались. Вот два факта, гаворящих о многом. В частности, — о своеобразной дистанции между ними, установленной не столько Им, сколько Ей. Однажды во время встречи поэт предложил вместе сфотографироваться. Шли они как раз мимо фотостудии. Светлана категорически отказалась. В другой раз, в той же гостинице «Москва», в киоске лежала очень красивая брошь: черный агат с каким-то беленьким камушком. Якуб Колас захотел подарить ту брошь Светлане, но та снова отказалась. «И не жалеете сейчас?» — помню, спросил я. — «Жалею до сего времени. Глупой была, молодой, излишне гордой, боялась быть зависимой... Хоть какая-то материальная память осталась бы от Якуба Коласа». И сказанному Светланой Александровной нельзя не верить...

Хотя нужно сказать, хочется верить и Фридриху Ницше, который в своей знаменитой книге «Так говорил Заратустра» высказался о женщине следующим образом: «Слишком долгое время в женщине страдал раб и тиран. Поэтому она не способна на дружбу: она знает лишь любовь. В любви ее всегда есть несправедливость и слепота ко всему тому, что не требуется ей. Но и в сознательной любви женщины присутствует и внезапность, и молния, и темнота вместе со светом. Пока еще не способны женщины на дружбу; но ответьте вы мне, кто из вас способен на нее?» Именно эти особенности женского характера нередко вызывали довольно тяжелые переживания Якуба Коласа. Особенно в последнее десятилетие его жизни, когда он остался в душевном одиночестве (у взрослых сыновей появились свои семьи), и были также связаны со Светланой Сомовой (правда, как мы сейчас знаем, не только с ней…). Эти душевные волнения, которые он испытал в период своей «третьей молодости» (Максим Рыльский), поэт весьма ярко выразил в скопированном мной в домашнем архиве Сомовой и неопубликованном пока что в Собрании сочинений стихотворении Якуба Коласа «На апошняе развітанне. Святлане Сомавай»:

Ці помніце мяне, ці не,
Не ведаю, Святлана.
Адно вядома: аб Вясне
Ўздыхну не раз упатайне —
Бо ж песня адспявана!

Вандроўныя мы хвалі дзве,
Што стрэліся ў патоку,
Ды кожная адна плыве,
Пакуль не згубіцца ў траве,
Прыбіўшыся ў затоку.

Пазнаў я мукі, боль і сум
Бясплоднага спаткання.
Астыў, улёгся хмельны шум,
І дзесь крумкач крычыць: крум! крум!
То — песня пахавання.

Стихотворение написано 12 апреля 1955 года. Через год с небольшим Якуба Коласа не стало…

* * *

Хорошо известно, каким страстным грибником был Якуб Колас. В далеком Ташкенте он не раз вспоминал белорусский бор, а в нем — «нерушы» (нетронутые места) черноголовиков-боровиков. Рассказывал о своей «тихой охоте» узбекским

и русским коллегам, друзьям, в том числе и Светлане Сомовой. Неоднажды звал ее приехать в Беларусь, увидеть своими глазами «белорусское грибное царство». Светлана Александровна, очевидно, и не против была посетить родину своего друга. «*Мне хочется в Москву, а оттуда на недельку-другую к Вам в Белоруссию, в лес к боровикам, которые Вы обещали!*» — в частности, писала она Якубу Коласу еще в середине июля 1944 года. Однако ни тогда, ни позже — вследствие разных субъективных и объективных причин — не суждено было свершиться тому приезду. Но если грибник не может поклониться боровику, то боровик может сам явиться к нему на поклон. И я однажды привез Светлане Александровне вязанку прекрасных — один к одному — высушенных боровичков. «Боровики приносили вдохновение Якубу Коласу, принесут они его, несомненно, и Вам, — заверил при этом ее. И добавил: — Собраны они недалеко от Минска, в лесу возле моего родного Ракова, где после войны собирал грибы Якуб Колас. Возле Ракова, в деревне Полочанка, в летние месяцы 1953—1956 гг. Константин Михайлович снимал дачу для себя и семей своих сыновей Данилы и Михася. Собрали и высушили грибы специально для Вас моя жена Татьяна Вячеславовна и наши сыновья Всеволод, Максим и Петрусь…»

В разговоре со мной Светлана Александровна, как бы проверяя правдивость сказанного когда-то Якубом Коласом, расспрашивала про наши леса и пущи, про белорусские боровики. Я, разумеется, подтверждал слова поэта. А вместе с тем рассказывал об огромном значении творчества народного поэта для белорусской культуры и Беларуси вообще, о том, как у нас его знают, любят и почитают. Падарил ей и несколько изданий произведений Якуба Коласа, фотоальбом о его жизни и творчестве. К сожалению, в том альбоме ни портрета, ни даже упоминания о Сомовой не оказалось… Светлана Александровна сняла с книжной полки последний по времени издания сборник своих стихов и поэм «На восходе луны» (Москва: Советский писатель, 1984), подписала и протянула его мне. Уже в номере гостиницы я прочел: «*Вячеславу Петровичу — за его любовь к Якубу Коласу. Светлана Сомова. 3 февраля 88 г. Москва*». А где-то через три месяца получил от Светланы Александровны письмо. А в нем — такие слова: «*Вы правы: боровики приносят вдохновенье. Они лежат передо мною на столе, и стихи названы «Белорусский боровик». Вышли они или нет, не знаю… Привет Татьяне Вячеславовне и орлятам. Светлана Сомова*». На отдельном листке бумаги рукой автора было написано само стихотворение. Возможно, последнее в ее жизни:

Белорусский боровик

Я щекою прижмусь к руке,
Той, которую ты
Поцеловал на прощанье.
Ангел мой, в каком далеке,
В синем озере доброты
При луне лебедей купанье?
А кругом — белорусский бор
И коричневый боровик
С ярко-белой своей опушкой…
И Якуба Коласа взор
Тихой лаской сюда проник,
С затаенной мечтой о лучшем.
Верю в переселенье душ.
Я в тебе узнаю его
На короткое, пусть, мгновенье.
Да и я молода к тому ж.
Мне апрельское волшебство
Подарило свое свеченье.

30 апреля 88 г. Светлана Сомова.

Окончание следует.

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ

«Донжуанский список» Короткевича*

Журнал «Нёман» продолжает знакомить своих читателей с исследованием Дениса Мартиновича «“Донжуанский список” Короткевича». Автор рассказывает о судьбе десяти женщин, которые повлияли на жизнь и творчество писателя. В прошлом номере были напечатаны истории четырех муз Владимира Короткевича, с которыми он встретился в Киеве и Орше. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию вторую, заключительную часть исследования. Его героини — шесть женщин, которые вдохновляли писателя в Москве и Минске.

Раиса

В 1958 году Владимир Короткевич перебрался в Москву. Следующие четыре года его жизни связаны с этим городом, с учебой на Высших литературных (1958—1960) и Высших сценарных (1960—1962) курсах.

Первому периоду посвящен роман писателя «Леаніды не вернуцца да Зямлі». Его московские страницы начинаются с ситуации, когда главный герой Андрей Гринкевич (прототипом был сам Короткевич) встречается с Марией Крат. В последнее время в литературоведческих статьях, посвященных писателю, откровенно говорится о главном прототипе героини. Эта чеченская поэтесса Раиса Ахматова. Об их взаимоотношениях 9 апреля 1959 года пишет в письме Юрию Гальперину сам Короткевич: *«Ведь ясно же каждому, что у меня с Руан»* (так он называл в переписке Ахматову. — **Д. М.**; БелДАМЛІМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 20); утверждается в публикации «Комсомольской правды в Белоруссии» от 30 июля 2009 года *(«Короткевич встречался с чеченкой-поэтессой»);* есть прозрачный намек в воспоминаниях Нины Молевой, преподавательницы Высших литературных курсов *(«за первым столом неразлучная пара Владимир Короткевич и красавица чеченка Раиса Ахматова. (...). Общая симпатия была на стороне Раи Ахматовой: народ, депортированный в Сибирь не за преступления — за простую этническую принадлежность. Всегда исполненный горечи взгляд и отчаянная привязанность к сыну, который звал В. Короткевича отцом и дожидался окончания занятий его и матери в садике Литературного института. В памяти осталось даже имя затравленного обстоятельствами малыша: Марат»).* Кстати, именно сыну посвящен сборник Ахматовой «Иду к тебе» (Москва, 1960), а также ряд стихотворений.

В романе «Леаніды...» также упоминается сын главной героини: *«Вот сын у нее чудесный. Как приезжает — целыми днями с ним дурачился бы... Глазастый, такой, веселый. И меня очень любит. Если бы можно было, — взял бы одного сына, без нее».*

Раиса Ахматова родилась на два года раньше, чем Короткевич, в 1928 году, в Грозном в семье сапожника. Когда будущая поэтесса заканчивала девятый класс в

* Окончание. Начало в № 9, 2012 г.

Раиса Ахматова

Нина Молева

Новелла Матвеева

1944-м, ее вместе с семьей выслали в Казахстан. Такая судьба постигла около 500 тысяч чеченцев за «сотрудничество» с немцами. Как спецпоселенка Раиса работала в колхозе. Потом окончила педагогическое училище и преподавала в школе. В 1953 году начала выступать в печати со стихотворениями, очерками, рассказами. Как только представилась возможность, она вернулась на родину. Это произошло в 1956 году, а в 1958-м у Ахматовой вышла первая книга — «Республика родная». Вскоре Раису направили на учебу в Москву на Высшие литературные курсы, где она познакомилась с Короткевичем.

«Что свело? — рассуждает в романе главный герой. *— Жалость к ней, чья жизнь сложилась так неудачно, любовь к ее сыну, чудесному маленькому человечку... Ну, еще безразличие к тому, с кем идешь. Потому что со всеми одинаково... И еще боязнь пустоты рядом с собой».*

Кто был мужем Раисы Ахматовой и отцом Марата, неизвестно. В книге «Трудная любовь», которая вышла в 1963 году в Москве, автор обозначена как Ахматова (Ибраева). Возможно, это была ее фамилия по мужу.

В «Леанідах...» отношения между Андреем и Марией осложнились из-за безосновательной ревности героини. *«Плохо только, что в последнее время она его бессмысленно, глупо ревнует. Впустую. Не согрешил пока что ни поступком, ни взором. Женщины, вообще, бывают глупыми в ревности: не знают, что если мужчину все время безосновательно ревновать, то он наконец может действительно пуститься во все тяжкие грехи — «если уже ревнуют, так пусть хоть недаром». Вот и эта: начала с шуточной ревности, потом втянулась, и сейчас ей действительно кажется, что каждая встречная женщина только и думает, чтобы посягнуть на меня».*

Между тем, все действительно началось с шутки. 7 мая 1959 года Владимир Короткевич писал Юрию Гальперину об этом эпизоде: *«Чего не люблю в людях — навязчивости. Сие качество и возбудило подозрения Р. (я ее навязчивость не замечал и, будь я один, был бы даже рад). Но хватит. Твое замечание о том, что «недоверие, не появись оно сегодня, а появилось бы завтра по какому-либо другому поводу», глубоко справедливо. Я знаю, что это так, и сделал свои выводы* (подчеркнуто В. Короткевичем. — **Д. М.**). *Началось все с того, что Р. и ее соседка, сидя в компании И.* (Инны — московской знакомой Короткевича. — **Д. М.**) *и еще одного сволочеватого парня, пару раз весьма прозрачно намекнули на недопустимость такого поведения. Кажется, И. не поняла, а я потом этим сестрам-разбойницам устроил хорошую головомойку, — лучшей они за всю жизнь не получали. Вежливость с моей стороны была истолкована ими как нечто большее, — и вот началось.*

Милый друг, я страшно люблю свободу, даже от будущей жены буду требовать ее в достаточной степени (не злоупотребляя ею, конечно), но если

меня будут глупо ревновать, сковывать, стремиться создать вокруг меня зону пустыни — развод» (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 23, 23 об.).

Вскоре Короткевич влюбился в свою преподавательницу Нину Молеву, его отношения с Раисой Ахматовой были непродолжительными (они могут быть примерно датированны 1958—1959 годами). Впрочем, не совсем справедливо оценивать взаимоотношения Раисы и Владимира, основываясь только на впечатлениях последнего.

Как известно, Раиса Ахматова не оставила воспоминаний. Может быть, стоит обратиться к стихотворениям поэтессы того периода? С одной стороны, все они пронизаны любовью. С другой — нет никаких свидетельств о том, кому они адресованы. На мой взгляд, одно из произведений вполне может быть посвящено Короткевичу. Вновь обратимся к книге «Трудная любовь». Она вышла в 1963 году. Но учитывая факт, что издание включает в себя переводы, оригинальные произведения, очевидно, были написаны раньше. Процитируем одно из стихотворений целиком:

Пусть будет так:
Не обо мне ты пишешь,
Пусть каждая строка твоя —
О ней.
Ты моего дыхания
Не слышишь,
Ты глаз моих
Не видишь столько дней.

Но тень моя
У твоего порога
Все бьется,
Как у берега прибой.
Пусть я одна.
Но я не одинока:
Я тень твоя,
И я всегда с тобой.

Основанием для отождествления того, кому посвящено произведение, с Короткевичем стала фраза *«не обо мне ты пишешь, // Пусть каждая строка твоя, — // О ней»*. Речь, очевидно, идет о Владимире Семеновиче. Тем более, что Раиса знала Нину Молеву. Впрочем, это пока только версия.

В дальнейшем Раиса Ахматова стала самой известной чеченской писательницей советской эпохи. Долгое время она возглавляла Союз писателей Чечено-Ингушской АССР (1961—1983), а также Верховный Совет республики (1963—1985), получила звание народной поэтессы (1977). Умерла в 1992 году. Исследователи полагают, что полный архив ее произведений, который составлял более чем 600 папок, был уничтожен во время Первой чеченской войны. Той же мысли придерживается и чеченский писатель Канта Ибрагимов, который теперь возглавляет Союз писателей республики. В письме к автору этих строк он сообщил следующее: *«К большому сожалению, все, что сохранялось в личном архиве Раисы Салтмурадовны, уничтожено итогами известных и Вам событий в годы боевых действий на территории нашей республики. Даже у близких ей людей (невестка, которая стала беженкой) ничего не сохранилось»*.

Интересно, что, вернувшись в Чечню из Москвы, Раиса, по-видимому, поддерживала отношения со своей соперницей. В одной из публикаций К. Ибрагимов вспоминал о своей встрече с Ниной Молевой. Та *«поведала, что в начале 1990-х годов Р. Ахматова приехала к ней и привезла на хранение ковер, сказав, что в республике начинаются смутные времена. Ковер необычный. Он принадлежал имаму Шамилю. Попросила сохранить его»* (Молева положила ковер, который датировался XI столетием, в банковский ящик, занесла в каталог, а позже вернула его в Чечню). Разумеется, такой визит был бы невозможным при отсутствии определенных контактов в течение жизни. Но в те времена Раисе Ахматовой и Нине Молевой уже некого было делить.

Нина, или Короткевич и Молева. Реконструкция отношений

Нину Михайловну Молеву, доктора исторических наук и кандидата искусствоведения, автора ряда научных и художественных произведений, в Беларуси знают. В 1958—1960 годах она преподавала историю искусств на Высших литературных курсах в Москве, где учился Владимир Короткевич. Общепризнано, что Молева стала прототипом Ирины Горевой в романе писателя «Леаніды не вернуцца да Зямлі». Тем не менее и теперь история их взаимоотношений является тайной…

Отметим, что ни Владимир Короткевич, ни Нина Молева никогда не говорили откровенно о своих чувствах. Более того, несколько лет назад Нина Михайловна сказала в интервью газете «Комсомольская правда в Белоруссии» (от 30 июля 2009 года) следующее:

« — Нина Михайловна, в вас был влюблен Владимир Короткевич…

— Ни сном ни духом! (…) Когда мне говорят о любви Короткевича ко мне, я всегда это слушаю с определенной неловкостью. Все, что я о нем знаю, это то, что может знать школьный учитель о своем ученике. (…)

— Владимир Семенович признавался вам в любви?

— Что вы! Это было просто исключено.

— Но, говорят, именно из-за чувства к вам он не мог долго жениться.

— Конечно, мне, как любой женщине, очень лестно это слышать. Но не было никаких личных отношений».

Мнение Нины Михайловны психологически объяснимо, ведь никто не желает выносить на всеобщее обозрение собственные душевные тайны прежних лет. Между тем, взаимоотношения Владимира Короткевича и Нины Молевой напрямую повлияли на творчество писателя. Без их объяснения невозможно полноценное рассмотрение «московских страниц» в его биографии. Эти обстоятельства, а также очевидная спорность процитированных фрагментов объясняют мой интерес к этой истории.

Исследование имеет подзаголовок «Реконструкция отношений», поскольку в нем объединены разные источники. Шесть писем будущего классика к Нине Молевой, которые были переданы последней в Центральный московский архив — музей личных собраний (недавно они были напечатаны в сборнике «Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы»). Переписка Владимира Короткевича со своим другом Юрием Гальпериным (оригиналы писем хранятся в БелДАМЛМ) и Янкой Брылем (опубликованы в 1990 году в сборнике «Шляхам гадоў»). Непосредственно творчество писателя: роман «Леаніды не вернуцца да Зямлі», стихотворения и поэмы.

Даже если учесть тот факт, что роман считается автобиографическим, возникает вопрос, насколько ему можно доверять? Сам Короткевич умышленно писал в начале книги: *«Все события в этом романе — вымышленные. Всякое сходство с реально существующими людьми является случайным»*. Впрочем, такие фразы обычно пишутся в том случае, когда сходство более чем очевидно. Осторожный Анатоль Верабей писал в своей книге «Абуджаная памяць»: *«И персонажи произведения, и места, которые описывал писатель, под воздействием его фантазии приобретали свою, самостоятельную художественную жизнь»*. Чтобы разобраться в том, как реальность соотносится с действием романа, изложение событий в исследовании построено следующим образом. Литературный фрагмент в романе по возможности соотносится с цитатой эпистолярного наследия. Но в любом случае эта работа является реконструкцией, авторской версией взаимоотношений между Короткевичем и Молевой. Итак перенесемся на полстолетия в прошлое, в Москву времен «оттепели». На календаре — весна 1959 года…

Во время учебы на Высших литературных курсах Короткевич пришел на лекцию к преподавательнице Нине Молевой, которая, как известно, являлась прототипом

Ирины Горевой. *«Твоих лет,* — говорил Гринкевичу его друг латыш Янис Вайвадс, *— может, на год или два старше. А выглядит такой девчонкой».* И действительно, Нина Михайловна родилась в 1928 году, на два года раньше, чем Короткевич. Какой запомнили Ирину Гореву читатели «Леанідаў…»? *«Небольшого роста, она была очень худенькая, но так сложена, что напоминала ему балерину. Может, этому впечатлению помогала и клетчатая юбка колокольчиком, и серая кофточка из какого-то там нейлона. Очень худенькая, как ребенок (…). Обычное лицо. Мягкие серые глаза под изломанными бровями, густые ресницы. Волосы пепельно-золотистые, собранные на затылке в огромный узел. И растрепанные слегка, никак не хотят лежать в прическе. Такая растрепка! Великоватый, улыбчивый рот. (…) Зубы не очень хорошие, но улыбка все равно такая, что аж светлее стало. Очень красивые ноги, очень красивые движения. И все гармонично — хоть рисуй».*

Вскоре после первой лекции Гринкевич навестил родительский дом. А после возвращения в Москву слушателей литературных курсов ждала поездка на владимирскую землю, которая случилась в мае 1959 года. Там Горева предложила им послушать лекции под открытым небом.

В интервью Нины Молевой этот эпизод выглядит достаточно прозаично: *«он* (Короткевич. — **Д. М.**), *как и многие его сокурсники, ко мне пришел еще не сформировавшимся человеком. Я видела, что многое из того, что я говорила, буквально переворачивало что-то в его душе. Он становился другим.*

Вот пример. Я привезла учеников к Церкви Покрова на Нерли, вокруг была ужасная грязь, нужно было долго идти пешком. Короткевич и другие сказали: «Не пойдем! Ноги испачкаем». Я говорю: «Нет, пойдете как миленькие!» Они пошли. Я читала им тексты, стоя возле храма XII века. Владимир слушал не моргая. Потом написал свое «Дзіва на Нерлі».

А вот как описал этот эпизод Короткевич в письме Юрию Гальперину: *«Теперь о Владимире. Я пережил там сильнейшее* (подчеркнуто Короткевичем. — **Д. М.**) *(говорю не преувеличивая) потрясение в моей жизни. Не мне тебе рассказывать, что такое Успенский и Дмитриевский соборы, но, пожалуй, скажу пару слов о Покрове-на-Нерли. Я не верил, что человек может плакать, глядя на здание, и потому ставил архитектуру чуть ниже всех искусств. Так вот, я ревел, брат. Позорно ревел, и не стыдился, и не стыжусь. Боже мой, это чудо, это Китеж, это всех людей душа, лучших людей, (…). Нежная-нежная, чистая-пречистая. Как свечечка стройная. (…) Понимаешь, это надо видеть. Луга безграничные, сине-зеленые, золотые, майские. И она, бедная красавица моя, стоит, как Аленушка, почти окруженная водой. И ничего нет, белые стены да алтарный камень, да свет невесть откуда падает. И львы-рельефы улыбаются с квадратных колонн. И такая тишина, такой мир. Понимаешь, тогда не принято было преклонять в церкви колен, просто стояли и молча молились. И я также. Чуть не полетел под купол в столбе света.*

Понимаешь, Юрка, это не экзальтированная слюнявость, но когда я подохну — мне будет легче сделать этот последний шаг, потому что и дыхание Всеволода Большое Гнездо, и дыхание тысяч, и мое маленькое среди них останется там, в этих стенах. Хорошо, брат! Как вспомню о ней — сердце дрожит от радости» (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 30, 31).

Посещение церкви на Нерли не просто повлияло на писателя. Оно перевернуло его личную жизнь. Заметим, что еще до этого Короткевич попрощался с Раисой Ахматовой.

После посещения церкви Владимир пишет несколько стихотворений. Одно из них, «Дзіва на Нерлі» (датировано 26 мая 1959 года), более известно. А вот на второе, «Цягнікі заспявалі, заплакалі», обращает внимание не каждый:

Дні нядаўнія, ясныя, любыя,
Курганоў старажытных спакой,
Кураслеп на лугах Багалюбава,
Белы храм над Нерлю ракой.

Ці здалося мне, ці прыснілася,
Што ў вясеннія гэтыя дні
У вачах тваіх шэрых мілых,
Больш было да мяне цеплыні.

Ирина Горева, рассуждал в романе Андрей Гринкевич, *«совсем не нравилась ему как женщина. Но однажды он на минуту дал себе волю и спросил, а что бы он, Андрей, почувствовал, если бы она исчезла. И искренне ответил сам себе, что это было бы плохо. Незаметно он просто свыкся, что каждую неделю будет видеть ее, слышать ее голос, следить за ходом ее мыслей, смеяться над ее шутками.*

Он понимал, что ее лекции не просто лекции, что это еще и какой-то новый, пока мало понятный для него, взгляд на жизнь, на ее цвета и звуки, на человеческие чувства, на художника и искусство».

По сути, преподаватель открывала Короткевичу ранее не известный, волшебный мир искусства, собственным примером приобщала к тысячелетнему опыту и поискам человечества. На дворе бушевала весна, в душе и перед глазами была она. Владимир не мог не влюбиться.

Чтобы обнаружить в себе это чувство, Короткевичу понадобилось еще немного времени. *«В начале июля* (1959 года. — **Д. М.**) *друзья разъехались по домам. Андрей пожил недели три дома, а потом воспользовался приглашением дяди, по-походному быстро собрался и утром следующего дня уже выходил из поезда на перрон небольшой станции».* В романе она названа Суходолом. В реальности это Рогачев, где жил Игорь, дядя Короткевича.

В один из моментов герой *«вдруг с невероятной ясностью понял, откуда было томление. Не хватало ее. Не хватало звуков ее голоса, не хватало растрепанных прядей, серых кротких глаз, нежной выразительности движений. Не хватала до боли. Хоть кричи. «Что со мной? — подумал он. И внезапно падмывающая волна радости охватила его. «Кажется… кажется, это пришло… Наконец это пришло… Неужели?! (…) Ну конечно же, это было так. Конечно, не хватало ее. Он просто был уверен, что не может больше полюбить, потому и не думал о ней… А сейчас как будто омылись глаза. И мир такой широкий. И ветер дышит новой жизнью. Ну нет, жизнь еще не окончена. Жизнь еще можно начать сначала, вот тут, на этой большой реке, в эту минуту».*

Они снова встретились осенью 1959 года в Москве. В романе утверждается, что главной героини *«не было в Москве целый сентябрь».* Но в реальности 12 сентября Короткевич писал в письме к Юрию Гальперину: «*А рецензию оную я покажу нашему экскурсоводу. Ее первая лекция будет у нас только в среду, и я хочу, чтоб она прочла тоже. Потом сразу перешлю тебе»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 35).

21 сентября умер отец Короткевича, Семен Тимофеевич, писатель срочно вернулся домой. Те же события, то же время (конец сентября) описываются в романе. Как утверждает автор, *«через две недели»* после похорон герой вернулся в Москву.

В «Леанідах…» Ирина Горева пригласила Андрея Гринкевича к себе в гости. И однажды молодой поэт позвонил в квартиру на площади Маяковского (тот же адрес упоминается 21 декабря 1959 года в письме к Янке Брылю: *«сейчас у них прекрасная квартира в районе площади Маяковского»*). Но тут его ждал неожиданный «сюрприз»: двери квартиры открыл муж. Для поэта, который не знал о его существовании, это был психологический удар: «*Я прыйшоў да самых родных дзвярэй, // І тут // Забілі мяне»,* — напишет он в поэме «Плошча Маякоўскага». В то время лирический герой утверждал, что *«быў няздатны на метафары».* В соответствии с тем же поэтическим источником, это произошло «*ў чорны мой панядзелак. // Кастрычніка, дванаццатага чысла».*

Между тем человек, которого Гринкевич увидел на лестничной площадке, достоин подробного описания. *«Андрей увидел мужчину, темноволосого, с высо-*

ким, немного залысым лбом. Фигура тяжеловатая, взгляд глаз умный и искренний. Выражение облика — с той доброй, несколько излишней интеллигентской ироничностью, какую Андрей и любил, и не любил в людях своей среды. Он считал ее слишком городской». В «Леанідах…» этого человека зовут Михаил. Выбор имени, пожалуй, неслучайный. Именно так звали молодого человека, который женился на С. М. В реальности мужа Молевой звали Элигием (сокращенно — Элием) Белютиным.

Его назвали так по желанию дедушки, итальянского дирижера, в честь святого, который опекал ремесленников и художников. Родившись в 1925 году, Белютин в 16 лет пошел в армию защищать Москву. Как писали его биографы, *«на фронте ему прострелили легкие, там он заработал газовую гангрену левой руки, но остался живым и стал художником».*

Фронтовые подробности биографии главной героини выяснились во время одной из следующих встреч. В романе упоминается дата *«двадцать седьмого».* Какого месяца — не уточняется. Вариантов два — октябрь или ноябрь. Скорее всего, ноябрь, ведь в произведении упоминается и дата следующего свидания, которое произошло вскоре после предыдущего, — 2 декабря. Именно 27-го Андрей признался своей преподавательнице в любви. А она рассказала ему собственную историю: *«Я человек тяжелой судьбы. Война захлопнула передо мною двери в театр. Обмороженные в сорок первом руки — в музыку. А я… мне это было дороже, чем жизнь. Что мне осталось? Писать книги и объяснять другим. Нечто вроде причетчика при храме искусства».*

Согласно роману, в 1941 году Ирина Горева участвовала в защите Москвы. Ей было тогда пятнаццаць. Она добавила себе год и попала в ряды московского ополчения. *«Началось с обстрела. Когда он закончился, все поле было перерытое, как будто тут целую неделю копалась свинья. Огромная, со слона. А потом немцы пустили против нас пехоту и танки. Тяжелые танки «Валентин»… И тут случилось удивительное. Нас было две сотни почти ребят. И мы отбили танковую атаку… Витя* (первая любовь Ирины Горевой. — **Д. М.**) *сжег одну из машин… А нас осталось пятьдесят человек… И такое опьянение — мол, вот стоило нам прийти — и враг убегает, — что эти пятьдесят бросились в контратаку… Глупые, хорошие были парни… Командирам удалось их задержать… Витька подобрал немецкий автомат и прикрывал очередями тех, что отступали к своим окопам. Я была неподалеку. И тут… тут мина попала как раз в то место, где стоял он… Я еще успела увидеть: высокий такой, черный, масляной столб дыма и земли… И потом тьма… Меня подобрали парни. Михаил* (командир отделения. — **Д. М.**) *сам отправил меня в медсанбат… Но что они могли тогда? Осколок сидит в околосердечной сумке и теперь».* Согласно роману, именно Михаил стал ее мужем. *«Я ждала, и он ждал. Не уставал ждать. И говорил, говорил мне слова… Что мне было в жизни после той смерти? Жизнь отобрала любимый путь, жизнь лишила любимого человека… Я согласилась».*

Это события романа. Как они соотносятся с действительностью? Раньше уже шла речь об участии Э. Белютина в защите советской столицы. А вот цитата из воспоминаний Молевой о собственном представлении на литературных курсах: *«Представление нового преподавателя Ю. Г. Лаптевым было коротким. Ученая степень. Книги. Журналистская работа. Участница обороны Москвы. Участница Великой Отечественной».* Приведу еще одно доказательство насчет правдивости литературной цитаты. 29 февраля 1960 года Владимир Семенович писал из Москвы о Молевой своему другу Янке Брылю: *«И все равно, лучше бы не рождаться на свет. Потому что для нее остались считаные годы, возможно, месяцы. Была девчонка. Был взрыв бомбы. И как итог, осколок в околосердечной сумке. И операцию сейчас делать поздно».*

Кроме того, процитируем отрывок из «Балады пра галубіныя перы». В ней говорится о парне и шестнадцатилетней девушке, которые в начале войны пошли на фронт:

Хлопцы танкі сустрэлі ружэйным агнем
І забітымі ў полі ляглі. (...)
І дзяўчыну таксама не мінуў свінец.
Гарэлі пясок і трава.
Над грудзьмі белай зоркай застаўся рубец,
Дзе асколак пацалаваў.

Согласно роману, даже после искреннего разговора *«так и не дождался твердого ответа (...) сказал Андрей. — Она говорит, что я нерассудительный, разговаривает со мною обо всем, лишь бы не вспоминать того, что было»*. Это было какое-то наваждение. *«Андрею это было тем хуже, что он последние месяцы плохо спал. Он даже ел плохо в те дни, когда не видел ее. Как морфинист без морфия. День проходил в напряженных мыслях о ней, в упрямой, но часто бесплодной работе, в бесцельном шатании по городу. А вечером человек ложился в кровать и часов до четырех не мог спать. Лихорадочные мысли, фантазии, подчас какая-то путаная связь слов, внешне стройные предложения, которые ничего не означают. Потом — тяжелый сон, в котором он ни разу не видел ее. А потом, часов в семь, будто шоковый удар, когда просыпаешься, сидя на кровати»*.

Во время одной из экскурсий *«Ирина все время была спокойной и холодной, ни разу не задержала на нем глаз. Так, сухо пробегала взором. И от серебряного дня и от ее холодности в душе рождалось какое-то ликующее отчаянье»*.

Иногда трудно было понять, игра это с ее стороны или просто желание убежать от любви. На одной из лекций Горева рассказала слушателям якобы абстрактную историю, фактически посвященную их взаимоотношениям: *«Вот я, например, читала недавно роман. Он — американский художник. Она — психиатр из Парижа. Полюбили. Так, как редко бывает. Что делать ему без скалистых гор, без вспаханных прерий, без мамонтовых деревьев? И что делать ей без Парижа, без клиники, без дела своей жизни? И, как ни стараются, любовь гибнет, ведь каждый не может простить второму нежелания жертвовать собой»*. Из письма Юрию Гальперину 21 декабря 1959 года: *«Нас очень разделяет работа, крепко призывающая ее к Москве (...), но все это не важно, если она меня любит»*.

В романе после лекций Горева и Гринкевич направились на выставку, а потом в заснеженную зону отдыха. Позволю себе цитату из романа: *«Именно поэтому подал ей зеленый литовский платок и шубку, а потом вышел с нею на слепяще-белый снег, который еще не успели запятнать сетчатыми следами галош.*

— А на мне этот платок. Я не хотела сегодня идти с вами.

— А что платок?

— Так я в нем на матрешку похожа (...).

А деревья были заснеженные. И он сильно потряс за сук клена, под которым они шли. Искрометный, немного даже звонкий снег сухой пылью посыпался на них с ветвей. (...)

— Знаете, чего не хватает на этих синих деревьях?

— Знаю. Снегиря. Красной искры».

А теперь отрывок из письма Короткевича от 7 января 1960 года: «*Мне нужны ваши изумительные серые глаза, ваша улыбка, ваши «матрешкины волосы» под платком, мне нужна ваша любовь ко мне и моя бесконечная любовь к вам. (...) Для меня сейчас хорош снег только потому, что его можно отряхнуть на вас и на себя с ветки, хорош снегирь, потому что вы их любите, хороша луна только потому, что, — помните? — когда мы ехали из Загорска, она, как на воде, проложила дорожку на льду пруда. И кругом были черные силуэты верб, а по этой лунной дорожке скользили тени мальчишек»*.

Согласно роману, в тот день Горева сообщила Андрею, что *«вчера я почему-то дала согласие на операцию. Мне вдруг очень захотелась жить. Не знаю почему. В январе еду в международный госпиталь, в Вену. Если не поеду — обещают год жизни»*. В качества подтверждения этого факта приведем цитату из письма Короткевича к Молевой от 2 января 1960 года: «*Вот и Новый год прошел.*

И скоро вы вернетесь из Женевы. Боже мой, хоть бы только у вас все удачно вышло с Веной».

Следующая сцена «Леанідаў…» наиболее трепетная и лирическая — это эпизод первой близости героев. Как раз в то время, 21 декабря 1959 года, Короткевич написал Юрию Гальперину: *«И наконец, та, о которой я тебе писал, призналась мне, что любит меня»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 38—39).

В романе в тот день Ирина говорит Андрею: *«Если бы у меня, хотя бы пять лет... Пошла бы не думая, сразу»*. А вот цитата из письма писателя к Янке Брылю от 29 февраля 1960 года: *«И этот человек хочет быть со мной. Я знаю это, и не только со слов. И никогда со мною не будет именно по этой причине. Не хочет, чтобы мне было плохо. Сказала: «Если бы я знала, что мне дали три года, — не было бы даже слов против этого. А оставить тебя через месяц, — я не могу, не надо». (...) А я без единого слова разделил бы с нею все, все годы, что мне даны. У других есть дело, есть своя жизнь. А мне все это не нужно»*.

В тот вечер Горева *«вдруг приподнялась.*

— Обещай мне, что никогда не снимешь со стены моего подарка.

— Обещаю.

— Я тебе подарю репродукцию «Венеры» Боттичелли.

Все говорят, что этот я… Правда же, это можно? Что бы ни случилось потом — это же только фрагмент картины». То, что этот эпизод — не фантазия, свидетельствуют цитаты из письма Короткевича к Гальперину от 21 декабря 1959 года (*«Если хочешь знать — какова ее наружность — посмотри на лицо мадонны Боттичелли. Это почти точный ее портрет»*; БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 38-39) и к самой Молевой от 7 января 1960 года: *«А вот от вас все еще нет ни строчки, ни, хотя бы, Боттичелли»*.

В этом же письме находим цитату:

«*Встретились перед самым отъездом. (…) Пути обоих уже из завтрашнего дня, и на целых полтора месяца, расходились. Его ждали снега, грусть и одержимая работа, настоящий бой, в котором он должен будет выиграть ее, и еще ужасная тревога за то опасное, что ее ждало. Он верил в лучшее, но подавить эту тревогу не мог»*.

В романе про это сказано: *«Дело решится окончательно в феврале»*. Гринкевич начал работу без остановки. *«Андрей вставал в шесть часов утра, когда в городке горели только редкие огни и утренний снег скрипел под лыжами. С откоса на днепровский лед, потом на отвесный откос противоположного берега. Через десять минут уже не хочется спать, исчезает куда-то свинцовая тяжесть усталости. Лыжи бегут по заречным полям, пересекая волчьи следы и хитрые заячьи петли. Большой круг на полной скорости. Потом порывистый, как падение, полет дном оврага, — мелькает хмызняк над головой. (...) Мезонин. Завтрак с крепким кофе… Обычно первые строчки даются тяжело, (...) Заставь себя. Насильно… И вот уже тебя властно взяла в руки какая-то отчаянная увлеченность работой, когда жаль протянуть руку за папиросой, когда воспринимаешь как катастрофу то, что в ручке закончились чернила. (...) Падают со стола страницы: одна… вторая… третья… И потом, в час ночи, ужин и опять лыжи: не больше чем на тридцать минут. Это чтобы спать. Ему очень надо спать. Завтра опять день работы»*.

А вот что писал Владимир Короткевич о своем образе жизни самой Нине Молевой 2 января 1960 года: *«Сел работать и работаю как черт, часов по двенадцать в день. Работал бы и больше, но тогда хуже выходит, я знаю. Больше ничего не делаю. Только утром на час на лыжах. Бегу через Днепр, ухожу в поля или в ближний поредевший лес. Спортсмены за мой бег и гроша не дали бы, но ведь главное не в красоте, а в выносливости»*.

Зачем он так изнурял себя? С одной стороны, чтобы все время не думать о любимой. Но с другой, была еще одна причина. «*Уж лучше драться, чем*

помирать, — в этом я убежден, — писал Короткевич Гальперину 21 декабря 1959 года. — *А то, что неплохой боец — узнают все. Очередные задачи таковы: к лету нужно заработать двести тысяч. Многовато? Попробуем. Еду в Оршу, шлифую сценарий и посылаю его на конкурс. Делаю две пьесы. Напрягу все силы — только бы не надорваться. Пить и гулять бросил, на счету каждая минута. Ты знаешь, я никогда не гнался за этим, но раз нужно, так нужно.*

Зачем мне это? Куплю в пригороде Москвы домик и машину, чтоб она могла ездить на работу (сейчас у них прекрасная квартира в районе площади Маяковского). Она не пошла бы на это, если б знала, но моя гордость никогда не позволит мне, чтобы она стала хуже жить» (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 38—39).

За это время он написал Нине Михайловне несколько глубоких, пронзительных писем. *«Четыре письма...»* — говорит Гринкевич в романе своему другу Янису. Что в реальности? Нам известны письма от 2, 7 и 16 января. Возможно, существовало еще одно. Но так ли это принципиально?

«Зачем я себе, если вас нет рядом? Зачем мне руки, если я не могу обнять вас, глаза, если я не могу смотреть ими в ваши глаза, стихи, если я не могу писать о вас и для вас.

Вы моя первая, которой не было, вы моя самая всесильная и последняя.

Понимаете, мы вечны. Может быть, я искал вас пятьсот лет назад и вы скрылись от меня. Но я все равно, все равно вас найду. Мне уже не стыдно и не страшно ни людей, ни земли, ни слов — разве не все равно?

Милая моя, мой хохлик с фонариком, моя глазастая синяя пролеска, птица-синица, добрый огонек в метель, пушистый мой заяц — дайте уж мне сказать то, что не смог сказать в глаза. Ваши голубые руки — целую их. Не могу без них».

Но продолжим фразу Андрея в романе: *«Четыре письма, и ни на один нет ответа»*. 8 февраля 1960 года Короткевич пишет Гальперину из Орши: *«Ф-фу-у! Как гора с плеч свалилась. Сделал, наконец-то, большую часть работы и только что вернулся из Минска, где бегал по редакциям (...). Пьесу отдал Макаенку на прочтение, ему же один киносценарий (...). Второй Галка* (жена друга Короткевича — Валентина Кравца. — **Д. М.**) *отнесет на тайный конкурс, (...). Кроме того отдал в «Полымя» поэмку и два рассказа, в «Маладосць» кое-какие стихи, на телевидение кое-какие стихи и т. д. (...). И все это, кажется, зря. За месяц — ни слова от нее. Печально. Но что же сделаешь. Не прикажешь ведь»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 15. Л. 1—2).

В феврале Короткевич вернулся в Москву. Помогло ли Нине Молевой лечение за границей? В романе об этом сообщается следующее: *«Ничего не изменилось. Операцию посчитали невозможной»*. Что происходило в реальной жизни?

29 февраля 1960 года Владимир Семенович писал Янке Брылю из Москвы: *«На каникулах я умирал каждый день: она была в Вене, в клинике. И там отказались. А состояние все ухудшается. И вот красивый, полный сил человек, человек большой души и мужества, одна из самых умных женщин, каких я встречал, гибнет. Как последнее — решили сделать операцию тут, — какие-то сверхпрочные магниты. И шансов на успех — один из сотни. (...) Взять бы ее силой из этого вранья, из этого большого, равнодушного к человеческой песчинке города.*

Нельзя. Врачи контролируют. И так несколько месяцев. Там хирургический скальпель. И так, как сейчас, я не могу видеть ее когда захочу, хоть бы чувствовать дыхание за стеной, — да, я не могу стоять около клиники, спрашивать о ней, носить ей цветы. Это будет другой все делать. Просто так, как спокойный безразличный муж. Без особой боли сердечной».

После возвращения ее из-за границы отношения между влюбленными существенно изменились. *«Ты знаешь, я сделал все что мог,* — говорил в романе Андрей Янису. — *И вот я пять раз встречался с ней, и она каждый раз избегала разговора об этом... Трижды назначала свидание и обманывала, не приходила.*

А я, кажется, совсем потерял гордость. Назначает на пять. Я жду до половины шестого, потом говорю себе, что перепутал, наверное, и свидание в шесть. Жду до половины седьмого и даю себя уговроить, что, может, в семь. (...) И так было потом все три недели». А потом «*он вдруг понял, что она никогда не будет с ним. И одновременно убежать от нее он не может, а без нее нет жизни. Значит, нечего сопротивляться. Жизнь осточертела, жизнь не дала счастья — зачем тогда все»*.

Гринкевич задумался о самоубийстве. Но в последний момент ему в руки попалось письмо от друга из Минска Якуба Каптура: *«...Мне тяжело говорить об этом... Считай ты меня ворчливым дядькой, считай даже пошляком, но, слушая твои слова, я невольно думал: сколько хороших, милых, чудесных, юных, умных существ мечтает где-то встретиться с таким человеком, как ты, дорогой мой чудак, поэт, честный человек!*» Именно письмо, а также переживания друга Яниса спасли Гринкевича от поспешного поступка.

Известно, что под псевдонимом Якуб Каптур скрывался Янка Брыль. Более того, 8 марта он написал Короткевичу письмо, которое с небольшими сокращениями было вставлено в роман.

16 марта 1960 года Владимир Семенович опять писал Брылю в Минск: *«Понимаете, с остальными мне грустно и нудно. Я и пытался клин клином вышибить, — не получается. Пусто. Всегда те самые, — с небольшими вариациями, — приемы флирта и темы для разговоров. Я прошел то время, когда достаточно целоваться в парке и лежать рядом (хотя, конечно, это хорошие вещи). Мне нужен друг, на которого я надеялся бы как на самого себя и даже больше, друг умный, друг, который может все понять и не будет требовать вожжей. Который верит мне до конца и которому я сам верю. (...)*

Не скажу о зрелых женщинах, но из молодых эта единственная, с которой мне легко. Нам никогда не бывает грустно, когда мы вместе, у нас всегда есть что сказать друг другу. Нам хорошо даже молчать, думая об одном».

Между тем игра со стороны Ирины Горевой продолжалась. *«Или будьте с ним, или перестаньте морочить человеку голову»,* — говорил ей в романе Вайвадс. В реальности 20 апреля 1960 года Короткевич писал Гальперину: «*В Москве тихие, ясные и прохладные вечера. И очень мне в этой Москве грустно на сердце. Потому что не ладится, в общем существование то. С Ниной чепуха и заваруха. И, кажется, я скоро возьму и женюсь на просвирне или на вдове церковного старосты* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 15. Л. 4 об.).

Как дальше разворачивались события в «Леанідах...»? *«В один из первых дней мая, когда даже Чистые Пруды расцвели зеленым цветом жизни, когда даже мертвые доски редких деревянных заборов укрылись после дождя бархатным налетом и когда он сказал ей: «да или нет», — она ответила с ледяными глазами:*

— Определите сначала свой путь, а потом скажите мне. (...)

— Довольно играть в прятки. Надо, чтобы третий знал все. Останетесь вы с ним либо нет — пусть решают эти дни. Ведь я больше не могу». В тот вечер на разговор к Гринкевичу пришел Михаил, муж Горевой.

«Уначы плыве папяросны дым, // Я сам-насам з кяліхам віна. // Ў мяне размова мужчынская з тым, // Каго кахае яна», — написал Короткевич в поэме «Плошча Маякоўскага». Встреча, разумеется, окончилась ничем.

«Прошел и почти весь май, как проходит все хорошее в мире. Пару раз Андрей ездил в Минск. В его отношениях с Ириной ничего не изменилось. Теперь она не мучила его, но всячески избегала. (...) Это становилось нестерпимым. Андрей уже не мог ни есть, ни спать. Хуже всего, что он понимал причину этого, но не мог не любить. Разум не имел никакого отношения ко всему, что с ним, Андреем, происходило», — так рассказывается о событиях в «Леанідах...».

«...В конце мая, — продолжает автор романа, — *большая группа парней и девчат вместе с Горевой и Галиной Ивановной* (завучем литературных курсов. — **Д. М.**) *поехала на несколько дней в Ленинград. Это было что-то вроде прощального*

путешествия. В июне большинство из них должно было навсегда разъехаться по своим городам, оставив Москву и друг друга. Поэтому даже в веселье ощущалась какая-то грусть. И только Гринкевич ехал на север радостный, как будто в свадебное путешествие. Быть с Ириной в одном вагоне, жить в одной гостинице, целую неделю быть с ней… (…) Нет, это было таким нестерпимым счастьем, что кружилась голова… Это был город — мечта. (…) Этот город был похожий на те города, которые снятся в самых счастливых снах детства, о которых потом плачешь, не имея возможности попасть в потерянный рай. (…). И он (…) знал: все эти дни она отдаст только ему, только для него. Все. Целиком. В этом была какая-то горькая гордость, которая давала ему силы жить. Ирина действительно все отдавала ему: каждый взгляд, каждое движение, каждое слово. (…) ...Десять дней казались вечностью. Десять дней прошли. За два дня до срока она получила вызов из Москвы».

Вскоре после путешествия в Ленинград произошла решающая встреча. *«И тут она повернула к нему лицо, какое-то такое незнакомое лицо, что у Андрея все оборвалось внутри. Что в нем было, в этом чужом лице? Конечно, оно было чуть более уставшим, чем всегда. Но главное было не это, не пустые глаза, даже не пересохшие губы. Главным было выражение. Было на этом лице выражение такого пренебрежительного презрения, что во сто крат хуже, чем сама ненависть. (…) Последующее утонуло в тумане. Времени не было. Он не знал, часы прошли или дни. Как будто у пьяного, в глазах остались только редкие обрывки событий. А между тем, он не пил ни капли. Вряд ли он и ел что-то все эти дни. (…) Встретил на улице соседа по общежитию. Тот говорил что-то о том, что его ищут три дня… (…) Значит, три дня не ночевал там. А где? Этого он не помнил»*. Потом: *«Дома, перед тем как лечь спать, он уничтожил стихотворения, посвященные Ирине, уничтожил все бумаги, где хотя бы упоминалось ее имя. Он валился с ног от усталости, но не мог спать, пока в комнате оставались свидетели его слабости и его позора»*.

А вот свидетельства самого писателя. 28 июня 1960 года Владимир Короткевич писал Юрию Гальперину: «*Предстоит лето работы. Кончена Москва. А жаль немного. И хуже всего, что (…) оставил в Москве едва ли не самого дорогого мне человека. Так ничего у меня и не вышло. И ведь знаю, что не такой уж добрый она человек, что, может, и жалеть не стоит, а все равно так скверно на душе, что дальше некуда. Что называется, «не везет». Напоследок из-за всей этой неурядицы, из-за огорчений и предстоящей разлуки неделю беспробудно трескали с ребятами винище. Уж мы его жрали, лакали, уничтожали. И все равно много осталось этой пакости в мире.*

А до этого был Ленинград и короткие дни вместе: музеи, сады, улицы. И о каждом доме легенда, а о каждой картине в музее хоть новеллу пиши. Я влюблен в этот город, в горбатые мостики, в начало белых ночей, в блоковские острова, в закат над стрелкою, в тени рогатых колонн на нем. И каждая улица освящена ею.

Нескоро я теперь, парень, смогу полюбить, много, наверное, огорчений принесу другим и нескоро, наверное, попаду в Ленинград. Только когда притупится все окончательно, а иначе — как на дорогую могилу ехать.

Может, еще и сведет бог. Мои, на студии, предлагают через год отправить меня на два года в Москву на курсы сценаристов. Условия те же, и я не вижу причин отказываться. Все же это лучше, чем те два года вкалывать в редакции газеты» (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 15. Л. 6).

На курсы сценаристов Короткевич попал. В 1960—1962 годах он опять жил и учился в столице Союза. Это была та и не та Москва. Казалось бы, город не успел измениться. Даже жил писатель в том же общежитии, что и раньше. Но рядом не было Нины. Точнее, была. Только не наяву, не рядом, а на страницах рукописи и в воображении.

Еще 16 марта 1960 года Владимир Семенович написал Янке Брылю: *«И когда-нибудь, когда все будет окончено навсегда, я попробую описать это,*

чтобы самому еще раз пройти этой дорогой и провести по ней близких и дорогих людей, для которых я пишу всегда. И, возможно, немного успокоиться». «Второй московский период» стал временем создания романа «Леаніды не вернуцца да Зямлі». Короткевич начал писать его в сентябре 1960-го и закончил в феврале 1962 года. Публикация прошла в майском и июньском номерах журнала «Полымя» за 1962 год.

На следующий год был запланирован выход одноименной книги, куда должны были войти роман и повесть «Дзікае паляванне караля Стаха». Но набор подготовленного тома был рассыпан. Долгое время «Леаніды…» оставались известны белорусскому читателю только в журнальном варианте. На другие языки роман вообще не переводился. В 1982 году под названием «Нельга забыць» он вышел отдельной книгой. Поэтому Молева искренне говорила в интервью, что не читала роман, поскольку не знает белорусского языка.

Между тем отношения с Ниной Михайловной, тяжелые, болезненные, но такие притягательные, то угасали, то возрождались опять. В романе Ирина Горева все же соединила свою судьбу с Андреем Гринкевичем. И одновременно согласилась на операцию. После ее проведения сердце героини не выдержало.

Признаться, пока исследователи не имеют сведений, которые позволяют уточнить взаимоотношения Владимира Короткевича и Нины Молевой во «второй московский период». Вообще были ли они? Как в реальности прошла операция? На последний вопрос ответить легче. Если учитывать факт, что Молева, к счастью, жива и сейчас, очевидно, что результат оказался благополучным.

В переписке писателя с Юрием Гальпериным и Янкой Брылем имя Нины Михайловны больше не упоминается. Между тем другие воспоминания (подробности — далее) свидетельствуют, что в то время у писателя возникали иные объекты интереса.

Известно еще одно письмо Владимира Семеновича к Нине Молевой, датированное 26 марта 1963 года. Короткевич писал ей из Минска: «*Нина, милая! До сих пор не могу прийти в себя, и мне делается не по себе от воспоминаний о нашей последней встрече. Глупо как получилось, правда? Уезжал и видел в окне твое лицо и руку. Что же это ты натворила, чертик из табакерки? (...)*

Из-за дел нет даже времени на то, чтобы обосноваться на новом месте. Сижу в доме друга в своей комнате. Это самая окраина. За домом дорога, а дальше заснеженное поле. Временами льет дождь и ест снег так, что скоро появятся проталины. В полях стада ворон. Картина не очень веселая, но она вся полна какого-то неясного ожидания и предчувствия, как я сам. [Скоро весна, и я не думал, что она будет такой, что жизнь подарит мне Москву и тебя, и все, чем только и может жить человек. Ничто еще, как оказывается, не кончено.]

Но время постепенно брало свое. Скорее всего, взаимоотношения Короткевича и Молевой постепенно превратились в дружеские. *«Володя хорошо и нежно дружил с нею до самой своей женитьбы, хотя она была замужем,* — вспоминал украинский писатель Николай Амельченко, который учился вместе с Владимиром на Высших сценарных курсах. — *Нередко помогал ей материально, покупал подарки.*

Когда я получил на Киностудии имени М. Горького гонорар за сценарий, Володя взял у меня довольно большую сумму. А на следующий день он зашел ко мне и попросил накормить его обедом.

— Ты что, даже на обед себе денег не оставил?

— Нет, — виновато улыбнулся он, — еще и не хватило, пришлось у Бори Можаева одалживать…

Позже я разузнал, что Володя пообещал преподавательнице ко дню ее рождения купить какую-то картину импрессиониста, на то время довольно модного, пообещал — и купил. Короткевич свои обещания всегда выполнял.

От просьбы познакомить меня с ней отмахнулся:

— Она не понравится тебе. Некрасивая. Но такая тонкая натура, умница.

Та преподавательница привила Володе привычку покупать альбомы с картинами художников, книги по изобразительному искусству и просто наборы открыток».

О характере контактов Нины Молевой с Короткевичем свидетельствуют четыре надписи писателя на своих книгах, подаренных своей прежней преподавательнице: *«Нине Михайловне — «Лазурь и золото дня» — ото всего-всего сердца. Владимир. 30.IX.61. Москва»*, *«Дорогой Нине Михайловне Молевой на очень долгую добрую память. В. Короткевич. 15.III.69.»*, *«Милой Нине Михайловне — за Нерль. В. Короткевич. 15.III.69»*, *«Уважаемой Нине Молевой от — просто Владимира Короткевича. 1 июня 73 г.»*.

«Ото всего-всего сердца» — *«дорогой»* и *«милой»* — *«уважаемой»*. В этих словах вся эволюция отношения автора к адресату. *«За лет восемь до смерти я видела его,* — вспоминала Нина Молева. — *Просто разговаривали. Он, кажется, уже был женат»*...

Судьба героев этой истории сложилась по-разному. Муж Нины Молевой, художник и искусствовед Элий Белютин, в 1962 году выступил организатором знаменитой выставки авангардистов в Манеже, которая вызвала бешеную реакцию Никиты Хрущева. 87-летний Белютин до сих пор живет в Москве. Он — автор 17 монографий по теории изобразительного искусства. Произведения художника Белютина находятся в фондах 44 музеев России, Франции, Италии, США, Канады и других стран, в том числе в Третьяковской галерее, Санкт-Петербургском государственном музее и Центре Жоржа Помпиду в Париже.

Сама Нина Михайловна, которой 83 года, по-прежнему плодотворно работает, выпускает исследования и даже романы. В собственности пары находится уникальная коллекция западноевропейского искусства XV—XVII столетий. Кстати, некоторые произведения из нее Ирина Горева показывала в романе Андрею Гринкевичу.

Был ли неизбежностью такой финал взаимоотношений Короткевича и Молевой? Остановлюсь только на нескольких моментах, которые помогут понять мою позицию.

10 февраля 1960 года, когда Нина Молева была за границей, Владимир Короткевич написал пророческое стихотворение «Снягір»:

О радзіма, мой светач цудоўны, адзіны,
Явар мой, мой агністы снягір на сасне,
Ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай,
Што ў душы не хацела і ведаць мяне.
Ёй былі непатрэбныя звялыя травы,
І, ад вераса горкі, вятрыскі павеў,
І твая некрыклівая гордая слава,
І твая перамога, і мукі твае.
(…).
І канец.
Сталі толькі маім успамінам:
Ласка шэрых вачэй, заінелая скронь,
Лес нахмураны, хвоя, лябяжы іней
І рука, што лягла на маю далонь.
І для шчасця, для сонечнай вечнай кароны
Не хапіла мазка адзінага мне:
Не хапіла радзімы, іскры чырвонай,
Снегіра на заснежанай сіняй сасне.

Между тем, Нине Молевой действительно были не очень интересны короткевичевская земля и белорусский язык. 21 декабря 1959 года Короткевич писал

Гальперину: *«Я дам ей очень большую нежность. И я должен дать ей покой и возможность безмятежно работать. Потому что она — талант, большая умница и человек великой души»* (БелДАМЛМ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 14. Л. 38—39).

Но парадокс в том, что для плодотворного писательского труда именно будущая жена Короткевича должна была дать ему спокойствие и возможность работать. Известно, что Валентина Никитина выучила из-за него белорусский язык. Именно она создала ему атмосферу духовного комфорта. Была ли способна на такие поступки Нина Михайловна? Скорей всего, нет. Раньше или позже, для художника такие отношения стали бы неприемлемыми и в будущем могли привести к конфликтам.

Найти еще одну причину расставания нам поможет осмысление того, какое место занимает Нина Молева в творчестве Короткевича. В интервью, опубликованном в «Комсомольской правде», журналистка Ольга Антипович называет свою собеседницу (со ссылкой на друзей писателя) *«роковой женщиной»*. А вот цитата из романа «Леаніды не вернуцца да Зямлі»: *«Я знаю, она не всегда хорошая. Измучила меня… Год безумцем хожу, на последних нервах. Знаю — иногда изменчивая. Знаю — иногда играет со мной…»* Приведенная выше переписка убеждает, что такую оценку можно распространить не только на романных героев, но и на взаимоотношения Молевой и Короткевича.

Романы или документальные произведения о чувствах творцов и «роковых женщин» читаются или смотрятся на одном дыхании и всегда привлекают драматизмом, надрывом чувств. Но удивительная вещь: большинство людей, выходя вечером из театра или закрывая книгу, возвращаются не к женщинам типа Кармен, а к Микаэле, ее антиподу, живой и естественной девушке. Отношения творцов с «роковыми женщинами» действительно активизируют их фантазию, вдохновляют на новые произведения. Но случается, и полностью опустошают.

Неужели образ Нины Молевой может быть нарисован только драматическими и темными красками? Конечно же нет! Именно она открыла Владимиру Короткевичу безграничный мир искусства и подняла его до уровня своего понимания многих художественных явлений. Но одновременно выявилось и ужасающее несовпадение! Для Нины Михайловны искусство было миром и смыслом всего существования. Для Короткевича — только частью богатой и разнообразной жизни. Поэтому в определенный момент Владимир Семенович как писатель превзошел своего бывшего педагога и пошел дальше. Один — по просторам жизни…

Новелла. Нателла. Валентина

Как заметил читатель, в одном разделе представлены сразу три имени. Попробую пояснить свое решение. Взаимоотношения с этими женщинами имели место в 1960—1962 годах, когда Короткевич учился в Москве на Высших сценарных курсах. Сложность заключается в том, что во всех трех случаях мы имеем только один источник информации, что лишает возможности ее проверить.

Новелла. О первых двух героинях упоминает в своих мемуарах украинский писатель Николай Амельченко, также учившийся на курсах. Процитируем первый отрывок: *«Володя был влюблен не в красавиц. В женщинах его больше всего привлекали интеллект, тонкость чувств, необычайная духовность и, конечно же, настоящий талант. Как раз по этой причине мы дружили с одной талантливой поэтессой, девушкой-бардом, песнями которой восхищались, как и произведениями известного, знаменитого Булата Окуджавы. Она часто приходила к нам — или ко мне, или к Володе в комнату — играла и пела. Короткевич тогда сидел около ее ног на полу, не сводил с нее влюбленных глаз и как-то сказал мне:*

— А ты знаешь, я на ней женюсь. Ей-богу, женюсь.

У нее были два существенных недостатка — некрасивость и болезненность, из-за которой она не только не могла ездить в троллейбусе, летать в самолете,

но даже находиться в поезде, потому что не выдерживал вестибулярный аппарат. Как-то я зашел на Высшие литературные курсы, где она училась. Занятия закончились, все шли домой. Она увидела меня и спросила: «Спешите ли Вы куда-нибудь?» Мне некуда было спешить, и мы пошли в общежитие вместе, конечно же, пешком. Хотя это и было весною, но солнце жгло неимоверно. Я, идя по тротуару, старался, чтобы его лучи меньше попадали на нее. Вел Новеллу по зыбкой тени деревьев. Но через какое-то время она взяла меня под руку и подтолкнула в тень. Я удивился и сказал ей со смехом:

— Ты что, хочешь спрятать меня от солнца?

Она засветилась своей застенчивой и какой-то виноватой улыбкой и ответила:

— Ты прости, пожалуйста, но деревья шатаются, и мне от этого скверно, голова кружится от теней, прыгающих по тротуару.

Да, надо быть очень больным человеком, чтобы становилось скверно от теней листвы, которые скользят по земле. Позже я услышал, что она все же вышла замуж, но не за Володю, а за какого-то другого человека. Говорят, что он разносил ее стихотворения по редакциям. А писала она тогда много, все чаще и чаще стихотворения этой поэтессы появлялись в «Новом мире».

Полагаю, мемуарист умышленно называет только имя героини, но в то же время дает точную подсказку, которой сложно не воспользоваться. В 1960-е годы в России была только одна женщина-бард с именем Новелла. Поэтому считаю, что речь идет о Новелле Матвеевой.

Она родилась в пушкинском Царском Селе в 1934-м и была младше Владимира на четыре года. Новелла с детства писала стихи, но начала печататься только в 1958 году. До этого она работала в детском доме, в 1962-м заочно окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте. К моменту знакомства с Короткевичем у Матвеевой уже вышел первый сборник «Лирика», ее приняли в Союз писателей. Тогда же Новелла начала сочинять песни на собственные стихи и исполнять их под гитару… Кстати, по иронии судьбы в «Лирику» включены стихотворения «Рембрандт» и «Рубенс», посвященные художникам, которыми так восхищались Короткевич и Молева. Возможно, влюбившись в Новеллу, Владимир надеялся найти вторую Нину?

В дальнейшем Новелла Матвеева стала одним из самых оригинальных русских поэтов:

Когда потеряют значенье слова и предметы,
На землю для их обновленья приходят поэты,
Их тоска над разгадкой скверных, проклятых вопросов —
Это каторжный труд суеверных старинных матросов,
Спасающих старую шхуну Земли.

Новелла стала лауреатом Пушкинской и Государственной премий Российской Федерации. В 1963 году она вышла замуж за поэта Ивана Киуру (умер в 1992-м). Теперь Новелла Матвеева живет в Москве.

Нателла. Опять предоставим слово писателю Николаю Амельченко: *«Когда мы учились на Высших сценарных курсах, Володя был увлечен грузинкой — умной и высокообразованной женщиной. Помню, что один глаз у нее косил. Эта женщина часто приезжала к нему из Грузии, тайком ночевала в общежитии. Тайком, потому что ни она, ни Володя не хотели, чтобы друзья, поэты, которые жили рядом, знали об этой связи. Грузины осуждали тех женщин, которые имели внебрачные отношения с русскими, хотя сами делали это с большой охотой. Меня Володя не боялся, и Нателла, так звали его возлюбленную, не стеснялась. Когда утром я стучался к ним в комнату, она позволяла Володе впустить меня, прикрывалась одеялом до подбородка, здоровалась, мило и загадочно улыбалась и не казалась косоглазой. Любовь делала ее более красивой, чем это было на самом*

деле. У меня есть фотография, на которой они сняты вдвоем рядом, как муж и жена. На обороте ее довольно шутливая надпись: «Гениальному украинскому писателю от грузинского и белорусского гениев».

К сожалению, других сведений о Нателле у белорусских исследователей пока что нет.

Валентина. Единственным источником информации о Валентине Поповой (Чекаловой) являются ее воспоминания, опубликованные в ноябрьском номере журнала «Полымя» за 2000 год. Однако надо признаться, что их автор сделала все возможное, чтобы оставить поклонникам Короткевича минимум информации.

Известно, что Валентина была младше Владимира Семеновича на 10 лет. Они познакомились 17 декабря 1961 года в ресторане «Будапешт» на свадьбе ее однокурсницы. Любимым местом свиданий стал памятник белорусским партизанам в московском метро (в переходе между «Белорусской кольцевой» и «Белорусской радиальной»). Встречались и в общежитии у Короткевича, посещали выставки.

Согласно воспоминаниям, взаимоотношения между Валентиной и Владимиром имели место в декабре 1961-го — первой половине 1962 года. Вскоре после последнего свидания Короткевич вернулся в Минск.

В последнее письмо, которое пришло из Минска, было вложено стихотворение, точнее, его перевод с белорусского языка:

Не хочу упиваться прошедшим,
Не хочу погибать в тоске.
Сегодня выпал, как цветы акации,
Последний мартовский снег.
Он скрипит под ногами от счастья,
Он поет о новых днях.
И любовь, как морские снасти,
Вновь способна поднять паруса.
Ночь со мною шагает к утру,
Чтобы встретить его поцелуем,
Новый день мой,
Новый рассвет,
Ты как призрак моего счастья.

Больше писем не было. Валентина *«двадцать лет строила подводные лодки для исследования океана»*.

Валентина

Информация о личной жизни писателя в 1963—1967-е годы пока спорная. Первая дата связана с последним известным письмом Короткевича к Нине Молевой. Вторая — со знакомством писателя с будущей женой. Сведения об этом времени на уровне слухов. Отсутствие документальных доказательств лишает нас права озвучивать их.

В 1967 году Владимир Семенович познакомился с Валентиной Никитиной (девичья фамилия Ваткович). Выпускница исторического факультета БГУ, она работала в краеведческих музеях — районном Оршанском и областном Брестском. Окончила аспирантуру Института истории Академии наук Беларуси и в 1965 году защитила кандидатскую диссертацию по археологии (исследовала поморскую культуру). Однако потом была вынуждена работать на кафедре истории КПСС Брестского пединститута. Позже, объясняя эту ситуацию, Валентина Никитина говорила: *«Захочешь есть — будешь и такое преподавать»*.

Существует две версии истории знакомства Валентины Никитиной и Владимира Короткевича. Анатоль Верабей утверждает, что оно произошло 2 ноября 1967 года в Брестском пединституте, где проходила встреча с писателем. С ним

согласен археолог Михась Чернявский. Того же мнения придерживается и Адам Мальдис. По его воспоминаниям, Владимир Колесник пригласил писателя в Брест на читательскую конференцию по роману «Колосья под серпом твоим»:

«Вместе со студентами своего курса, как куратор, пришла туда и Валентина Брониславовна. Конференция не сильно интересовала ее, и она, отсиживая «мероприятие», читала какой-то польский детектив (детективы были ее слабостью). И когда в профессорской Владимир Колесник познакомил их, она спросила:

— А почему бы вам не написать какой-нибудь детектив?

— Какой, к примеру? — Володя сам ужасно любил хорошие детективы. Как и фантастику.

— Ну, хотя бы такой, как «Дикая охота короля Стаха»... — оказывается, Валентина Брониславовна как-то читала в поезде журнал с этой повестью, но не обратила внимание, кто ее автор.

— Ха-ха! Три: ха! — расхохотался Володя. — Так это же я написал «Стаха»!

Валентине Брониславовне стало неловко, и она предложила:

— Тогда пошли пить кофе...»

А вот театровед Изабелла Готовчиц, основываясь на воспоминаниях Валентины, писала, что встреча произошла в поезде «Берлин—Москва». Будущие супруги ехали в одном купе до Бреста. Причем вскоре после знакомства писателя пригласили на встречу в Брест (по-видимому, именно о ней пишут Анатоль Верабей, Адам Мальдис и Михась Чернявский).

Вторая версия выглядит более основательной. Что свидетельствует в ее пользу? Слово Адаму Мальдису: *«Однажды утром, накануне Октябрьских праздников 1967 года, Короткевич прибежал ко мне возбужденный:*

— Понимаешь, старик, я, кажется, женюсь!

— И кто же та, что, наконец, целиком завладела твоим сердцем?

— Из Бреста. Валя. Валентина Брониславовна. Умная женщина. Историк, точнее, археолог, и диссертацию защитила. (...)

— Так что же тогда тебя смущает? — не стерпела моя Мария (жена А. Мальдиса. — **Д. М.**).

— Понимаете, старики, я пригласил ее к себе на праздник и только в поезде вспомнил, что мы все приглашены в Раков, на свадьбу Славы Рагойши.

— Так возьми и ее с собой.

— А удобно?

— Почему же...»

На мой взгляд, Короткевич мог приглашать в гости Валентину только по прошествии определенного времени знакомства. Если бы встреча произошла только на конференции, вряд ли бы они успели завязать определенные контакты. Валентина Брониславовна могла отказаться от поездки в гости через несколько дней после первой встречи. А путешествие в поезде могло способствовать большей степени искренности. Причем как раз там мог случиться диалог о «Дикой охоте короля Стаха».

Валентина приняла приглашение Короткевича. Они вместе поехали на свадьбу литературоведов Вячеслава Рагойши и Татьяны Кабржицкой, которую целую неделю гуляли в Ракове на ноябрьские праздники (отмечалось 50-летие Октябрьской революции). Первая реакция некоторых знакомых была не очень тактичной. Некоторые «максималисты» сказали Валентине за столом прямо в глаза: *«Раз дрэнна гаворыш па-беларуску, то ты яму не пара»*. Справедливости ради надо сказать, что вскоре Валентина Никитина выучила язык, причем, по словам Адама Мальдиса, стала разговаривать на нем лучше, чем ее недавние критики.

Но гораздо более существенным было то, что между Владимиром и Валентиной росла взаимная симпатия. Не зря Максим Танк уже 3 января 1968 года писал Ларисе Генеюш: *«Встретил Колесника, от которого и узнал, что Владимир влюбился в Бресте в хорошую девушку»*. Очевидно, встреча Танка с Колесником произошла в декабре, когда со времени знакомства не прошло и двух месяцев.

Поскольку влюбленным хотелось видеться чаще, Короткевич нарушил свой принцип (ни за кого не просить) и помог устроить Валентину в Институт искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук. Летом 1969 года она переехала в Минск. Сослуживцы запомнили Валентину *«голубоглазой в очках блондинкой, чуть полноватой, но стройной, в маленьком черном классическом платье, которое ей очень шло»*. Делом ее жизни стало участие в создании «Збору помнікаў гісторыі і культуры Беларусі». Как писал Адам Мальдис, то, что сделала Валентина Брониславовна для подготовки «Збору…», для того, чтобы *«он шел «без купюр», можно смело назвать научным подвигом, гражданским мужеством. Она бесконечно ездила в экспедиции, защитила не один памятник архитектуры, писала сама статьи и брошюры и редактировала чужие»*. В 1990 году Валентина Короткевич (посмертно) вместе с другими авторами была награждена за это издание Государственной премией БССР.

Как утверждает Изабелла Готовчиц, *«почти с первых дней работы Вали к нам стал заходить Владимир Семенович Короткевич»*. Впрочем, после переезда в Минск Валентина жила в семье писателя. Но брак, который *«тянулся уже несколько лет»,* был зарегистрирован только 19 февраля 1971 года. Валентина, которая взяла фамилию мужа, обменяла свою двухкомнатную квартиру в Бресте на комнату в Минске. Через два года последнюю вместе с двухкомнатной квартирой Короткевича на улице Веры Хоружей обменяли на трехкомнатную квартиру на улице Карла Маркса. Там Валентина Брониславовна, Владимир Семенович и мать писателя жили до своих последних дней.

Разумеется, по сравнению с предыдущими героинями исследования образ Валентины представлен в художественной литературе достаточно скромно. Среди своих значительных произведений писатель посвятил ей только роман «Чорны замак Альшанскі» (1979): *«В. К., якой гэты раман абяцаў дзесяць гадоў назад, з удзячнасцю»*. Причем сам Владимир Семенович в шутку признавался, что пообещал ей написать детективное произведение в первый день знакомства.

Но полагаю, что Короткевич, наконец, нашел в Валентине свой идеал и личное счастье. Как изменилась жизнь Владимира Семеновича после встречи с будущей женой? Слово его друзьям. Как утверждал археолог Михась Чернявский: *«Валентина стала ему и женой, и хранительницей, и нянькой, и медсестрой, и врачом. Прежде всего, она разогнала прилипал с бутылками, часть которых целенаправленно старались споить писателя. Она упорядочила его быт, опекала, освобождая время для творчества, создавая для этого уют и спокойствие»*. Той же мысли придерживается литературовед Адам Мальдис: *«С приходом в дом Валентины Брониславовны во многом изменился уклад Володиной жизни. Несмотря на свою научную занятость, она взяла на себя многие бытовые заботы. Перестали навещать некоторые знакомые с «холостяцкими» привычками. Их место заняли сослуживцы по работе Валентины Брониславовны»*. В новой квартире у писателя наконец *«появился отдельный кабинет для работы. Женившись, Короткевич стал чаще отдыхать — в своем любимом Коктебеле, а также в Гаграх, Дубултах. Хотя и всякое бывало в жизни, Короткевич был благодарен жене за ее повседневные хлопоты»*.

Валентине Брониславовне и Владимиру Семеновичу было отмерено более десяти лет семейного счастья. Об их взаимоотношениях свидетельствует тот факт, что писатель тяжело переживал болезнь, а потом и смерть жены. 28 февраля 1983 года Валентина Брониславовна покинула этот мир. Чуть более чем через год, 25 июля 1984-го Владимир Семенович последовал за ней.

Уже после смерти Валентины украинский писатель Николай Амельченко *«спросил у Володи, какой все-таки была его жена, ведь сам Валю так и не увидел. И он ответил грустно, чуть подняв голову, смотря в темное небо, как будто где-то там, на неизвестной высоте, увидел ее:*

— Она не была красавицею, но обладала удивительным духовным обаянием. Она была королевой духовности…»

Перевод с белорусского автора.

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Жизнь какая она есть

Штрихи к творческому портрету Николая Чергинца

Многие писатели пришли в литературу из журналистики. Николай Чергинец — не исключение. Со своими первыми материалами он выступил в периодической печати в 1963 году, когда учился на отделении журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета. Поскольку давно интересовался спортом, об этом и писал. Кроме того, учебу совмещал с работой инструктором физической культуры на Минском приборостроительном заводе, а это также подсказывало темы для выступлений. Однако, перейдя, как тогда практиковалось, «по направлению трудового коллектива» в органы милиции, сразу же столкнулся с новыми реалиями. В уголовном розыске, где работал, сама жизнь регулярно подсказывала темы. Не расстался с пером и после того, как перевелся на юридический факультет.

Как-то один из коллег предложил ему написать повесть. Прозвучавшая идея была заманчивой. Почему бы и не попробовать?! Да и то, что успел прочитать из художественной литературы о милиции, о работниках уголовного розыска, далеко не всегда удовлетворяло. Обо всем, вроде бы, и интересно рассказывалось, но чувствовалось, что авторы слабо знают то, о чем пишут.

Пройдет время, обретет Николай Иванович нужный творческий опыт и поймет, что для высокохудожественной литературы хотя и важно знание специфики той или иной профессии, но и этого, конечно, мало. Поймет: литература факта сама по себе — притягательна. Однако есть еще и литература характеров. И именно вторая дает широкий простор писателю для более глубокого постижения жизни в самых разнообразных ее проявлениях и позволяет ему обстоятельно раскрыть свой талант. А тогда…

Тогда об этом не думалось. А чтобы читатель не сомневался в правдивости произведения, в начале сделал небольшое уточнение: «В основу повести… положены события, имевшие место в Минске несколько лет назад…» Повесть называлась «Четвертый след», она была предложена журналу «Нёман». С нетерпением автор ожидал ответ. К счастью, тревога оказалась ложной. Повесть вскоре увидела свет на страницах этого авторитетного издания.

Однако в издательстве «Беларусь», в дверь которого постучался, оказалось, требования еще более строгие. Поэтому пришлось кое-что переделать, что-то подсократить, а то и вовсе убрать. Однако замечания литературного редактора принял охотно. Сразу понял, что все исходит от одного искреннего желания — помочь.

Во время написания этой повести работал заместителем начальника Первомайского отдела внутренних дел города Минска. В год же выхода ее он уже стал начальником Ленинского отдела. Служебная карьера успешно продвигалась. Однако возникали проблемы не только профессионального характера. Когда «служба — дни и ночи» (именно так будет называться его книга, которая увидит свет в 1981 году), все острее вставал вопрос, как найти свободное время для литературного труда. Приходилось его выкраивать буквально по крупицам.

За первой книгой последовали вторая и третья: «Тревожная служба» и «Следствие продолжается». Автор по-прежнему писал на основе событий, имевших место в реальности. Поэтому жанровое определение их обозначил как «записки сотрудника милиции» и, как и в первой книге, «документальная повесть». Однако уже присутствовало и иное объединяющее начало.

Начальник районного отдела милиции, оперативник уголовного розыска капитан Игорь Ветров из «Четвертого следа» перешел и в эти книги. Чергинец успел усвоить для себя значимую истину. Безусловно, для писателя очень важно найти интересного литературного героя, вокруг которого и будет развиваться основное действие. Однако куда важнее показать этот характер в развитии. Поэтому как бы и соединил внутренне несколько книг в одну, а своего рода соединяющим элементом и стал его герой Ветров — настоящий профессионал своего дела и просто честный, порядочный человек.

Замечен самим Быковым

Правда, первые книги Чергинца, при всех их достоинствах — обилие оригинального фактического материала, правдивость жизненных ситуаций, положенных в основу, все же оставались в чем-то документальной литературой. Это видно и по стилю повествования. Факты подавались, но еще должным образом не осмысливались. Шаг к черте, разделяющей две важные составные части художественного процесса, был сделан в повести «Финал Краба» (журнальный вариант «Догадка майора Ветрова»).

Даже сегодня, когда мастерство Чергинца достигло больших художественных высот, на фоне всего созданного им этот классический детектив не теряется. В нем выдержаны основные законы жанра. Есть интригующая завязка. Налицо как опытные, так и делающие первые шаги на пути борьбы с криминалом стражи правопорядка. Единственно правильный, казалось бы, путь расследования приводит в тупик, и, наконец, появляется персонаж, который, как вскоре выясняется, и является тем преступником, которого усердно ищут.

Примечательно, что в то время, когда незыблемым правилом в литературе (не исключая и детективную) было, прежде всего, всесторонне выписывать характеры положительных персонажей, Чергинец, уделяя им должное внимание, не побоялся точно так же обстоятельно подойти и к тем, кто преступил закон. Безусловная авторская удача — образ Крокета. Он же Клешнев, он же Фролов, а главное, говоря сегодняшним языком, авторитет в криминальном мире «медвежатников» Краб. Немало усилий приходится приложить майору Ветрову и его помощникам, чтобы разоблачить этого подлеца, который, спасая себя, не задумываясь, убивает своего сообщника, поскольку тот сломал ногу и не может скрыться с места преступления.

Удался писателю и образ майора Ветрова. Кстати, не только он, но и некоторые другие персонажи, действующие в «Финале Краба», перешли в эту повесть из предыдущих произведений Чергинца. Характеры работников милиции раскрыты глубоко, не в последнюю очередь тех, кто, по сути, находится только в начале своего профессионального пути. Среди них и лейтенант Скалов, который, чтобы скорее разоблачить преступников, внедряется в логово «медвежатников».

Высокую оценку этому произведению в предисловии к книге дал Василь Быков: «Как правило, автор счастливо избегает многих явных и тайных ловушек, уготованных особенностями данного жанра. Мы почти не найдем здесь облегченных решений, холостых и подыгрывающих ходов. Вся работа по разоблачению преступления предстает исполненной труда, риска и опасностей. Тем серьезнее и значительнее выглядит повседневный (а часто и повсенощный) труд оперативных работников уголовного розыска… В заключение хочется пожелать читателю истинного удовольствия от чтения этого полного напряжения, местами захватывающего и поучительного сюжета».

В предисловии важен еще один момент, который позволяет понять, в чем же такая притягательность написанного Чергинцом: «Для искусства, как и для истории, особенную ценность представляют свидетельства очевидца, участника, человека бывалого, знающего все о предмете своего повествования и даже чуточку больше. Эта ценность еще значимее, если автор помимо недюжинного собственного жизненного опыта и знаний обладает и литературным даром, позволяющим ему с наибольшей полнотой и доходчивостью изложить суть событий и вынести им оценку».

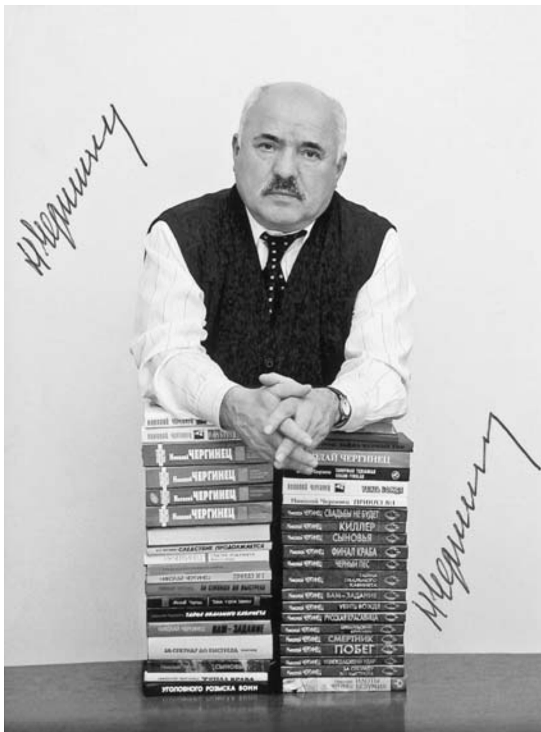
Умение убеждать в науке побеждать

Что касается дилогии Чергинца «За секунду до выстрела», состоящей из романов «Вам — задание» и одноименного, — это многоплановое произведение, по времени охватывающее события от начала Великой Отечественной войны до конца семидесятых. Судьбы главных героев раскрываются не только на фоне важнейших событий, но и показаны в тесном переплетении, поскольку многие из них, ко всему, находятся в родственных отношениях. На это обратил внимание еще Быков, анализируя роман «Вам — задание». В рецензии «Наука побеждать», помещенной в «Литературной газете», он писал: «Это многоплановое произведение, по-видимому, задумывалось автором как традиционный семейный роман — с обстоятельным и неторопливым исследованием характеров в их семейных и бытовых сцеплениях, как это и принято в современной и классической литературе, имеющей немало великолепных примеров такого рода». Вместе с тем, Быкова-критика дополнял Быков-прозаик, знающий, исходя не только из опыта современной литературы, но и из собственной творческой практики, что время внесло ощутимые изменения даже в такую, казалось бы, незыблемую среду, как та, которая держится на родственных отношениях, поэтому он дальше развивал свою мысль таким образом: «Но известно, что в наш XX век с его отличными от предыдущих времен, порой лихорадочными и сумбурными ритмами жизни семейные рамки тесны и недостаточны. И уж они совершенно не в состоянии выдержать напора тех бурных страстей и ошеломляющих событий, которыми изобиловала минувшая война». Исходя из этого, Василь Владимирович понимал, какую трудную задачу поставил перед собой Чергинец.

Уже в романе «Вам — задание» сюжетные узлы завязаны туго, судьбы героев тесно переплетены, и в самом деле возникает ощущение принадлежности их к одной семье. Но налицо и иная, не только родственная связь. Все они — сыновья и дочери одной страны, над которой нависла смертельная опасность. В этом романе Николай Иванович не только правдиво рассказал о борьбе советских людей с немецко-фашистскими захватчиками, но и обратился к теме, которая до него почти не затрагивалась: участие в Великой Отечественной войне бывших сотрудников милиции. Хотя, если говорить о романе в целом, их судьбы не всегда удается как бы выделить из среды других. Да и вряд ли это необходимо.

Судьбы же главных героев настолько тесно связаны, что порой кажется (на это обратил внимание и Быков), что автор слишком часто пользуется элементом случайности. Правда, когда в памяти восстанавливаешь основные сюжетные ходы, понимаешь, что в этом есть особый смысл. Привычного уклада лишились тысячи и тысячи людей. Люди, жившие рядом, были разбросаны на сотни километров друг от друга, а потом, в силу различных обстоятельств, им приходилось часто перемещаться с места на место. В этом «калейдоскопе» происходило самое невероятное.

Подобная судьба была уготована и оперуполномоченному уголовнога розыска Алексею Купрейчику, который, не успев доиграть свою свадьбу, взялся за оружие, чтобы вскоре стать командиром полковой разведки. Его двоюродному брату, участковому милиционеру Петру Мочалову довелось возглавить роту. Тем более непростым было вхождение в мир насилия, слез, смерти для юного Володи Славина, ставшего подпольщиком.



Как и требовал того авторский замысел, все образы в романе показаны в развитии. Война для большинства из героев не окончилась с изгнанием фашистов с родной земли. Она продолжалась в западных районах Беларуси, где нашлись те, кто не принял советскую власть. В своей озлобленности они шли не только на запугивание мирного населения, но и на убийства. С такими бандитами пришлось столкнуться и Славину, принявшему активное участие в разоблачении и поимке банды матерого преступника Федько.

Вторая книга, «За секунду до выстрела», не заставила себя ждать: в 1983 году, через год после первой, она вышла в том же издательстве «Мастацкая літаратура». Как и предыдущая, имела огромный для сегодняшнего времени тираж — 90 тысяч экземпляров. Для тех лет — также. Кстати, бывали годы, когда книгами Чергинца та же «Мастацкая літаратура» не только покрывала все свои издательские расходы (книги на белорусском языке, как известно, являлись убыточными), но имела огромную прибыль. Николай Иванович постепенно становился все более востребованным автором, признанным мастером героико-патриотического жанра в белорусской литературе, а также детектива.

Они налицо и в романе «За секунду до выстрела». Лейтенант Славин, получив после окончания учебного заведения распределение далеко от родного города, в Сибирь, вскоре вынужден расследовать убийство: в одной из машин обнаружен труп, причем шофер утверждает, что он к этому убийству не имеет никого отношения, да и не догадывался о наличии у него такого «пассажира». Полна неожиданностей и служба майора Петра Мочалова, возглавившего отдел милиции в разрушенном немцами Минске. Не успел освоиться со своими обязанностями, как поступило сообщение, что «неизвестные напали на одиноких стариков, проживавших в своем доме, убили хозяина и ограбили квартиру».

И это только начало.

«За секунду до выстрела» — это, как того и требует сам жанр, прежде всего детектив, в котором наблюдается сложное переплетение судеб, присутствуют острые драматические, а то и трагические ситуации, постоянно дают о себе знать моменты, напоминающие лабиринт, из которого выбраться очень сложно, поскольку свет, начинающий появляться на выходе, внезапно гаснет, а, казалось бы, правильный ход оказывается ложным. Но вместе с тем это и детектив (последнее особенно отрадно) — характеров.

Человековедческие начала в этом романе не менее сильны, чем в предыдущем, а иногда по своей выразительности, убедительности даже превосходят их. Взять хотя бы эпизод, когда Мочалов увидел тонущего ребенка. Рискуя собственной жизнью, он пытается спасти его. Несмотря на то, что шансов на спасение, по сути, нет. Больно становится, когда узнаешь, что мальчик умер. Вместе с тем, понимаешь, насколько этот трагический эпизод возвысил героя, лишний раз засвидетельствовал, что люди в милицейских погонах — это не только люди чести, достоинства, высокого долга, но и высокой нравственности и человечности.

Дилогия имела ошеломляющий успех у читателей. Оба романа, не успев появиться на книжных прилавках, стали библиографической редкостью. Дало свои результаты умение автора убеждать в науке побеждать.

Минск, тревожный семнадцатый

Как сотрудник органов милиции, работающий в них по призванию, Н. Чергинец, конечно же, не мог не интересоваться делами своих предшественников. Особенно тех, кто налаживал работу на заре становления советской власти. Поэтому после выхода своих первых произведений и признавался: «Хочу написать документальный роман, одним из героев которого будет Михаил Васильевич Фрунзе. Его большинство из нас знает как пламенного революционера, выдающегося политического деятеля. Однако же Фрунзе стоял и у истоков рабоче-крестьянской милиции. В тяжелых условиях острой классовой борьбы он создал народную милицию, которая влияла на политическую жизнь, смогла разгромить полицию, вела успешную борьбу с бандитами, спекулянтами. И эту борьбу, и эту милицию возглавил Михаил Васильевич Фрунзе».

Замысел романа, названного «Приказ № 1», вынашивался долго. Нужно было ввести в оборот материал, который можно было найти только в архивах, а также в воспоминаниях участников тех памятных событий. На некоторое время Н. Чергинец превратился в исследователя. Это была трудная, но, как он убедился позже, очень нужная работа.

Понимал, чтобы обратить внимание на все стороны многогранной деятельности Фрунзе в Минске, а также рассказать о его поездках на Западный фронт, никак не обойтись без определенной хроникальности. Это, однако, не помешало ему ввести в сюжетную канву произведения и детективные элементы, что нужно было для осмысления послереволюционной действительности, ибо сама тогдашняя жизнь, особенно связанная с криминальным миром, преподносила такие сюжеты, какие не сможет придумать человек даже с самой богатой творческой фантазией.

Однако, создавая, по сути, роман «одного героя», Н. Чергинец не мог не понимать, что образ Фрунзе можно обеднить, если его, как литературный персонаж, подать в чем-то изолированно, сузив круг его общения. Чтобы этого не произошло, писатель ввел в роман десятки людей. Прежде всего, в поле его пристального внимания оказались соратники Михаила Васильевича по революционной борьбе: Мясников, Алимов, Гарбуз и другие. В сюжетную канву произведения введено также немало вымышленных героев. А поскольку «Приказ № 1» — роман, в котором все же больше рассказывается о деятельности Михаила Васильевича на посту начальника милиции, особое значения для понимания Фрунзе-руководителя, Фрунзе-партийца обретают его взаимоотношения с заместителем по службе Иосифом Гарбузом.

Чтобы глубже раскрыть масштаб деятельности Фрунзе во главе милиции, Н. Чергинец сосредотачивает внимание на наиболее значимых операциях, проведенных им. Одна из них — борьба с бандой Венчикова, который в своей среде был известен под именем Данилы. Поймать этого преступника нужно было как можно скорее не только потому, что он терроризировал мирное население, но и умел найти единомышленников, согласных сделать ради него все. Дошло до того, что враги, окопавшиеся в Минском Совете, даже готовились предложить кандидатуру Венчикова на пост… начальника Минской милиции. Нелегко было выдержать Фрунзе и его товарищам этот поединок с профессиональным преступником, но они с честью вышли победителями.

Роман «Приказ № 1» по-прежнему приносит истинное наслаждение от встречи с настоящей литературой, в этом я убедился, перечитывая его более чем через 20 лет после первой публикации в журнале «Нёман» (1985, № 4—6). Ощущение было такое, словно попал в Минск 1917 года, воочию увидел Фрунзе и его товарищей, несущих службу дни и ночи.

Кровь людская — не водица

Сам прошедший через Афганистан, Чергинец не мог не обратиться к афганской теме. Его перу принадлежат романы «Тайна Черных гор» и «Сыновья». Самому автору ближе последний из них. Это объясняется тем, что первый увидел свет в очень сокращенном виде. Хотя нельзя не отметить, что и в «Тайне Черных гор» немало ярких страниц, показывающих, насколько драматической была ситуация в Афганистане. Николай Иванович, пожалуй, первым во всей постсоветской литературе правдиво показал, насколько были заинтересованы в дестабилизации обстановки в этой стране западные спецслужбы.

Примечательность романа «Сыновья» прежде всего в том, что Чергинец, обращаясь в нем к событиям афганской войны, постоянно проводит параллель с мирной советской действительностью. Он как бы сопоставляет происходящее в этой самой горячей на то время точке на планете с тем, с чем расстались те, кто пошел исполнять свой интернациональный воинский долг. При этом, как на поле брани, так и в мирной жизни, дают о себе знать не только героизм, смелость, честность, порядочность, но и подлость, трусость, безразличие, предательство. Кроме того, в «Сыновьях», в отличие от «Тайны Черных гор», в значительно большей степени показаны повседневные будни борцов за свободный Афганистан, как советских воинов, так и афганцев, приветствующих новую власть.

Такова судьба и одного из главных героев романа минчанина Николая Колбика, в котором, как и в его друге Павле Чайкине, а также их матерях Вере Федоровне и Нине Тимофеевне, угадываются конкретные люди. Впрочем, их узнают довольно легко только те из читателей, кто лично с ними знаком. Документальность произведения не только в его привязанности к тем, кто жил или живет по сегодняшний день. На все следует смотреть более широко. Чергинец умело создает типичные характеры в типичных для данного времени обстоятельствах. Точно так же можно смело утверждать, что и командир батальона подполковник Бунцев, в жизни которого присутствует многое из того, что пережил сам Николай Иванович, конечно же, не списан автором с самого себя. Это также образ собирательный и, как другие персонажи, убедительный, правдивый. Как правдиво и убедительно все то, о чем повествуется в этом романе, начиная с первых его страниц, на которых и происходит знакомство с Николаем Колбиком, и завершая последними, когда те, кто выжил, возращаются на Родину.

Рассказывая о Колбике, писатель прослеживает процесс становления этого юноши. Поначалу Николай «рос слабеньким и болезненным. Но в профессионально-техническом училище, куда… поступил после окончания восьмого класса, возмужал, увлекся мотоциклом». Однако применительно к Колбику можно сказать, что за это время произошло и возмужание иного плана, в чем-то даже более важного.

Николай рано сформировался как личность, а еще понял, что защищать Родину — одно из самых святых дел на земле. Этому, конечно, немало способствовало воспитание в семье, а еще пример старшего брата, недавно вернувшегося из армии. Поэтому и рвется паернь именно в военно-воздушные войска, служба в которых, как он убежден, и поможет ему раскрыться, проявить себя. Правда, если такое стремление будущего призывника в чем-то можно объяснить еще чрезмерной юношеской романтичностью, то первые недели нахождения в армии засвидетельствовали, что это обдуманный шаг: «… я возненавидел бы себя, если бы отказался ехать в Афганистан. Ведь еще месяц назад нам предлагали: если кто не хочет ехать туда, то может отказаться, его после окончания учебки направят в одну из частей, находящихся в Советском Союзе. Пойми, я иначе не могу». Так он мысленно говорит матери, приехавшей к нему в Ташкент. Мысленно, поскольку не хочет ее лишний раз расстраивать, а вслух утешает: «…я уже взрослый мужчина. Ты не волнуйся, все будет нормально. Писать тебе буду каждый день, и ты мне пиши ежедневно. Договорились?»

И все же настоящим мужчиной Колбику еще предстоит стать. И писатель убедительно показывает превращение своего героя из, в общем-то, безусого юнца в смелого и решительного бойца. Поскольку идет война, этот процесс проходит не просто быстро, а очень ускоренными темпами. Если сравнить Николая, каким он был в первые дни пребывания в Афганистане, с тем, когда он успел уже основательно понюхать пороху, — он очень сильно изменился.

С теплотой и любовью рассказывает Чергинец о командире батальона Бунцеве, командире роты Бочарове, замполите батальона Шукалине, начальнике штаба Миснике и других. Разные у них воинские звания, но присутствует то, что объединяет этих и других героев: честное выполнение своего воинского долга, а еще умение и желание действовать не только по уставу, но и учитывая конкретные обстоятельства. В этом отношении они отличаются от некоторых из тех, кто, проходя службу в Советском Союзе, не знает и не хочет знать боевых реалий.

Правдиво рассказывается и о мирной жизни. Нашлось в романе место и лжеафганцу, некому Алефину. Можно увидеть здесь и обычных гнусных анонимщиков, которых не останавливает даже то, что они клевещут на людей, у которых воюет в Афганистане, а потом и погибает сын. Разоблачает писатель и некоторых чиновников-бюрократов, для которых также нет ничего святого, и они унижают своим казенным отношением, отсутствием сострадания близким тех, кто сложил свои головы на той земле или вернулся оттуда инвалидом. Это также жизнь — жизнь, оживающая под пером писателя.

Трудные испытания выпали на долю не только самого Николая Коблика, но и его матери. А начались они для Веры Федоровны еще задолго до того, как сына призвали в армию. Об этом Чергинец рассказывает лаконично, в чем-то даже протокольно сухо: «Тысяча девятьсот сорок пятый год. Уже кончается война, и вдруг страшное известие: в Венгрии погиб отец. Прошло два года. Мама шестилетней Верочки поехала на могилу мужа. Автокатастрофа… И Верочка осталась одна…»

Казалось бы, самое время поподробнее поговорить о том, как она воспитывалась, входила в самостоятельную жизнь. Однако в произведении выдержан прежний стиль: «Затем детский дом, учеба в школе, студенческие годы… А вот и то счастливое время, когда Вера выходит замуж. Появились дети. Трое сыновей. Казалось бы, счастье наконец улыбнулось, но горе уже подстерегало ее. В аварии на заводе погибает муж, затем она теряет своего первенца… И порок сердца — это, пожалуй, самое малое, чем могла она заплатить судьбе, чтобы пережить все это…»

Только позже, когда вместе с автором глубже проникаешь в жизнь этого литературного персонажа, начинаешь понимать, почему Чергинец вначале являлся таким немногословным. Все, что было с Верой Федоровной до Афганистана, при всей его драматичности, не столь трагично и страшно, если можно так говорить, по сравнению с тем, что происходит теперь. Автор «Сыновей» постепенно подготавливает нас к тому, что обязательно произойдет нечто, в сравнении с чем пережитое героиней ранее покажется только маленькой толикой выпавших на ее долю испытаний. И тогда сон, пришедший к ней сразу же по возвращении из Ташкента, где она повидалась с сыном и проводила его в Афганистан, не зная, что прощается с Колей навсегда, обретает особый, роковой смысл:

«Она стоит в каком-то незнакомом полутемном помещении и замечает большую черную змею, которая, извиваясь, ползет к Коле. Отчетливо виден из змеиной пасти длинный язык-жало. Вере Федоровне стало страшно. Змея вот-вот подползет к сыну, а Коля безмятежно спит. Она хочет закричать, предупредить его, но только беззвучно открывает рот. Вера Федоровна лихорадочно шарит по полу руками, хочет найти какой-нибудь предмет, чтобы прогнать змею. Ей попадается мягкий, матерчатый чехол от зонтика. Вера Федоровна видит, что змея подползла к чехлу и начала влезать в него.

«Господи, как же такая огромная змея может поместиться в маленьком чехле?» — с ужасом смотрит Вера Федоровна. А змея полностью скрылась в чехле. И тогда Вера Федоровна хватает змею и начинает давить ее. Она чувству-

ет холодное, извивающееся тело змеи, которая пытается вырваться и при этом издает какой-то пронзительный звук. «Как звонок звенит», — подумала Вера Федоровна и проснулась».

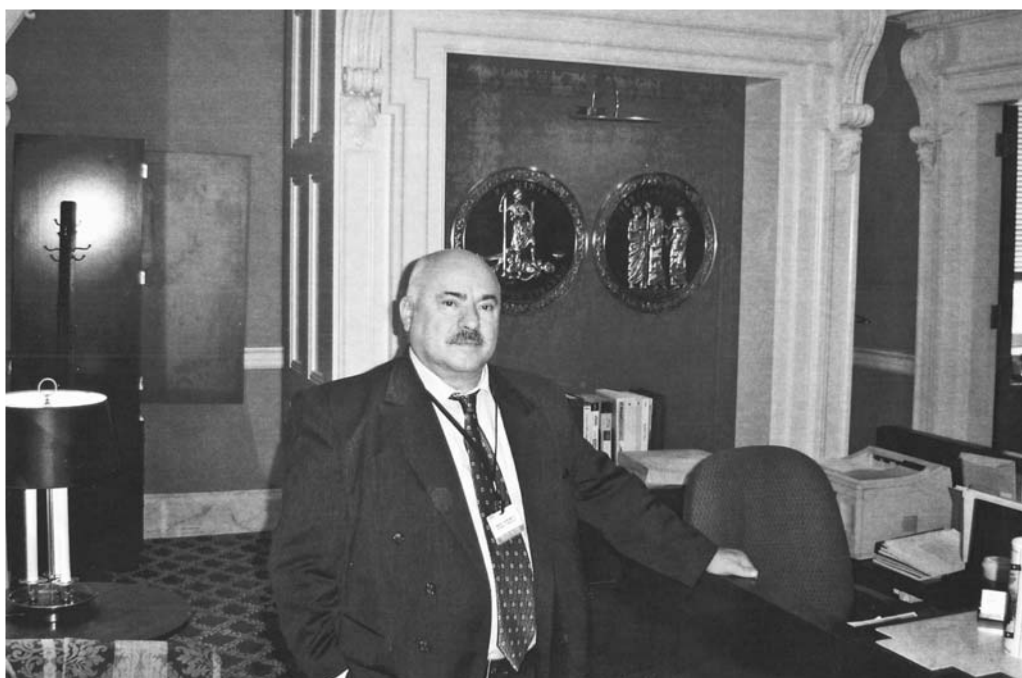
Змея эта по прочтении романа воспринимается неким страшным символом короткой и героической жизни Николая Коблика. И не для одного его, сложившего свою голову в бою, но и для других ребят, среди которых оказались и те, с кем он дружил или просто служил. Сюжетные линии, прослеживающие их судьбы, в чем-то воспринимаются своего рода романом в романе. Это не значит, однако, что они обособлены от основного действия, — как раз являются его органическим продолжением. Вместе с тем можно говорить и о втором произведении, сюжетно вырастающем из первого, ибо ребятам, служившим вместе с Николаем, приходится пройти еще через афганский плен, пережив там пытки, издевательства, унижения. Только Леонову и Алексею Николаеву удается выжить, а остальные погибают.

Вскоре произошло событие, которое в Советском Союзе замалчивалось, как и многое другое — нелицеприятная правда об Афганистане. Тогда только через зарубежные «голоса» просочилась информация о том, что на одной из крупнейших пакистанских военных баз, на которой содержались советские военнопленные и афганцы, разделившие их участь, произошло восстание. В результате этого вся база взлетела на воздух: «…взрыв был такой силы, что даже за многие километры от базы вылетали стекла из окон домов, а люди выскакивали из них, считая, что началось землетрясение».

Страницы, рассказывающие о пакистанском плене, жанрово примыкают к политическому роману. Автор с уважением рассказывает о тех, кто даже в жесточайших условиях не сломался. Одновременно он осуждает тех борцов за демократию, кто привык, прикрываясь двойными стандартами, выступать в роли правозащитников. Конечно, понятия «демократия», «права человека», как и «двойные стандарты», в произведении не фигурируют. Во время написания романа они еще не получили широкой огласки. Особенно последнее. Только сущность от этого не меняется. Отрадно другое: Чергинец, по сути, обогнал свое время, затронув проблему, на которую литература, тем более белорусская, еще не обращала внимания. Тем самым он стал первопроходцем. Кстати, в подобной роли он будет выступать не единожды.

Все эти заокеанские доброжелатели типа американца Роберта, английского лорда Николаса Бетела, той же американской разведчицы Людмилы Торн, проходящей под собственной фамилией в роли переводчицы, и других — ничем не отличаются от тех, кто и сегодня пытается заставить весь мир жить по своему образцу. Однако карта всех этих господ бита. Молодых советских солдат, как и их афганских ровесников, на мякине не проведешь. Среди них не нашлось тех, кто захотел бы вкусить блага зарубежной цивилизации, в первую очередь американской. В нечеловеческих условиях они смогли не только выжить, но и, найдя общий язык, подняли восстание. Только Леонов и Николаев вошли в доверие к иностранным «благодетелям», но только для того, чтобы, убежав от них, рассказать на Родине всю правду о тех, кто находился в плену и как вел себя.

Роман «Сыновья», как и многие другие книги Чергинца, не единожды переиздавался (и это при том, что первый тираж его, как и «Тайны Черных гор», составил огромный для Беларуси тираж — 180 тысяч экземпляров), что уже само по себе свидетельствует о востребованности этого произведения. Но есть и другой, не менее приятный факт. В 1989 году (а он был и годом выхода «Сыновей» в издательстве «Мастацкая літаратура») отдел социологии Государственной книжной палаты БССР предложил читателям список всех 140 художественных и документально-художественных книг, вышедших в республике в том году. После анализа 1503 полученных анкет ЭВМ поставила роман «Сыновья» на третье место. Если принять во внимание, что первой была названа книга «Знак беды. Роман. Карьер. Повесть» Василя Быкова, а второй — «Хатынская аповесць. Публіцыстыка» Алеся Адамовича, то результат, как говорится, более чем прият-



ный. Что ж, читатель всегда отдает предпочтение настоящей литературе. Кстати, годом раньше книга Чергинца «Приказ № 1» в результате проведения точно такого опроса заняла второе место. После «Повестей» Быкова.

В 1990 году роман «Сыновья» был отмечен серебряной медалью имени Александра Фадеева, а в 1995-м — золотой медалью и Международной премией имени Валентина Пикуля.

Земля — не полигон для мракобесов

Только писатели, обладающие большим талантом, в состоянии постоянно расширять жанровые рамки своих произведений, а некоторые способны создавать такие, которые содержанием своим даже предсказывают, как могут развиваться события не только в отдельной стране, но и во всем мире в дальнейшем. Речь идет не только о литераторах-фантастах, которым, как говорится, и сам Бог велел быть во многом прозорливыми, проницательными. В романе «Илоты безумия» Н. Чергинец еще за шесть лет до трагедии, произошедшей 11 сентября в Нью-Йорке, предупредил о глобальной угрозе человечеству, исходящей от международного терроризма.

Как и во всех его произведениях, сюжет развивается динамично, стремительно, композиционная канва романа постоянно обрастает все новыми и новыми ответвлениями. Однако на этот раз присутствует и то, что вроде бы для его писательской манеры и нехарактерно: сочетание реалистического и мифического, перенесение действия из дня сегодняшнего в прошлое. На страницах произведения появляются даже пришельцы с иных планет, да и сам Космос предстает как всеобъемлющая субстанция межпланетного масштаба, от которой зависят не только судьбы цивилизаций, но и каждого конкретного человека. Представители иных миров, как и обычные земляне — солдаты и офицеры, попавшие в плен во время войны в Афганистане, разведчики из многих стран, ученые с мировым именем, даже экстрасенсы — объединены одной целью: не допустить того, чтобы человечество погибло.

Смертельная же опасность исходит от некоего Абдуллы Керима, вообразившего себя повелителем мира, этаким новым Гитлером, для которого, как и для его одиозного предшественника, нет ничего святого. Щупальца огромнейшей террористической организации, возглавляемой им и «ведущей борьбу за новый порядок на всей планете», охватили, по сути, весь земной шар. Особенно же старательно родители этого порядка стремятся укрепить свои позиции в высокоразвитых странах, в том числе и в Советском Союзе, к тому времени находящемся на грани развала.

Николай Чергинец создал образы бойцов незримого фронта, вставших на пути террористов. Пожалуй, даже трудно выделить кого-либо из этого сообщества, я бы сказал, рыцарей чести и отваги. Независимо от того, в какой разведке они служат, неизменно придерживаются неписаного правила, согласно которому, личная жизнь ничто, если решается судьба многих людей, а в данном случае это касается миллионов жителей планеты. Ведь Керим не скрывает своей мечты: «Я поставлю весь мир на колени. Я буду властелином мира. Все люди будут сверять свое время по моим часам!» А начало всему будет положено взрывом тоннеля под Ла-Маншем. После осуществления этой масштабной операции, в успехе которой никто из террористов не сомневается, весь мир погрузится в пучину не менее страшных актов насилия, сеющих массовые разрушения, смерть.

Чтобы этого не случилось, прилагают неимоверные усилия лучшие разведчики. Один из них — американский профессионал высшего класса Эдвард Геллан, до этого успешно поработавший не в одной горячей точке планеты. Теперь он действует под видом журналиста и ученого Эдварда Эванса, «который изучает аномальные явления, происходящие в регионе Ближнего Востока и Персидского залива». Под стать ему — коммерсант, а ко всему, по его собственному признанию, «скромный журналист», а на самом деле — «советский разведчик, полковник Кустов Николай Платонович». Третий, четвертый…

Не отрицая значимости образа Майера-Кустова, принимая во внимание то, насколько правдиво и убедительно он раскрыт, нельзя все же не отметить того, какую большую роль играет в романе Геллан-Эванс. Так уже получилось, что по воле авторского замысла он стал своего рода связным между сегодняшним и вчерашним, реальным миром и потусторонним. Кроме того, прежде всего через Геллана-Эванса происходит контакт с неземной цивилизацией. В первых же двух ипостасях он оказывается благодаря своему утонувшему знакомому Адамсу. Именно тот часто является к нему из потустороннего мира. В чем-то укоряет, о чем-то предостерегает, а еще больше подсказывает ему, как нужно действовать. Такое внимание со стороны Адамса к Геллану вовсе не случайное, ибо он убежден: «Тебе на роду написано спасти мир от катастрофы». Правда, Адамс и беспокоится: «Но я не уверен, что ты исполнишь свое предназначение». А к советам Адамса нельзя не прислушиваться уже хотя бы потому, что он в одной из своих прежних жизней был фараоном, а значит, человеком, принимавшим важные решения. Видимо, тот прежний опыт не пропал бесследно.

Конечно, развивая мысль о том, что человек способен прожить несколько жизней, или говоря о потустороннем мире, оказывающем на нас влияние, Н. Чергинец ничего нового этим не открывает. Подобные мотивы можно найти в произведениях многих авторов, особенно тех, которые написаны в последнее время. Более существенно, однако, совсем другое. Важно то, что именно в «Илотах безумия» обращено пристальное внимание на то, что цивилизации, о существовании которых мы сегодня можем только догадываться, несут человечеству все же не зло. Находящиеся на более высокой ступени развития, они способны предостеречь нас от ошибок, поскольку некоторые из них в свое время такие же совершили сами. Более того, в тот момент, когда над человечеством нависла угроза уничтожения, они стараются оказать помощь ему через своих представителей.

Поражаешься мастерству, с которым Н. Чергинец передает все нюансы этой борьбы. Он настолько виртуозно владеет пером, что отдельные эпизоды пред-

стают перед читателем, будто составные части огромной картины, сотканной из сюжетов, взятых из самой жизни.

Роман «Илоты безумия» свидетельствует о том, что Н. Чергинцу по силе разные жанры прозы. Вместе с тем читатели лишний раз убедились, что писатель, хотя и является приверженцем детективно-приключенческой литературы, все выше поднимает планку психологизма, прекрасно понимая, что изящная словесность — это, наряду с другими ее качествами, в первую очередь человековедение.

* * *

Я рассказал только о некоторых произведениях, появившихся из-под пера Н. Чергинца. Это только малая толика написанного им. Всего же писателем создано более сорока художественных произведений, он автор нескольких киносценариев и спектаклей. Конечно же, количество само по себе ни о чем не говорит. Главное, что произведения Николая Чергинца — это высокохудожественная литература, нужная читателю и им востребованная. Кстати, издательство «Харвест» несколько лет назад начало выпускать новую серию «Уголовный розыск», в которую вошли ранее не публиковавшиеся романы Николая Ивановича, а также уже изданные, самые известные. Эти книги не залеживаются на полках магазинов и на стеллажах библиотек, а каждое новое издание неизменно востребовано читателем. И не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве.

Диалог

В издательстве «Мастацкая літаратура» вышла интересная книга: рассказы современных немецких писателей в переводе на белорусский язык («У невядомых сусветах», 2012). Идея книги принадлежит преподавателям Германской службы академических обменов (DAAD), а исполнители ее — студенты Мозыря, Гомеля, Гродно и Минска. На протяжении двух лет они работали над переводами. Цель проекта — диалог между культурами таких разных стран, как Беларусь и Германия.

Авторы книги — выходцы из России, стран Балтии и, конечно, писатели собственно Германии. Естественно, что и темы рассказов разные, и впечатление они оставляют порой очень неожиданное.

Например, читая рассказ Дорис Дорие «Новая обувь для госпожи Хунг», вдруг приходишь к мысли, что мы совсем не знаем немцев. Не знаем и вьетнамцев. Тем более не знаем, как они ведут себя, когда оказываются вместе. Некоторые немцы очень напоминают литературного русского интеллигента XIX века, робкого, нерешительного, может быть, даже легкомысленного, склонного, например, к необдуманной благотворительности и получающего за легкомыслие сполна. Опять же, оказывается, что некоторые вьетнамцы в чужой стране, почувствовав эту робость и нерешительность, могут повести себя очень даже требовательно и уверенно. По крайней мере, таковы герои и ситуации в рассказе Дорис Дорие.

Писательскую известность Флориану Ильису принес бестселлер «Поколение Гольф». Сообщается, что написана книга в веселой, шутливой стилистике, но вместе с тем вполне критично по отношению к своему поколению. «Поиск цели завершен» — сочинение, представленное в антологии, не является беллетристикой, это — эссе, нисколько не шутливое, напротив, вполне серьезное и глубокое, но в качестве инструмента исследования снабженное иронией. Что, безусловно, ставило дополнительные задачи, поскольку перевести на другой язык такие стилевые особенности — не простая задача. «Што будзе з намі далей — пытанне, якое не надта турбуе нас. Пакуль мы можам трываць уласны адбітак у люстэрку фітнэс-клуба, пакуль нашы сцёгны ўлазяць у левісы, пакуль маем магчымасць планаваць сваё жыццё паводле табліц калорый і біржавых курсаў, мы можам сабе дазволіць раскошу жыць у наш час».

Проблемы здесь все те же: Германия и новое поколение — речь в эссе идет о тридцатилетних, об их эстетических, философских, религиозных ценностях. Это — сложное поколение с разновекторными достоинствами и недостатками. Однако бросается в глаза, замечает автор, самоуверенный эгоизм этого довольно широкого слоя молодежи. «Найвялікшы Бог нашага пакалення — Нарцыс, — говорит он. — Лепш за ўсё ўшаноўваць яго перад люстэркам…»

Юдит Герман сторонница коротких рассказов. Именно в таком жанре вышла ее первая книга «Sommerhaus, spater» и принесла автору читательский успех. В антологии публикуется отрывок из рассказа «Красные кораллы» — это любовная история, связанная со старой Россией, главной героиней которой стала красавица-немка, а главным страдательным героем ее муж,

погибший на дуэли с ее любовником. История тривиальная, но написана на новом материале, в иных обстоятельствах, и впечатления повторения пройденного не производит. Есть в рассказе и мораль: не покидать жен долее чем на три года. Такое долгое отсутствие может закончиться дуэлью…

Томас Розенлехер также приверженец короткого рассказа. Происхождением он из Дрездена, а излюбленная тема творчества — жизнь в ГДР, написанная, конечно же, в ироническом и веселом ключе. К примеру, характерной особенностью тамошней жизни была постоянная нехватка бананов перед Рождеством, когда «давали» лишь по пять штук, а потому в очередь шли семьями, малые и большие, дети и старики. Вполне можно жить без бананов, но ведь — Рождество, дети! А в такие дни хочется чего-то такого, «чаго ў двары няма», как порой говорят в Беларуси. В общем, ситуация, очень похожая на ту, которую переживали советские люди в те же времена. Но вот рухнула берлинская стена, и все двинулись за бананами… Впрочем, не только о них речь в коротком рассказе «Неоновые бананы». И не о зубных щетках, периодически исчезавших в продаже, и не о туалетной бумаге… И даже не о ситуации преодоления дефицитов личными усилиями граждан. Читатель, особенно живший в те благословенные времена, вполне может догадаться, о чем. В общем, бананы с переменой общественного строя как бы перестали быть бананами, но и Свобода перестала пониматься Свободой…

Персонажи и мир рассказа Ульрики Дреснер «Хот-доги» не слишком популярны в белорусской литературе — это люди дна, мир, в котором нет верности и чести, где ради заработка все средства хороши, а, например, любовь — это просто совокупление при первом удобном случае. Цак, главный персонаж рассказа, зарабатывает тем, что содержит в квартире сучку запрещенной породы питбуль и продает любителям этой породы щенков по высокой цене. Не лучше и его окружение: вечно пьяный Кольбэ, постоянно исчезающая и вновь появляющаяся женщина Сандра. Конечно, есть и в нашей белорусской жизни подобные персонажи, но чаще всего мы отмахиваемся от них: неприятно, неинтересно.

Вольфганг Бюшер — писатель странствий, как сообщают составители. Из книги его дорожных заметок «Берлин — Москва. Путешествие пешком» они выбрали главу «Drink Vodka!». Надо сказать, что многое в его наблюдениях отвечает действительности, а цитата из Янки Купалы («Край наш бедны, край наш родны!») говорит о некотором знакомстве с культурой Беларуси. Для нас эта глава особенно интересна, поскольку описывает автор путешествие по Беларуси, в частности, посещение Жодино и Борисова. Следует заметить, что образ белоруса у Бюшера в целом получился симпатичным и даже с чувством юмора. По крайней мере, когда автор спросил у молодых людей, чем занимаются жители по вечерам, он получил ответ: «Drink Vodka!» Думаю, переводить эту фразу не надо, как и объяснять шутку. Впрочем, потрафить национальной гордости белорусов автор тоже не собирался, и если рассказывает о постоянно раздраженной блондинке-парикмахерше, — такая, видно, ему и попалась, и если женщина в ресторане рассказывает свои личные сомнительного свойства истории, — у автора нет причины ее украшать.

Короткие рассказы Клавдии Руш только на первый взгляд просты и непритязательны. При внимательном чтении обнаруживаешь даже у ее юных героев сложный внутренний мир, напряженную внутреннюю жизнь и отнюдь не безразличие к миру взрослых, к политической жизни страны. Клавдия Руш родилась на острове Рюген в Балтийском море, выросла в семье диссидентов, и это естественным образом сказалось на ее судьбе и личных воззрениях. Содержание рассказов «Праздник совершеннолетия» и «Паром в Швецию» — эхо ее прошлой жизни.

Каждый рассказ в книге предваряет небольшая справка об авторе. И это многое объясняет в сюжетах и содержании, в отношении авторов к миру — и сверстников, и поколения родителей.

Заключает книгу рассказ Владимира Каминера «Перевоспитанный в Сибири». Автор ее бывший москвич, учился в одном из театральных вузов, а 1990 году выехал в ГДР. После объединения Германии стал известен как автор книг о советском прошлом, о немцах-иммигрантах. Герой рассказа «Перевоспитанный в Сибири» благополучный и даже успешный немец Мартин, депутат Бундестага. Он страстный велосипедист, добрался на двух колесах уже до Марокко и Стокгольма, а теперь мечтает о поездке в Сибирь. Все знакомые и друзья отговаривают его от такой, на их взгляд, безумной аферы, но упрямству или энтузиазму Мартина нет предела, и он осуществил задуманное. Да, приключений и неожиданностей было предостаточно, но все закончилось благополучно, и теперь Мартин мечтает о поездке в Таджикистан… Рассказ написан с юмором и, думаю, принесет удовольствие читателям.

Интересны также другие рассказы: «33 мгновения счастья» Инго Щульце, «Господин О.» Кати Оскамп.

Конечно, трудно ожидать цельности от книги, в которой десять авторов и более двадцати переводчиков, но первое и вполне неожиданное представление о сегодняшней немецкой литературе она дает. Также как трудно судить о стиле каждого писателя по одному переводному тексту, но в общем создается впечатление, что студенты-переводчики с непростой задачей справились.

Говоря о коллективе, работавшем над составлением книги и переводами, нельзя не назвать преподавателей DAAD Райко Ласончика и Андре Бёма. Кроме того, в работе так или иначе принимали участие многие ученые филологи Беларуси и Германии, а в публикации книги немалая заслуга Института имени Гёте в Минске.

Олег АЛЕКСЕЕВ

Карандашные пометки

Наверное, я нехорошо поступаю по отношению к книгам, которые покупаю. Без карандаша не могу их читать. На интересных местах работает мой карандаш без устали. А если страницы чистые — значит, они пустые, перечитывать не станешь. Таков мой принцип. Плох он разве тем, что не дашь эту книгу почитать кому-нибудь другому: зачем ему спотыкаться на моих пометках, да и будет ли он с ними согласен. А что такое для меня интересные места? Это те, которые учат думать, сопереживать поступкам героев, удивляться тому, что прошло мимо тебя раньше. Опускать голову от стыда или поднимать ее с гордостью за себя. Зачислять автора в свои наставники или негодовать на него. Книга — храм, в котором исповедуешься. Не только когда пишешь (нет исповеди — приветит написанное только мусорная корзина), но и когда читаешь.

Последняя прочитанная мной книга — «На трапяткім агні» Наума Гальперовича, только что вышедшая в издательстве «Літаратура и Мастацтва». Сильно почеркал я это произведение. Я вот ни разу не писал о своей родне так подробно, с такой трепетной любовью, уходя так глубоко во время, в свои гены, как делает это Наум Яковлевич. Ловлю себя на том, что мне не скучно читать историю его рода. Не царей великих родословная — обычных людей, никогда не живших вдосталь, ничего особенного не совершивших, но жизнь свою не влачивших, старавшихся выкарабкаться из хляби беспросветности на сухое место. Не самим, так хоть детей вытолкнуть на него. А сухие места бывают разные. Вот для отца Наума, пришедшего с войны безруким, одно из них — умение бороться, держаться в самой трудной ситуации. Этому и учит сына.

«Аднойчы мы з сябрукамі па нашаму прыгараднаму пасёлку дурэлі недзе за саўгаснай майстэрняй — скакалі з даху, і я скокнуў вельмі няўдала, з усяго размаху насагнуўшыся нагой на востры металічны прут, што тырчэў з зямлі.

Боль, кроў, на нагу ступіць не магу!.. Калі прыбег бацька, я ўжо ледзь не страціў прытомнасць. Хуценька перавязаўшы, як мог, адной рукой, нагу, ён узваліў мяне на карак і пабег. Да гэтага часу не разумею, чаму ён не выклікаў «хуткую», не шукаў каня ці машыну.

Да гарадской бальніцы нават напрасткі, праз Запалоцце, было кіламетры тры-чатыры, а я ўжо важыў не так мала ў свае дванаццаць гадоў.

Памятаю, бацька амаль усю дарогу бег. У мяне кружылася галава, нага нясцерпна балела, і, нібы праз сон, я чуў яго хрыплае дыханне і голас:

— Нічога, сынок, пацярпі. Нічога...»

Преодолению трудностей, терпению и состраданию учил отец Наума, и этот урок не раз пригодился ему в жизни. Позже, когда Якову Павловичу было за восемьдесят, поджег он нечаянно свой сарай, пламя перекинулось на другие строения в дачном поселке. Сгорело сразу несколько. Сам «поджигатель» чудом остался жив. Но среди людей, которые так пострадали, жить больше не мог. «Эх, Паўлавіч, праўду людзі кажуць, што ад такіх ужо запалкі трэба хаваць, — выгукнула ці са злосцю, ці то са смехам Таіса». Но через год вернулся. Хоть повидаться с соседями. « — Як мяне суседзі сустрэлі! — паведаміў у захапленні мне. — Вяртайся, казалі, Паўлавіч, дадому, без цябе нам сумна. — А потым, памаўчаўшы, дадаў: — А пра сараі ніхто і не ўспомніў».

А вот сострадание не сразу пришло к нашему автору. И он честно пишет об этом, и опять на примере своих отношений с родными. Нет-нет да приезжал он из Полоцка проведать любимую тетку в Гродно, в дом инвалидов. А потом все реже и реже. «...яна худымі слабымі рукамі, амаль нічога не бачачы, гладзіла мне рукі і раптам, паднёсшы да вуснаў, пацалавала маю далонь. Страціўшы мужа ў першы дзень вайны, на другі дзень пасля ўласнага вяселля, яна больш ніколі не

мела мужыка. Акрамя сястры ў Полацку і пляменнікаў, нікога ў яе не было. Яна, старая, прывыкла ўжо да нянечак і дактароў, але ўвесь час чакала мяне і маю малодшую сястру, плакала, пыталася пра нашых дзетак і зноў плакала… Мне гэта настолькі разрывала сэрца, што — Божа, даруй мне гэты грэх! — стараўся бываць у яе радзей, каб не раніць ні сябе, ні яе. Цяпер, калі адчуванне адзіноты ўсё бліжэй, дакараю сябе за гэты эгаізм, за гэту маладую чэрствасць».

Грехов, ошибок и заблуждений немало было в жизни автора, как и у каждого человека, перевалившего возрастную вершину шестидесяти. И когда читаешь о них, вдруг возникает ощущение духовного одиночества. Не только у Гальперовича, но и у тебя самого. Везде, во всем есть нечто общее. И его сомнениями, обидой на себя, попыткой разобраться в причинах того, от чего и по прошествии лет стыдно, ты проверяешь и себя. Благо читателю, если он читает такую книгу. Иногда автор ее выглядит акванавтом, он не боится глубины. Все напоминает спуск на дно пережитого — признания о своей любви и любви своих героев (в них тоже проступает судьба автора), о потере друзей, даже о своем имени в литературе: «Часам чую пра сябе — «традыцыяналіст», «выхаваны на традыцыях савецкай літаратуры». Гэта гучыць цяпер як загана. А некалі ж такіх азначэнняў у свой адрас не было чуваць». Исповедальность, память о былом, совершенно не похожем на сегодня, дает красивое, но минорное звучание книге. Женщины, с которыми был близок, конечно же, не придуманы. Вот такое невозможно придумать: «Я не раз трымаў цябе ў абдымках, і ты трымцела ў іх, як выкінутая на бераг рыбіна. І мне хацелася адпусціць цябе ў ваду і плыць разам з табой ў вечным цёплым акіяне кахання». Не получилось. Ни разу. Любимые его и героев повествования (чаще всего оно от первого лица) оказались выброшенными на берег иной, жестокой судьбы. Исключений нет. Друзья? Но самого сердечного, Алеся Письменкова, нет в живых. Имя в литературе? Есть защита против обвинения в традиционализме. И Гальперович прибегает к ней, называя суперзнаменитых писателей зарубежья, России и Беларуси — их талант реализма не тускнеет и сегодня в сравнении с теми, кто будущим литературы видит постмодернизм.

Но есть еще один выпад против «новаторов», которых Наум Гальперович не называет. Это принцип собственного творчества. Он заключается в честной работе, неустанном поиске новых, выразительных приемов художественного письма. Нельзя опускать руки. Надо тренировать крылья, чтобы взлететь выше. Есть у него в книге хорошая аналогия подобного подхода к себе: случай из собственной жизни, когда был подростком. Нашелся силач-хулиган, который воспылал желанием поколотить Наума. Страх перед «черным человеком» (так он называл его про себя) парализовал волю. «Я цяпер стараўся дахаты хадзіць не адзін, хоць гэта і не выратавала б, але, здавалася, лягчэй сустрэцца з Генкам на людзях, чым сам-насам». Наконец уступающий в силе мальчик решился оказать-таки сопротивление. Сделал кастет из водопроводного вентиля и стал всегда ходить с ним. И вот «час икс» настал. Драка была неизбежна. Вариант Наума заключался в полуунизительном приеме: первым ударить противника вентилем по лицу и что есть сил бежать. Но при встрече — куда от нее денешься? — схватки не получилось. Силач почувствовал, что лучше без нее. Если противник готов оказать сопротивление, он стоит уважения. Читая этот отрывок из биографии автора, не мог не вспомнить и свой, почти такой же. Только моим оружием стал… обыкновенный репейник. Я обнаружил, что если головкой репья натереть ладони, пальцы крепко слипаются в кулаке и он вроде как тяжелеет. Не страшно идти на драку с двумя «гирьками» в руках. С кулаками, которые трудно разжать, не убегают.

Сквозь «трапяткі агонь» книги то и дело появляется абрис чудесного Полоцка, города, где автор родился, где рос, в котором учился, где впервые заговорил по-белорусски, осознал величие своей отчизны. Когда писал эти строки, стало известно, что Наум Яковлевич награжден званием Почетного гражданина Новополоцка! Можно ли сомневаться, что, как испаряется туман под взошедшим солнцем, так не останется следа и от духовного одиночества писателя?!

Юрий САПОЖКОВ

Выбор Натальи Казаполянской

Маргарыта ЛАТЫШКЕВІЧ.
Пульс навальніц. Вершы.
Минск: «Четыре четверти», 2012.

В сборнике стихов молодой брестской поэтессы Маргариты Латышкевич преобладает философская и пейзажная лирика. «Грозныя грому раскаты пахнуць лавандай і бэзам, // Ціха ўздыхае зямля, уся ў прадчуванні дажджу. // Хмараў сырое радно роніць маланкі з разрэзаў, // Звівае валокны вады ў звонкі сярэбраны джут...» Также в книге немало урбанистических стихов: «Чалавечае мора — // горад. // Дробных вуліц малыя плыні, // Старых паркаў і сквераў пустыні, // А праспекты і магістралі — // Быццам волгі або дунаі». Или картинка, знакомая всем горожанам: ночью почти не видно звезд: «Сон густы пакрые Горад, // Ноч запаліць ліхтары — // Перакуленыя зоры // Ў электрычным зыркім моры // Будуць плаваць да зары...». Природа в стихах поэтессы не просто фон или пейзаж. Она живет, дышит, думает, сопереживает. Вот, к примеру, сирень под проливным дождем — смотрит в окна дома и, продрогшая и озябшая, видит в них тепло и уют: «Задуменны і засмучаны, // Бэз цікуе, як за шклом, // З цёплым полымем заручаны, // Свеціць чалавечы дом». Или звезды, глядя на ночной город, все же хотят затмить своими лучами электрический свет: «Мяркуюць: новы небасхіл. // І выбіваючыся з сіл, // Стараюцца перасвяціць — // Усё, што ззяе і гарыць».

Маргарита, как и многие современные литераторы, — поклонница японской классической поэзии, что видно и из ее цикла хокку, и из таких, например, слов: «І як ажывіць сваім словам Усё, // Як гэта рабіў Мацуо Басё?»

К сожалению, у поэтессы пока что есть и враги: недопродуманность и недопрописанность. «Вера мая — зняв’ер’е. // Белай паперы пер’е // Ліпне да рук, бы косы // Дажджоў сярэбравалосых». С первой строчкой согласимся. У кого-то вера и такой может быть. Но вот дальше соглашаться труднее: перья бумаги (сомнительное, честно говоря, сравнение) липнут к рукам, словно дождь. Разве хорошо о дожде сказать: липнет?

Однако, несомненно, у Маргариты хороший потенциал, о чем говорят многие стихи сборника.

І ўвесь свет — і знаны, і нязнаны, —
Радасцю ахоплены вясновай,
Просіцца радком стаць вершаваным
І сябе знайсці ў гаючых словах.

Хочется и поэтессе пожелать найти себя, свои слова, свой путь в литературе и в полной мере раскрыть свои творческие способности.

Дар’я ЛЁСАВА.
Туга зямная. Вершы.
Мінск: «Харвест», 2012.

Много в Беларуси рек, да вот только не в каждой из них вода чистая, особенно у «выбежавших» из городов. Но есть речки небольшие, малоизвестные, петляющие среди лугов, лесов, вдалеке от поселений. В них-то вода чистая, прозрачная, видны и водоросли, и дно в неглубоких местах. С такой речкой хочется сравнить поэзию Дарьи Лёсовой. Стихи ее рождены чистотой чувств, тихой, светлой печалью. «Бог з вамі, дзяўчаткі, // Бог з вамі! // Застацца хачу я сабой // і з сонечнымі барамі, // і з сонечнаю журбой. // Хачу заставацца заўсёды, // як поле, як рэчка, як луг. // Падалей ад тлуму, ад моды, // Ад звады, што ходзіць наўкруг. // Не трэба дурнога багацця, // Дзе сэрца няма і душы. // Сабою хачу я застацца // І ў шуме людскім, і ў цішы». В стихах Дарьи много любви — к родине, любимому человеку, матери:

Сняцца мне матчыны кросны,
Сніцца мне матчын чаўнок.

Мамачка!
Тавае вёсны
Выткалі мой радок.
Мамачка!
Тваe зімы
Вершаў саткалі кілімы.
Мамачка!
Тваё лета —
Песня паэта.

Казачнаю там птушкай —
Твая дачушка!
Мамачка...

Нашлись в ее книге добрые, теплые слова о белорусских деятелях культуры и искусства — Сергее Граховском, Евгении Янищиц, Владимире Мулявине. Характерна и лексика произведений, в которых немало слов нежных, с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «сэрцайка», «жураўка», «песня-журавінка». В этом можно было бы узреть некую дань белорусской литературной традиции, если бы не то обстоятельство, что вся книга соткана из подобных нитей — добрых, теплых слов, задушевных интонаций. Много ли у нас сейчас поэтесс, да и вообще девушек — нежных, тонких, с чистой душой, у которых четко разграничены понятия добра и зла и которые пребывают в первом, потому что второе просто чуждо их природе? Характерно и то, что в стихах Дарьи нередко встречаются образы чистой воды, родника: «Не палосы, а цэлыя жыцці // Я ў адным жыцці пражываю. // Перапёлкай была я ў жыце // І вясёлкай зіхцела ў маі. // І рамонкам, і медуніцай, // І сасонкаю, і вярбой. // Шчэ б падкняжанскаю крыніцай! — // Пажадаю сабе з журбой», или:

...І пагаманілі мы з Табою...
Супакой сышоў і дабрыня.
Самаю празрыстаю ракою
Паплыву цяпер у далеч дня.

Сложно быть чистой речкой в современном техногенном мире, но как же хорошо, что они все еще есть.

Адам ШОСТАК.
4.33. Вершы.
Мінск: «Харвест», 2012.

Однажды мой брат показал мне в журнале «Наука и жизнь» рисунок геометрической фигуры, нужно было ответить, может ли такая фигура существовать в реальности. Внимательно посмотрев на изображение, я поняла, что не может. Однако, боясь подвоха, немного помедлила и все же сказала: «Нет». Ответ оказался правильным. Нечто подобное я испытывала, читая стихи Адама Шостака из его нового сборника «4.33». «І горад твой — // закінуты вандроўнік, // Вяртаюся якому // я зрэшты наўздагон...» Как же это понимать: вяртаюся наўздагон? Не противоречат ли слова друг другу?

И все-таки, несмотря на такие время от времени встречающиеся вещи, по прочтении книги у меня возникло ощущение, что автору удалось создать некое поэтическое поле, в которое может окунуться и читатель: окунуться в стихию молодости с ее поисками себя, своего пути, с ее желанием внутреннего раскрепощения, с ее неприкаянностью и жаждой любви. А также — чувством утраченного рая детства: «радзіма // бы страчанае дзяцінства // мой фіялетава-аранжавы аўтобус // фіялак і дзьмухаўцоў». Электрички, ветра, дороги, знакомые урбанистические пейзажи — наиболее частые образы сборника, которые создают ощущение реальности происходящего и заставляют поверить в подлинность чувств лирического героя. «Апошні раз быў шчаслівы // калі думаў пра твае пругкія рукі // што пазбягалі парэнчаў // на спуску // з высокай гары.... апошні раз быў шчаслівы // як цалаваў твае доўгія пальцы...» Отрадно, что сборник каким-то образом создает чувство уверенности в том, что лирическому герою удастся обрести душевную гармонию. Наверное, этому немало способствует то, что книга, несмотря на ее (для простоты так называемую) модерновость, позитивна, в ней выражены добрые чувства и устремления лирического героя.

Коллекция

О чем нельзя спрашивать у филателистов?

Может ли символ Беларуси быть напечатан на марке другой страны? Оказывается, может. Когда-то в Африке были выпущены марки, посвященные нашей гимнастке Ольге Корбут. На Мадагаскаре — с изображением белорусского трактора. В Северной Корее — белорусского МАЗа. И все они есть у одного из самых известных филателистов Беларуси Льва Колосова, коллекция которого посвящена белорусике.

— Я всю жизнь собирал только белорусику, — рассказывает Лев Леонидович. — Марки я начал собирать в середине 40-х годов прошлого века, а до этого у меня была небольшая коллекция, которую собрал мой отец. Она начинается где-то с 1922 года. Но часть коллекции пропала, когда во время войны нашу семью вывезли в Германию. Потом, после войны, когда мы вернулись, отец к ним уже не прикасался, а я раскопал те марки, которые спрятали в песке на чердаке, и постепенно увлекся, начал собирать. Благодаря филателии в школе я лучше всех знал географию и историю. Как и все, я сначала собирал весь мир, а потом, где-то в 1960-х годах, определился, что буду собирать только марки, связанные с белорусской тематикой. Я собирал все о Беларуси. Не только марки, но и письма старые: например, у меня в коллекции есть письмо 1640 года. В 1970-х годах я сделал коллекцию «Страницы истории Белоруссии».

На вопросы о том, сколько марок в его коллекции, Лев Леонидович принципиально не отвечает и сразу же предвосхищает все другие «неудобные» вопросы:

— Никогда не спрашивайте у филателистов: «Сколько у вас марок в коллекции?» И «Какая у вас самая дорогая марка?» тоже не спрашивайте. Та, что я нашел на помойке.

И это не ирония. В еще одной коллекции Льва Колосова «Полевая почта» (почта времен Великой Отечественной войны) действительно есть экземпляры, которые он подобрал возле мусорного бака во дворе, куда кто-то выбросил стопку писем ветерана, перевязанную розовой ленточкой… Дороговизна марки для Льва Леонидовича определяется явно не ее стоимостью, а их количество не имеет никакого значения:

— Я не считаю, сколько у меня марок в коллекции. Зачем мне это знать? У меня нет «Черного пенни» (самая первая в истории марка, выпущенная в Великобритании. — *Е. М.*), я к этому не стремлюсь. Среди белорусских марок нет раритетов. Разве что выпуск, посвященный Шагалу (малый лист марок и блок, выпущенные в 1993 году. — *Е. М.*). А очень дорогих марок в Беларуси нет. Да, марки — это состояние, но не те, которые сегодня у нас есть, а марки XIX века. Первая марка Англии дорого стоит. И первая марка России дорого стоит. Первая марка Беларуси этим пока похвастаться не может, потому что она выпущена 20 лет назад. Кроме времени выпуска и тиража есть еще одна предпосылка увеличения стоимости марки — ошибка на ней. Но у нас не случается историй, как на острове Маврикий, где на марке вместо «Почта Маврикия» написали «Почтовая контора Маврикия», и она моментально взлетела в цене. Увеличение тиража марки с изъяном, кстати, автоматически снижает ее стоимость. Когда ООН выпустила марку, посвященную Генеральному секретарю этой организации Дагу Хаммаршёльду, оказалось, что при печати желтый цвет на ней был сдвинут, и чтобы избежать ажиотажа, ООН допечатала тираж со сдвинутым желтым цветом. Марка стала обычной.

Насчет хобби Лев Леонидович не лукавит. Он закончил Минский радиотехнический институт и всю жизнь проработал инженером в Центральном научно-исследовательском институте комплексного исследования водных ресурсов. Но для любимого дела — марок — у него всегда находилось время.

Лев Колосов автор более 5 000 статей по филателии. Он с гордостью и легкой иронией рассказывает, как к конкурсу, объявленному Всесоюзным обществом филателистов к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, написал заметок больше, чем дней в году, — 380: Ленин на марках Гвинеи, Ленин на марках Алжира, Ленин на марках Польши… И конечно же победил. Имя Льва Колосова знакомо читателям газет «Заря» (г. Брест), «Голас Радзімы», «Вечерний Минск» (в этом издании Лев Леонидович почти 25 лет вел клуб «Находка»), «Звязда», «Культура», где он вел постоянные рубри-

ки, слушателям радио «Маяк», где он периодически рассказывал о новинках белорусской филателии. Лев Леонидович — автор книги, посвященной филателии о Беларуси, которая вышла в 1982 году. Он постоянно печатается и в польских журналах, имеет множество польских наград, среди которых — бронзовая медаль за содействие в публикации и развитии польской филателии. Заслуги Льва Колосова перед филателией наших западных соседей отмечены не только наградами: он — единственный собиратель и исследователь марок из СНГ, который избран членом Польской академии филателистов. Пять лет Лев Леонидович возглавлял Белорусский союз филателистов.

Во время нашей встречи Лев Леонидович достает паспорт, за обложкой которого лежит одна из загадок белорусской филателии — несколько марок, выпущенных во время Слуцкого восстания 1920 года. Лев Леонидович не является поборником ни одной из точек зрения историков на это событие. Для него важен тот факт, что во время восстания были выпущены марки. И то, что сегодня о них можно говорить и их можно изучать. И то, что эти марки есть у него в коллекции: «Когда я увидел эти марки в польском комиссионном магазине, у меня все перевернулось внутри. И несмотря на то, что они стоили недешево (примерно 20 долларов за одну марку), я все их купил, привез в Беларусь и написал о них несколько материалов». За обложкой паспорта марки, кстати, оказались не потому, что с этой ценностью Лев Леонидович не расстается, а потому, что в этот день он захватил несколько из них с собой, чтобы передать в другую коллекцию: «Один товарищ просил поделиться. И я согласился».

Раритетов в коллекции Льва Колосова много. Например, почтовые карточки, которые отправляли в «Нашу Ніву» братьям Луцкевичам многочисленные корреспонденты: товарищи, известные белорусские деятели культуры (например, Всеволод Игнатовский), внештатные авторы, спекулянты, которые хотели продать экспонаты в Белорусский музей. Или почтовый штемпель с надписью «Ташкент, улица Якуба Коласа» (немногие белорусы знают о том, что в столице Узбекистана была улица, названная в честь белорусского Песняра). Но и к современной филателии коллекционер проявляет живой интерес:

— Сегодня, к сожалению, интерес к филателии снизился. До распада СССР только в одном Минске было 7 000 филателистов, теперь раз в сто меньше. Но это не значит, что развития не происходит. Сейчас у нас издаются каталоги, «Белпочта» издала несколько интересных книг о марках. В Беларуси марок выпущено достаточно много, марки интересные. На международных филателистических выставках их охотно покупают, но я бы не сказал, что покупают так, как хотелось бы. Хотя каждый из моих знакомых зарубежных филателистов собирает белорусские марки. В Потсдаме есть коллекционер, который собирает все о Беларуси. Польские друзья постоянно просят прислать марки с флорой и фауной. Белорусские марки — очень красивые. И среди них есть такие, которые занимают на международной арене одно из первых мест: серия марок с иконами, марка, посвященная Слуцким поясам. Для людей за границей эти марки — открытие нового государства, новой культуры.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ

От редакции

В следующем номере журнала Лев Колосов покажет читателям «Нёмана» экспонаты своей коллекции, которые связаны с именем Якуба Коласа.

ЖДАН (Пушкин) Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Россия). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы. Живет в Минске.

КОТЛЯРОВ Изяслав Григорьевич. Родился в 1938 г. в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии и многочисленных публикаций в изданиях Беларуси и России. Работал в редакции Светлогорской районной газеты, теперь – директор картинной галереи. Живет в Светлогорске.

МУШИНСКАЯ Татьяна Михайловна. Родилась в 1958 г. в Минске. Окончила Школу юных философов при Институте философии Академии наук БССР, факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэтесса, прозаик, театральный критик, журналистка, либреттист, драматург, сценарист. Автор сборников рассказов и сказок для детей, повестей, сборников стихотворений и др. Живет в Минске.

ГАРДАНОВ Марат Санияфович. Родился в 1953 году в г. Оренбурге (Россия). Окончил филологический факультет Гродненского госуниверситета. Печатался в республиканских периодических изданиях. Автор детских и научно-популярных книг, вышедших в издательствах Минска и Москвы. Живет в Гродно.

ЛУЧИЦКИЙ Михаил Александрович. Родился в 1972 г. в Минске. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Печатался в республиканских периодических изданиях. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

ГОРОВЕНКО (Рыжанкова) Оксана Валентиновна. Родилась в г. Молодечно. Окончила Белорусский государственный университет. Кандидат экономических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета. Автор книги философско-психологической лирики «Наедине». Живет в Минске.

КРАСНЕВСКАЯ Зинаида Яковлевна. Родилась в 1947 г. в Риге (Латвия). Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводчик, автор нескольких книг по проблематике перевода. Живет в Минске.

РОГАЧЕВ Александр Григорьевич. Родился в 1965 г. в д. Янушковичи Логойского района Минской области. Окончил Минский институт культуры, Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. Печатался в газетах «Церковное слово», «Знамя юности», журнале «Нёман». Живет в деревне Янушковичи.

АВЛАСЕНКО Геннадий Петрович. Родился в 1955 г. в д. Липовец Ушачского района Витебской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Автор многочисленных публикаций в периодических изданиях и нескольких книг. Живет в г. Червень Минской области.

ДИМИТРОВА Кристин. Родилась в 1963 г. в Софии (Болгария). Окончила отделение английской филологии Софийского университета. Поэтесса, прозаик, эссеист. Автор книг поэзии на болгарском языке «Тринадцатое дитя Иакова», «Картина подо льдом», «Скрытые фигуры», сборника рассказов «Любовь и смерть под дикими грушами», а также сборника избранных стихотворений на турецком, греческом и английском языках. Лауреат премии Союза болгарских переводчиков. Живет в Софии (Болгария).